

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

1

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2008

СОДЕРЖАНИЕ

Э. Фортейн (Лейден). Полисемия императива в русском языке	3
Л. А. Гренобль (Ганновер/Чикаго). Синтаксис и совместное построение реплики в русском диалоге	25
Г. И. Берестнев (Калининград). К философии слова (лингвокультурологический аспект)	37
О. Е. Пекелис (Москва). Семантика причинности и коммуникативная структура: <i>потому что</i> и <i>поскольку</i>	66
А. В. Зеленин (Тампере). Типология лексических заимствований в эмигрантской прессе (1919–1939)	85
И. А. Сержант (Вильнюс). Относительная хронология процессов палатализации прабалтийских *k и *g в латышском (ареальная интерпретация)	121
С. В. Иванов (Санкт-Петербург). <i>Кто отведал жизни и не увидит смерти?</i> (Замечания об одном формульном выражении в среднеирландском)	130

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Е. А. Земская (Москва). Мои учителя: из воспоминаний филолога	134
---------------------------------------------------------------------	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

П. В. Гращенков (Москва). <i>R.M.W. Dixon, A.Y. Aikhenvald (eds.). Adjective classes: A cross-linguistic typology</i>	141
Е. Е. Хазимуллина (Уфа). <i>Л.М. Васильев. Теоретические проблемы общей лингвистики, славистики, русистики</i>	145

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Е. А. Яковлева, В. Р. Тимирханов (Уфа). X Международная конференция «Ономастика Поволжья»	151
Г. В. Глинских, М. А. Грачев (Нижний Новгород). О конференции «Социальные варианты языка – V»	153
Н. А. Фатеева, Т. А. Хазбулатова (Москва). Международная научная конференция «Лингвистика и поэтика в начале третьего тысячелетия»	154

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.И. Казанский, Ю.И. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *И.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН,
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

© 2008 г. Э. ФОРТЕЙН

ПОЛИСЕМИЯ ИМПЕРАТИВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена так называемым «непрямым» употреблениям формы императива в русском языке. Семантика императива трактуется как полисемичный комплекс, имеющий определенное главное значение (наличие импульса к совершению действия) и разные связанные с ним другие значения (употребления). Связи между значениями в комплексе состоят из тех или иных общих семантических признаков, которые основаны на следующих центральных взаимосвязанных условиях: «наличии импульса к совершению или представлению действия» и «призыве к адресату проявить определенную причастность по отношению к этому действию».

1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ¹

Как известно, морфологическая форма повелительного наклонения в русском языке (далее и м п е р а т и в) имеет разные значения. Кроме прямого волеизъявления говорящего, направленного на осуществление действия адресатом (д и р е к т и в н о е значение, например, *Приди сюда!*), существует ряд других н е п р я м ы х функций. Такие типы употребления императива отличаются от директивных случаев прежде всего тем, что в них возможен субъект первого или третьего лица. Выделяются следующие главные типы непрямых императивных значений:

1. Долженствовательное значение (*Вы будете бездельничать, жрать и дрыхнуть, а я иди на передовую*)
2. Повествовательное значение (*А он и приди!*)
3. Желательное значение (*Приди-ка он к нам!*)
4. Условное значение (*Приди он во время, ничего бы не случилось*)
5. Уступительное значение (*Куда я ни приди, везде знакомые*)

Непрямое употребление императива типично не только для русского языка, но встречается во многих других языках, например, в английском (см. обзор в [Davies 1986]). Однако значительное разнообразие подобных типов функционирования, а также тот факт, что основная форма императива (2 л. ед. ч.) может употребляться с подлежащим 1 или 3 л., можно считать весьма характерными именно для русского языка.

Несмотря на то, что разные авторы исследовали те или иные из этих типов (среди них [Garde 1963; Прокопович 1969; Шведова 1974; Veyrenc 1980; Comtet 1994; Hacking 1997; Israeli 2001; Kor-Chahine 2001; 2006]), количество статей, специально посвященных изучению всех употреблений императива и семантических связей между ними, является довольно ограниченным. К ним относятся [Ebeling 1956; Исаченко 1957; Шмелев 1961; Котгай 1968; Храковский, Володин 1986: 108–120; Ясаи 1995; Перцов 1998]. В данных

¹ Настоящая работа является обработкой и кратким обзором одной части диссертации автора [Fortuin 2000]. В качестве иллюстративного материала приводятся, по мере возможности, новые примеры. Приносим искреннюю благодарность Адриану Барентсену за неоценимую помощь в подготовке статьи, рецензенту журнала «Вопросы языкознания» за очень полезные критические замечания и Владимиру Плунгяну за то, что он дал импульс к написанию статьи.

работах задается вопрос: что такое значение русского императива? Возможно ли говорить об определенном общем значении или следует ограничиться лишь каким-то набором разных значений? Подобным вопросам посвящена и настоящая работа. При этом основное внимание обращается на возможные связи между всеми различными вариантами употребления императива.

В литературе существуют два основных взгляда на проблему значения императива. Одни исследователи считают, что все употребления императива являются реализациями одного общего значения (напр. [Ebeling 1956]). Представители второго подхода полагают, что при непрямом употреблении императив имеет другую, неимперативную семантику (напр. [Храковский, Володин 1986]). Основным аргументом против моносемического анализа является то, что при таком рассмотрении определение значения императива является слишком абстрактным, вследствие чего теряются из виду семантические и формальные различия между разными употреблениями (в том числе функциональное различие между прямым значением и непрямым значением). Аргументом против второго подхода, при котором собственно не считается нужным сформулировать какие-либо связи между разными типами употребления данной формы, является то, что теряются из виду общие семантические и грамматические признаки императивной формы, отличающие эту форму от других, «конкурирующих» форм (например, отсутствие категории времени, наличие так называемых модально-субъективных признаков).

Весьма интересный подход к изучению и описанию связей разных употреблений модальных форм предлагают И. Ван дер Аувера и В. Плуноян [Van der Auwera, Plungian 1998]. Посредством так называемых «семантических карт» они показывают функциональную логику связей разных модальных значений. Однако их исследование имеет прежде всего типологический характер и сосредотачивается на сходствах между категориями в разных языках. Настоящая работа как раз сосредотачивается на проблемах описания отдельно взятого языка. По нашему мнению, в таком случае следует обратить особое внимание на характер главного значения данной формы и на выделение общих элементов у всех разных типов употребления формы.

По отношению к современному русскому языку мы исходим из того, что у всех (прямых и не прямых) императивных значений основную роль имеет значение «наличие импульса к совершению или представления действия» (ср. [Ebeling 1956]). Исследователи, стремящиеся к определению инвариантного значения императива, очевидно, должны каким-то образом включить туда указанные элементы. Однако в связи с отмеченными проблемами такого подхода мы здесь не будем углубляться в этот вопрос. Нам кажется более плодотворным описать значение императива как целый комплекс разных взаимосвязанных употреблений, которые в этом комплексе могут иметь более или менее самостоятельные позиции. Все эти значения функционируют в определенном отношении к другим значениям данного комплекса, прежде всего к главному (прототипическому) значению.

В главном значении императива указанные выше семантические признаки проявляются наиболее ярко и конкретно. Под главным значением мы понимаем «директивное» значение, которое кратко можно сформулировать следующим образом: «говорящий побуждает адресата к совершению императивного действия». Однако мы подчеркиваем, что это значение занимает лишь самую центральную часть всего полисемического комплекса. Другие варианты употребления императива можно рассматривать как определенные транспозиции этого главного значения или, в случае условного употребления, как транспозицию оптативного употребления.

Следуя работе [Bartsch 1998], мы анализируем транспозицию как процесс селекции и определенных семантических признаков (и, следовательно, частичного удаления и других). Такая селекция происходит, когда форма употребляется в новом языковом или прагматическом контексте, представляющем другую точку зрения на ее значение. В таких контекстах говорящий видит связь между «прямым» и «новым» употреблением, на основе суждения о сходстве или смежности между ними. Важно под-

черкнуть, что при транспозиции даже удаленные признаки продолжают играть роль в новом употреблении – хотя бы только на фоне (для подробного анализа см. [Fortuin 2000: 4–54])².

В нашей работе мы пытаемся показать, каким образом значения типа «долженствование», «условие» или «неожиданность» связаны с семантическим понятием «наличие импульса к императивному действию». При этом мы исходим из того, что при императиве данное понятие всегда связано с особым отношением между говорящим и адресатом: «говорящий призывает адресата проявить определенную причастность по отношению к императивному действию». Далее будем говорить о признаке «импульс», содержащем сочетание указанных семантических элементов. Нетрудно увидеть присутствие данного признака в главном, директивном употреблении императива. Здесь источником импульса к совершению действия является сам говорящий и причастность адресата заключается в восприятии императива как призыва к совершению названного действия. Как будет показано ниже, в том или ином виде признак «импульс» продолжает играть определенную роль и в непрямых употреблениях. В таких случаях с указанным признаком можно соотнести и такие абстрактные и трудно определяемые понятия, как «субъективно-модальные» оттенки или «экспрессивность»³. Как будет показано ниже, при непрямых значениях именно компонент «призыва адресата к причастности» обычно приобретает особую значимость. Как правило, признак «импульс» в этом случае интерпретируется так, что говорящий хочет обратить особое внимание на неожиданный или нежелательный характер (возникновения) императивной ситуации.

Другая цель настоящей работы – показать, какие языковые и прагматические контекстуальные признаки связаны с разными употреблениями императива и каким образом эти признаки способствуют разным интерпретациям императива. Такие «типы контекста» можно рассматривать как формальные признаки разных императивных конструкций, указывающие на степень сходства и различия между ними. Эти синтактико-семантические признаки (например, употребление постфикса *-те*, частиц *-ка* или *бы* и т.д.), тоже могут предоставить объективные критерии для идентификации разных употреблений.

2. ДИРЕКТИВНЫЙ ИМПЕРАТИВ

2.1. Директивное значение – самое прототипическое и часто встречающееся значение императива. Предлагаем следующую его формулировку:

«Произнося форму императива, говорящий дает импульс адресату (в t_0) к совершению (или, в контексте отрицания, несовершению) императивной ситуации (действия, состояния и т.д.) $V: \rightarrow SIT(V_{+aspect})t_1$ »⁴

Схема 1

Импульс	Цель импульса	Субъект ситуации	Объект импульса
Говорящий	$\rightarrow SIT(V_{+aspect})t_1$	адресат	адресат

² Более или менее подобный метод употребляется в работе Н.В. Перцова [Перцов 1998]. Тем не менее наш конкретный анализ значительно отличается от анализа Перцова.

³ Перцов здесь не видит роли для адресата. В работе [Перцов 1998] «экспрессивность», «эмоциональность» или «субъективность» императива приписываются компоненту «сигнализации». По мнению автора, этот компонент отражает «непосредственную психологическую связь между сознанием говорящего и сообщаемым фактом» [Перцов 1998: 89].

⁴ $SIT(V)$ = ситуация, где императивное действие реализовано

$\rightarrow SIT(V)$ = сама реализация императивного действия

t_1 = время реализации императивного действия, следующего за t_0 , моментом речи.

Признак «импульс» проявляется здесь следующим образом: *п р о и з н о с я* форму императива, говорящий способствует реализации действия адресатом. Это объясняет, почему предложения типа *Прочитай книгу, но я знаю, что ты этого не будешь делать* грамматически неправильны, в то время как подобные предложения с другим выражением волеизъявления говорящего вполне возможны: *Я хочу, чтобы ты прочитал / ты должен прочитать книгу, но знаю, что ты этого не будешь делать*. Свойство «импульса» может проявиться и у других форм, как, например, у формы инфинитива: *Встать!* Однако в таких случаях речь идет не об ингерентном признаке значения данной формы, а лишь об особой *интерпретации* ее значения, возникающей лишь в особых условиях (см. [Fortuin 2000: 268–273; 441–449]).

Директивное значение предполагает, что:

- а) говорящий желает реализации действия или хотя бы не против нее (при вариантах типа «разрешение»);
- б) употребляется глагол, обозначающий контролируемую человеком ситуацию (или получающий такую интерпретацию при данном употреблении императива: *Поправься мне!*);
- в) в момент речи действие еще не существует (или предполагается, что оно как раз перестанет существовать (*Сидите, сидите!*)). Это предположение может проявиться в ослабленной форме: *Мучайся! Не надо делать такие глупости!* В данном случае, произнося форму императива, говорящий «укрепляет» императивную ситуацию и этим выражает свое согласие с ним, чаще всего в контексте неволевой реализации адресатом;
- г) момент речи предшествует времени реализации побуждаемого действия. Однако встречаются случаи, в которых порядок оказывается перевернутым: – *Исаю Горбону я бабку оторву, – увидишь!* – *За что?* – *спросил хохол.* – *Не шпионь, не доноси* (Горький. Мать). Это связано с отвлечением от контекста момента речи и обобщенно-личным характером адресата: «не надо шпионить и доносить, если хочешь избежать подобных негативных последствий». Такие предложения фактически уже относятся к долженствовательному значению.

2.2. В нашем анализе большую роль в классификации разных значений, разных типов употребления, играют семантико-синтаксические признаки. Рассмотрим самые важные из них.

Директивное значение императива допускает оба вида. См., например, подробный анализ в работе [Падучева 1996]. При директивном значении возможно употребление личного местоимения второго лица в именительном падеже (*ты/вы*). Местоимение предшествует императиву или следует за ним (например, см. [Fortuin 2000: 88–94] для анализа разных порядков).

Следует отметить, что в случае 2 л. мн.ч., т.е. при множественном адресате или при обращении на «Вы», употребляется постфикс *-те*. Этот постфикс к значению императива ничего не добавляет. Он лишь подчеркивает признак множественности адресата. Постфикс *-те* употребляется и в некоторых других конструкциях с директивным значением, а именно у форм побуждения к совместному действию (*пойдемте: давайте решать*) и у директивных частиц (*нате! нуте!*), но отсутствует у директивного инфинитива (**встать-те!*). Постфикс *-те* также не присоединяется к сочетанию частицы *пусть* с формой 3-го лица. Как будет изложено ниже, возможность присоединения этого постфикса является критерием выделения тех императивных употреблений, у которых субъектом действия является адресат, и говорящий может прямым образом воздействовать на адресата.

Императив сочетается с рядом частиц, вносящих дополнительные оттенки. Одна из них – частица *-ка*. Она указывает на то, что мысль о желательности реализации действия только что пришла в голову говорящему (подробный анализ употребления этой частицы дается в работах [Храковский, Володин 1986; Левонтина 1991]).

Частица *-ка* употребляется также в конструкциях совместного действия (*пойдем(те)-ка; давай(те)-ка решать*), у директивных частиц (*на-ка!, ну-ка!*), у формы прошедшего времени в директивном употреблении (*пошел-ка ты вон отсюда!*); у формы 3-го лица повелительного наклонения (*пусть-ка*), у инфинитива (*А обложить-ка этих нефтяных баронов непомерной данью, чтобы не знали «черное золото» на экспорт, а продавали все на своем, внутреннем рынке!* (Аргументы и факты. 2003.03.26))⁵ и у формы 1 л. настоящего-будущего совершенного вида (*Пойду-ка я спать.*) Таким образом, возможность употребления частицы *-ка* можно считать критерием для установления наличия значения волсизъявления говорящего в широком смысле. Как будет изложено ниже, эта частица употребляется у всех императивных значений, кроме долженствовательного, повсствовательного и уступительного.

2.3. Кроме предложений, где говорящий хочет, чтобы адресат совершил действие, есть и примеры, где говорящий фактически только хочет, чтобы собеседник представил себя в позиции субъекта действия. Такие предложения имеют значение обусловленности: *[А] спроси у него, как пройти к фабрике – он тебя обольет презрением с ног до головы* (Стругацкие. Гадкие лебеди). Такие условные предложения иногда имеют уступительный характер: *Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем* (Булгаков. Мастер и Маргарита).

Подобная условная (а иногда и условно-уступительная) разновидность директивного императива наблюдается во многих других языках (см., например [Davies 1986; Donphauser 1986]). Это свидетельствует о тесной связи между признаками «повеление» и «условие». Данная разновидность употребления императива встречается в контекстах, где он сочетается с другим предложением, позволяющим сделать вывод о том, что говорящий хочет всего лишь иллюстрировать связь между указанными ситуациями и не имеет в виду, что собеседник действительно совершал императивное действие. На это указывают следующие признаки:

- i. Императивное предложение является первой частью сложносочиненного предложения. Вторая часть выражает действие в будущем.
- ii. Реализация императивного действия обычно ведет к негативным последствиям, или, в тех случаях, где императивное действие представляется как желательное, есть другие признаки, указывающие на гипотетический статус его. Например: (а) неконтролируемость императивного действия; (б) обобщенно-личный характер субъекта императивного действия, связанный с целью говорящего сигнализировать существование общей условной связи между указанными двумя ситуациями.

В таких контекстах можно говорить о селекциии признака «представление императивного действия», и о частичном устранении признака «действительная реализация императивного действия»: «Говорящий хочет, чтобы собеседник только представил себя в позиции субъекта (\rightarrow SIT(V)) для того, чтобы тот осознал возможные последствия реализации такой ситуации».

Несмотря на то, что можно говорить о частичном устранении признака «действительная реализация императивного действия», нельзя говорить о полной утрате этого признака. Этому противоречат следующие признаки, указывающие на сохранение конструкцией некоторой повелительности.

Во-первых, употребление директивного постфикса *-те* в случае 2 л. мн.ч. Во-вторых, императивное предложение всегда предшествует другой части сложносочиненного предложения. Обратимость частей, то есть свободная перемена их позиций, недопустима. Данный порядок частей предложения указывает на то, что значение условия является вторичным значением, вытекающим из значения волсизъявления.

⁵ В современном языке такое употребление встречается совсем редко.

В-третьих, наличие переходных типов употребления, а именно тех предложений, которые имеют как директивный, так и условный характер. Например, рекламные тексты: *Свяжитесь с нами сейчас и Вы получите бесплатную гарантию на весь 2004 год!* (Электронное объявление). Здесь, очевидно, «говорящий» действительно желает, чтобы адресаты совершили действие. Однако в ряде примеров наличие такого желания является менее очевидным, например: *Побывайте в музее, и вы поймете, что каждый из нас – только частичка огромной, одной на всех Жизни* (Вечерняя Москва. 2002.10.10). Здесь автор прежде всего хотел описать впечатления от своей 20-минутной встречи с динозавром в музее. Наконец, есть примеры, где говорящий, скорее всего, негативно оценивает императивное действие: *Попробуйте поголодать пару дней – и вы в этом легко убедитесь* (Трамвай. № 12. 1990). Однако и в подобных случаях признак желания действительной реализации действия не утрачен полностью: говорящий выражает следующее – «было бы хорошо, если бы собеседник сделал действие, но только для того, чтобы тот убедился в существовании предполагаемой говорящим связи между данными действиями». Но в случаях, где негативная оценка относится ко второй части предложения, признак желания реализации императивного действия, скорее всего, совсем утрачивается: *Только раз потеряй доверие товарищей и сразу окажешься в полном одиночестве* (Воинов. Отважные). В данном случае, в сущности, говорящий советует адресату не совершать действия. Однако здесь не утрачен признак импульса. Он проявляется своим компонентом «призыв к причастности»: употребляя императив, говорящий требует особого внимания слушателя по отношению к императивному действию, а это дает таким предложениям особый экспрессивный характер. Этим они отличаются от предложений с союзом *если*, а также и от разных сложносочиненных конструкций, в том числе конструкции с глаголом *стоит*.

Во многих предложениях условная разновидность директивного императива имеет характер некоторой «непосредственности»: реализация императивного действия сразу ведет к другой ситуации. По нашему мнению, характер непосредственности является определенной частью интерпретации общего/абстрактного значения сложносочиненной конструкции. В этой конструкции употребляется союз *и*, который «обозначает такой ход событий, который считается известным, нормальным, т. е. полностью соответствующим нашему знанию ситуации, нашим представлениям об устройстве мира» [Урысон 2000: 99]. В случае употребления императива еще добавляется значение особого внимания слушателя по отношению к императивному действию (подробный анализ см. [Fogelin, Voogant (in prep.)]).

Как было указано выше, существуют также предложения с условным значением при подлежащем 1-го или 3-го лица (типа *Приди он вовремя, ничего бы не случилось*). По нашему мнению, они уже относятся к отдельному типу, имеющему ряд собственных семантических и синтаксических признаков (например: в случае 2 л. мн. ч не употребляется постфикса *-те*; порядок слов всегда является VS). Об этом условном императиве см. раздел 6.

3. ДОЛЖЕНСТВОВАТЕЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ

3.1. Примеры императива в предложениях, выражающих долженствование: *Вася, что получит, то и пропьёт, а я крутись – вертись на свою зарплату* (И. Грскова. Перелом); *Мы плати за купе, а им оно бесплатно* (Павлов. Карагандинские девятины...). В таких предложениях говорящий не дает адресату импульс к совершению действия, но лишь сигнализирует наличие некоторого импульса, направленного к (прямо или косвенно) указанному субъекту действия: *У нас будь тишина, а им можно шуметь?* [РГ 1980: 116]. Источником импульса к совершению действия является сама ситуация, существующая в момент речи. Это может быть связано с требованиями каких-нибудь людей, участвующих в ней, но это не является постоянным признаком предложений данного типа: *В этом году зима суровая, а дрова кончились, вот мы тут и мерзнем* [Israeli 2001: 10].

Во многих случаях говорящий оценивает императивное действие отрицательно. Тогда императивное предложение обычно является частью противительной конструкции (см. первые два из приведенных выше примеров). Шведова [Шведова 1974: 117] отмечает, что есть и примеры, где говорящий относится положительно к действию: *Взялся учить, так он и учи*. Такие примеры типичны для языка девятнадцатого века или разговорной речи и близки к оптативному значению, где импульс дается говорящим (ср. конструкцию с частицей *пусть*).

Несколько примеров стоят отдельно. Например, такие, в которых можно говорить об оценке действия как простого, доступного, легко осуществимого («нужно только»): *А наш Николай ей ни на что не нужен. А он тянется вообще уйти за ней. Она только моргни* (Петрушевская. Уроки Музыки). Этот пример (с формой *только*) близок к случаю условного значения, где говорящим дается импульс адресату только *п р е д с т а в и т ь* с с б с действием. Подобное значение также возникает в предложениях обобщенно-личного типа с глаголом совершенного вида: *И бурим тут, и роем, и всюду тут новости. Почему же с лесным урожаем, где наклонись и возьми, никаких новостей?* [РГ 1980: 117] («достаточно наклониться, и можешь взять»). Интересно отметить, что в этом примере второй императив выражает не долженствование, а возможность: ситуация, представленная первым императивом, является условием для реализации (возможности) второго императивного действия. В данной конструкции оттенки разрешения встречаются только изредка, прежде всего при отрицании и в совершенном виде: *В переднем вагоне скучно и хмурно и на ногу никому не наступи* (Зоценко. На живца); *Он все дни где-то пропадает, а я из дому не выходи* [Храковский, Володин 1986: 238]⁶.

В отличие от директивного императива подлежащее стоит в первом или третьем лице (ед. или мн. ч.) или отсутствует (в случае безличного предложения): *В доме всегда будь тепло, а сам не хочешь даже дров принести* [РГ 1980: 590]. Порядок слов в предложениях с подлежащим в принципе является свободным, но обычно подлежащее предшествует императиву.

Во многих случаях субъект императивного действия не получает эксплицитного выражения. Такие предложения имеют обобщенно-личный характер и лишь имплицитно относятся к первому или третьему лицу: *Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь – как тетки хотят* ([Шведова 1974: 113] из письма Пушкина). Некоторые из этих предложений представляют собой переходные случаи с ослабленным директивным значением: *Рыбацкий закон: раз старшина говорит – выполняй. Идет вода – значит, эх, не жалея сил, работай, создавай дамбы* [Васильева 1969: 40]. Интересно отметить, что при имплицитном отношении действия к говорящему возможно даже употребление местоимения второго лица, которое тогда приобретает обобщенное значение: *Грязь, чичер, ни пути ни дороги, а ты иди, кланяйся...* (Бунин, цит. по [Veugens 1980: 96]).

В современной (часто – разговорной) речи для выражения субъекта действия иногда употребляется личное местоимение в дательном падеже: *[Е]го по носу припечатали, ребенка забрали, ведро помоев на голову вылили, а ему сиди и не вякай?* (В. Седлова. Восемь-восемь, или предсвадебный марафон) (см. также [Шведова 1974: 112]). Можно предполагать, что употребление дательного падежа возникло под влиянием инфинитивных предложений с местоимением в дательном падеже, типа: *Все летают, бьют врага, а мне сидеть без дела...* (А. Недбайло. В гвардейской семье). Этот вариант представляет собой очередной шаг в удалении от директивного значения.

⁶ В разговорном языке также встречаются примеры несовершенного вида, которые выражают модальность, близкую к значению возможности-разрешения, с оттенком неодобрения: *Когда я увидела, что он открывает эту будку ключами и в ней просто никого нет... ангел-хранитель шепнул мне на ушко, меня прошиб животный ужас и я поняла, что еще секунда и делай он со мной, что хочешь...* (письмо на сайте www.nelegal.ru). В других примерах (с глаголом *делать*) значение возможности-разрешения также накладывается значением выражений типа *что хочешь*: *это было весьма сложно для меня... он пил, он управлял ею, он пугал ее и она велась, он делай все что хотел...* (Форум в интернете)

Вид у долженствовательного императива в большинстве случаев несовершенный, поскольку речь идет об определенном с о с т о я н и и. В данной конструкции совершенный вид встречается прежде всего при отрицании (см. п. 3.2); (см. [Fortuin 2000: 118–120] для других исключений).

Важно отметить, что в случае употребления местоимения *вы* с обобщенным значением не употребляется директивный постфикс *-те*⁷. Наряду с этим есть и другие признаки, указывающие на отсутствие директивного признака у долженствовательного значения: (а) наличие безличных предложений, (б) отсутствие частицы *-ка*, (в) возможность употребления императива в придаточной части предложения: *Пашем как мудаки а вы чай гоняете на нас и не смотрите вот как. Значит выходит что мы работай а вы с Николаем плевать на нас?* (В. Сорокин. Норма).

3.2. В обобщенном виде значение всех предложений долженствовательного типа можно сформулировать следующим образом: «Употребляя императив, говорящий сигнализирует наличие импульса, исходящего из общей ситуации и направленного на реализацию императивного действия, и в то же время выражает призыв к адресату проявить определенную причастность по отношению к императивному действию (во многих случаях говорящий хочет обратить внимание на неприятные последствия реализации действия, и подчеркивает это, сопоставляя свою ситуацию и (более положительную) ситуацию других людей)».

Схема 2

Импульс	Цель импульса	Субъект ситуации	Объект импульса
Общая ситуация	→ $SI(V_{+aspect})I_1$	$C = 1/(2^*)/3$ ед.-мн./безл.	C

* Местоимения *ты* (возможно, и *вы*) допускаются, но выступают здесь исключительно с обобщенно-личным значением.

Важно отметить, что в большинстве контекстов значение импульса интерпретируется как выражение долженствования, и только в редких случаях как выражение возможность. По нашему мнению, преобладание интерпретации долженствования объясняется тем, что признак «импульса, направленного к реализации действия», прототипически интерпретируется именно так, если не имеются указания на существование у субъекта особого желания к совершению действия. Для долженствовательных случаев характерно предположение, что без экстренного импульса субъект действия не перейдет к действию. Подобное явление наблюдается в сочетании с именем существительным в дательном падеже (анализ см. [Fortuin 2005]).

3.3. По нашему мнению, долженствовательный императив является результатом транспозиции директивного императива вследствие отвлечения от прямого контекста говорящего-адресата и ослабления роли говорящего при реализации действия. Импульс к самой реализации действия уже не исходит от говорящего. Говорящий видит источник импульса в самой окружающей ситуации. Итак, можно говорить о селекции признака: «Импульс к реализации действия исходит из источника, не идентичного говорящему и субъекту действия» и частичное устранение признака: «произнося форму императива, говорящий дает импульс адресату к реализации ситуации». Мы говорим о частичном устранении, потому что компонент «призыв от говорящего к адресату проявить определенную причастность по отношению к императивному действию» здесь остается

⁷ Мы встретили только примеры с личным местоимением в дательном падеже, например: *А тут еще слухи ползут о некоем человеке по имени дон Жуан, а вам сиди и гадай: то ли вы – всего лишь очередная жертва ловкого ловеласа, то ли вам, действительно, встретилась та любовь, о которой мечтает каждая женщина* (Интернет).

в силе. Именно это объясняет так называемые субъективно-модальные оттенки (прежде всего оттенок неодобрения), которые характерны для таких предложений. Возможно, что предложения с обобщенно-личным характером должны рассматриваться как переходные шаги в процессе транспозиции. В таких предложениях предполагается, что субъектом действия должен стать не только собеседник, но вообще каждый человек, находящийся в данном положении⁸. Здесь говорящий частично отождествляет себя с экстренным источником импульса (*Когда ты находишься в таком положении, тогда: → SIT(V_{+aspect})!*). Следует отметить, что существует также определенная связь между долженствовательным значением и оптативным значением (см. п. 5). Можно предположить, что в развитии долженствовательного императива особую роль играло именно оптативное употребление.

4. ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ

4.1. Как известно, императив употребляется также для выражения значения неожиданности проявления действия в прошлом. Во многих таких предложениях императив обозначает действие, осуществляющееся без всякого видимого повода, внезапно (часто с наречием *вдруг*): *И вдруг тогда, в ту секунду, кто-то и шепни мне на ухо* ([Veugens 1980: 104], Достоевский); *Да и то: все обещала, обещала, вот и в «Знамя» определила анонсом название, короткое, непонятное, – «Кысь». «Знамя» роман объявило, а вдруг он и выйди отдельным изданием!* (Знамя. 2001. № 3).

Значение неожиданности может быть связано с нарушением некоей нормы. Субъект совершает действие просто так, и говорящий оценивает это отрицательно: *Как-то вели концерт, стали объявлять группу: «Хай! Фай!» – и кому-то из подвыпивших зрителей показалось вместо «хай» – «хайль!», ну он и закричи: «Хайль Гитлер!»* (Дочки-Матери. 2003.01.22).

Указанный тип употребления императива можно назвать повествовательным, потому что речь идет о действии в прошлом, об определенном шаге в повествовании. Другой термин, часто используемый в литературе, – драматический императив [Исаченко 1957; Перцов 1998] – подчеркивает экспрессивный характер данного значения. Повествовательный императив типичен для разговорной речи [РГ 1980: 625] и фольклорных произведений. Он представляет так называемый «сказ» (см. [Прокопович 1969]).

Подлежащее в основном стоит в первом или третьем лице (ед. или мн. ч.) или отсутствует (в случае безличных предложений): [*Н*]ам ведь так бы важно узнать, не видели кто их, в восьмом-то часу, в квартире-то, что мне и вообрази сейчас, что вы тоже могли бы сказать (Достоевский, цит. по [Прокопович 1969: 56]). Предложения с субъектом второго лица встречаются весьма редко: *А ты пойд и скажи об этом бабушке?* [Виноградов 1947: 552].

В данном типе употребления императива подлежащее, как правило, предшествует сказуемому. В большинстве случаев императив сопровождается союзом-частицей (*да*) и, стоящим непосредственно перед императивом. Этот союз, пожалуй, акцентирует неожиданный характер действия.

Для повествовательного императива обычным является сочетание с формой *возьми*: *А она, эта неуловимая, невозможная идея, возьми и появиись!* (Независимая газета. 2003.04.28). Данное сочетание является частным проявлением общей конструкции с глаголом *взять*, представленной и с другими глагольными формами (прошедшее время, настоящее-будущее время, императив, инфинитив). Эта конструкция обладает собственным значением, которое, однако, легко накладывается на значение рассматриваемой здесь императивной конструкции (более подробно см. [Fortuin 2000: 149–161; Kog-Chahine 2006]). В современном языке (XX–XXI вв.) при повествовательном императиве

⁸ Интересно отметить, что подобные предложения уже употреблялись в XIV веке ([Зализняк 2004: 588–589] дает пример без подлежащего из новгородского текста).

употребление глагола *взять* (*возьми*) стало почти обязательным⁹. Можно полагать, что это связано с утратой одного из основных компонентов признака «импульс» – направленности на реализацию действия. Употребляя отдельное слово (*взять*), говорящий может ярче выразить значение неожиданности.

Вид глагола всегда совершенный, характерный для обозначения следующих друг за другом элементов повествования.

Как и у долженствовательного употребления, наблюдаются разные признаки, указывающие на отсутствие директивного значения: (а) отсутствие постфикса *-те* и частицы *-ка*; (б) возможность безличных предложений; (в) возможность данного употребления императива в придаточной части предложения.

4.2. В обобщенном виде значение всех предложений повествовательного типа можно сформулировать следующим образом: «Произнося форму императива, говорящий предлагает себе (и адресату) неожиданную реализацию императивного действия, требуя особого внимания от адресата к неожиданному характеру действия».

Схема 3

Импульс	Цель импульса	Субъект действия	Объект импульса
Не направлен к реализации действия*	(→ SIT(V _{-aspect})I ₁)	C = 1, 2, 3, безл.	(адресат)*

* Сохраняется только компонент призыва адресату к особой причастности к императивному действию.

Мы предполагаем, что повествовательный императив является результатом крайней транспозиции императива, где основной компонент признака «импульс» (направленность на реализацию действия) устранен.

4.3. В литературе высказываются разные мнения о происхождении повествовательного императива. А.А. Шахматов [Шахматов 1925] и, следуя ему, другие считают, что данное употребление императива генетически не связано с другими императивными значениями, а является пережитком формы аориста. Однако это предположение кажется не совсем верным (см. [Fortuin 2000: 143–144; Gronas 2006]). Гронас [Gronas 2006: 97] считает, что значение неожиданности действия уже было частью протославянского и даже индоевропейского оптатива, который впоследствии развился в славянский императив. В качестве доказательства он указывает на существование подобных значений при употреблении оптатива в осетинском языке, а также при императиве нескольких других славянских языков: сербского, македонского и болгарского.

Следует отметить, что употребление формы повелительного наклонения для выражения неожиданного действия в прошлом представлено не только в определенных индоевропейских языках. Это явление отмечено и в других языках, например, в арабском (см. [Roni 1994]). Важно отметить, что существуют определенные различия между значением русского повествовательного императива и, например, подобным значением императива в других славянских языках¹⁰.

⁹ Хотя и не совсем, прежде при (почти) устойчивых сочетаниях типа *он/я и скажи*.

¹⁰ В болгарском и македонском языках императив имеет усилительное значение [Gronas 2006: 93], и связь с директивным значением выступает яснее, чем в русском языке (например, субъект формально не выражается). Далее, в македонском языке и нескольких диалектах сербохорватского языка повествовательный императив может иметь значение итеративности, без указания на неожиданность действия (см. [Darden; Belyavski-Frank 1991: 128]). Наконец, в сербохорватском языке повествовательный императив не всегда имеет характер неожиданности (см. примеры, данные в работе [Стевановић 1969: 683]) и является прежде всего выражением живого стиля повествования. Это, пожалуй, указывает на то, что в данных языках подобные употребления возникли в разные моменты и, возможно, из разных частных значений.

По нашему мнению, можно увидеть некоторую связь между отмеченным значением неожиданности и указанным выше значением «наличия импульса к совершению действия», характерным для большинства случаев употребления императива. Эту связь мы видим в том, что при прототипическом (директивном) употреблении императива существует пресуппозиция, что без некоторого внешнего стимула (призыва, исходящего от говорящего) субъект императива (адресат) не переходит к реализации действия. Т. е. обычно такое действие заранее не входит в намерения субъекта, является в какой-то мере для него неожиданным. Можно предполагать, что и первоначальные примеры повествовательного императива были мотивированы тем, что говорящий представлял себе реализацию действия как результат некой «неопознаваемой силы», которая своеобразно, неожиданно образом, вмешивается в нормальное развитие событий. Видимо, признак «субъект действия совершает действие под влиянием импульса извне» преобразовался в признак «действие является неожиданным», который первоначально был лишь сопроводительным оттенком значения.

Как отмечено выше, в современном языке, скорее всего, отсутствует представление о стимуле, направленном к совершению действия. «Импульс» проявляется здесь исключительно в «призыве к причастности адресата». Оттенок неожиданности является его частным проявлением. Во многих контекстах этот компонент связан еще и с такими субъективно-модальными оттенками, как неодобрение (нарушение некой нормы).

5. ОПТАТИВНЫЙ ИМПЕРАТИВ

5.1. К оптативному употреблению императива относятся предложения типа: *Награди вас господь за вашу добродетель* (Пушкин. Капитанская дочка); *Будь ей теперь моя судьбина! / Томись она, крушись она! / С тоски иссохни, как лучина! / Умри она!* (Боратынский. Цыганка). В [РГ 1980: 110] оптативное употребление императива рассматривается в рамках «синтаксического побудительного наклонения», выражающего волеизъявление. Важно отметить, что примеры, данные выше, относятся к языку XIX века и что в современном русском языке оптативный императив уже не является продуктивным, т. е. данный тип употребления встречается почти исключительно в идиоматических выражениях. В современном языке нейтральным выражением «оптативности» является конструкция с частицей *пусть*. Хотя в современной системе синтаксического побудительного наклонения оптативный императив является периферийным явлением, в праславянском языке, а также в древнерусском и церковнославянском языках, оптативную функцию следует считать как раз первичной. Напомним, что форма праславянского императива произошла из индоевропейского оптатива (см. [Gronas 2006: 93]).

5.2. Подлежащее оптативного императива стоит в 1, 2, 3 л., часто отсутствует (в безличных предложениях): *Будь бы здесь тихо!* [РГ 1980: 106]. В случае подлежащего 2 л. ед. числа границы между оптативным и повелительным употреблением стираются. Это проявляется также у подлежащего мн. числа: есть примеры с постфиксом *-те*, а также примеры, где он отсутствует: *Провались вы!* (Чехов. В враге); *Хоть провалитесь вы все сквозь землю!* (Достоевский. Подросток). Это свидетельствует о том, что случаи со 2 лицом – во всяком случае в XIX–XX вв. – можно рассматривать как переходные типы употребления. Только во 2 л. мн.ч. эта «неопределённость» должна быть решена выбором постфикса *-те* или его отсутствием.

Признаком, указывающим на то, что оптативному императиву присущ признак волеизъявления, является возможность употребления частицы *-ка*: – *Ах! он такой-сякой! – вскричала толпа. – Приди-ка он к нам!..* (И. Лажечников. Последний Новик).

В [РГ 1980: 106, 624] отмечается, что в разговорной речи и просторечии употребляется форма *будь* в сочетании с частицей *бы*. Можно привести также примеры с другими глаголами: *Избави бы нас Бог от такой блаженности!* (Наш современник. 2003.07.15); *[У]ж пропадай бы они* (Вельтман, XIX в., цит. по [Виноградов, Шведова 1964: 226]). Возможность употребления частицы *бы* указывает, пожалуй, на частичное удаление признака «импульс» (ср. употребление частицы *бы* при условном императиве; см. п. 6.2).

В данном типе императив, как правило, предшествует своему субъекту. Исключения встречаются редко: *Его пример будь нам наукой* (Пушкин. Моя родословная). Порядок VS типично для всех желательных конструкций, не включающих условного союза *Уехали бы они!*; *Жить вам до ста лет!*

Оптативный императив допускает оба вида. Чаще всего встречается совершенный вид, обозначающий переход, вступление в желательное состояние. В случае употребления несовершенного вида внимание сосредотачивается на самом действии: *Пропадай они совсем* (Мельников–Печерский. На горах).

5.3. В обобщенном виде значение предложений оптативного типа можно сформулировать следующим образом: «Произнося эту форму, говорящий дает импульс к реализации императивного действия субъектом императива». Это значение предполагает, что: (а) говорящий желает реализации действия; (б) употребляя форму императива, говорящий пытается способствовать реализации действия.

Схема 4

Импульс	Цель импульса	Субъект действия	Объект импульса
Говорящий	→ SIT(V _{аспект})I ₁	C = 1/2/3 ед.-мн./безл.	{высшая сила/(адресат)}

Говорящий употребляет этот тип императива в контекстах, где субъект действия не участвует прямым образом в разговоре. Говорящий не может прямо способствовать реализации действия, воздействуя на субъект, но пытается способствовать непрямым образом. Употребляя эту форму, говорящий часто имеет в виду, что сверхъестественный феномен, как Бог или черт, должен играть определенную роль в реализации действия. Однако мы не можем согласиться с мнением Вейренка [Veugens 1980: 101–102], что все употребления оптативного императива предполагают именно призыв к «высшей силе». В XIX в. встречаются примеры, где говорящий явно имеет в виду, что его собеседник поручил третьему лицу совершить действие: *Благодарю милую Машеньку ... и нежно целую; перецелуй она также за меня сестриц и Павлушу* (Вяземский, 1826, цит. по [Виноградов, Шведова 1964: 225]). В современном русском языке в подобных случаях используется частица *пусть*.

6. УСЛОВНЫЙ ИМПЕРАТИВ

6.1. В п. 2.3 было показано, что в определенных условиях директивный императив (2 л.) может приобрести оттенок условия. В этом разделе мы обсуждаем конструкцию, специализированную для выражения условия. Как будет показано ниже, эту конструкцию следует рассматривать как транспозицию оптативного императива.

К условному императиву относятся предложения типа: *Сумей я вовремя позвонить, и все было бы иначе* (Встреча (Дубна). 2003.04.09); *Бунин, не эмигрируй он, никогда бы не написал «Жизнь Арсеньева», не залетел бы на такую высоту* (Совершенно секретно. 2003.07.07). Как и у условных конструкций с союзом *если*, различаются предложения со значением нереальной обусловленности (см. примеры выше) и предложения со значением потенциальной обусловленности: *Опоздай я чуть-чуть, и она унесется в будущее без меня* (Трамвай. № 1. 1991)¹¹.

¹¹ В редких случаях условный императив соотносится с глагольной формой прошедшего времени несовершенного вида, изображающей реальное, повторявшееся действие [Шмелев 1961: 54]: *Всякий, кто только хотел, мог увести его с собой куда угодно; стоило только сказать ему: Иван Ильич, поедете, – он брал шапку и ехал; а подвернись тут другой и скажи ему: Иван Ильич, останьтесь, – он клал шапку и оставался* (Гургенев. Затишье). Подобные предложения примыкают к потенциальному типу.

6.2. Подлежащее императива стоит в первом, втором или третьем лице (ед. или мн. ч.) или отсутствует (в случае безличных предложений): *Рассветай сегодня пораньше, я бы встал во-время* (Дурново, цит. по [РГ 1980: 104]). Субъект 1-го лица иногда опускается (в предложениях с обобщенно-личным характером): *Встреть бы тебя на базаре, так бы и не признала* (Пермяк. Бабушкины кружева).

Необходимо отметить, что во втором лице множественного числа (*вы*) не употребляется директивный постфикс *-те*: *Не будь вы, а другая – ни за что бы не пошел провожать* (Зоценко. Любовь); *Они боятся Вас. Приди Вы к власти – и всем им наступит конец*¹². Это свидетельствует о том, что в условной конструкции отсутствует директивное значение.

Редкие примеры с частицей *-ка* свидетельствуют о том, что условный императив до какой-то степени сохраняет признак оптативности: *Выставь-ка он Собакевича и Ноздрева как помещиков, – они, может быть, превратились бы в злодеев; Гоголю не хотелось этого...* (Д. Григорович. В ожидании паромы (1857)) (для других примеров см. [Gardc 1963: 215]). Однако насколько мы можем судить, в современном языке частица *-ка* фактически не встречается в условной императивной конструкции.

В соответствии со значением обусловленности, которое обычно предполагает последовательность предельных действий, чаще всего употребляется императив совершенного вида. Несовершенный вид встречается в тех случаях, когда говорящий хочет выразить, что в качестве условия выступает не смена ситуаций, а определенное состояние. Это наблюдается чаще всего в предложениях со значением нереальной обусловленности: *И когда в редких репортажах показывают, как живут наши реальные, не киношные, герои, поневоле задумываешься: знает он, чем оплатит ему Родина за его подвиг, стал бы своей жизнью рисковать?* (Известия. 2002.06.06)¹³.

Императив предшествует субъекту. Этот порядок типичен для всех условных (а также желательных) конструкций без союза *если*: *Учился бы сын, мать бы не огорчалась* [РГ 1980: 104–105]; *Прийти бы тебе раньше, и мы обо всем бы договорились* [Формановская 1989: 42]. Следующий пример, с особым подчеркиванием подлежащего, представляет собой исключение: *А если бы сам свалился? Не обижайтесь, милорд, но больные – такой заразный народ! Что бы я одна с вами двумя делала? Ну, а я заболею? Отец Ансельм объявил бы свой дом лазаретом, и на нас не покусились бы ни один вампир!* (А. Белянин. Век Святого Скиминока) (для других примеров см. [Шмелев 1961: 53; Муравицкая 1973: 54]).

Как отмечалось выше, различаются предложения со значением нереальной и потенциальной обусловленности. Выбор данной интерпретации зависит от формы предиката главной части конструкции: при нереальной обусловленности употребляется форма сослагательного наклонения. Интересно отметить, что в разговорной и в непринужденной речи показатель нереальности – частица *бы* – может встречаться также в придаточной (императивной) части (см. [РГ 1980: 104]): *Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел (...)* (Н. Лесков. Очарованный странник); *Может, вернись бы она ещё раз и скажи ему твёрдо – он уступил бы* (Солженицын. Случай на станции Кочетовка). Думается, что подобное употребление частицы *бы* свидетельствует об уравнивании императивной условной конструкции с

¹² www.yabloko.ru/Gbook/gb-arc2.html

¹³ В конструкции со значением потенциальной обусловленности несовершенный вид употребляется прежде всего в предложениях с уступительным характером: *Впрочем, и знай она, где я похоронен, все равно выцарапать меня никаких возможностей не представится* (А. Тюрин. Конечная остановка: Меркурий). Однако употребление несовершенного вида в предложениях без подобного уступительного характера возможно, если употребление настоящего времени совершенного вида во второй части предложения (аподосис), связано с выражением предстоящей ситуации в рамках прошлого: *Меня сразу пронзила мысль: (...) стоит ему проведать о твоём поступке – и ты в его руках. Знай он, кто ты и что ты сделал – и он вытащит тебя из этого фиакра...* (С. Цвейг. Фантастическая ночь...).

другими условными конструкциями. Т. е. можно считать, что в современном языке границы между этими конструкциями стираются (см. также [Hacking 1998: 82–83], что свидетельствует об общей тенденции к морфологической симметрии в подобных конструкциях).

Императивная условная конструкция состоит из двух частей, синтаксическое отношение между которыми часто оформляется союзом *и*. Реже встречаются союзы *а, так, то, как*. Однако во многих случаях синтаксические отношения выражены исключительно посредством интонации. Обычно императивная часть предшествует главной части предложения, но не исключается и обратный порядок: *Она никогда бы не догадалась, что он – чужак, не скажи он об этом* (Азимов. Галка в небе).

Следует отметить, что последний порядок отсутствует у директивной конструкции с условным характером. Другой признак, указывающий на отсутствие директивного значения, – употребление условного императива в придаточном предложении с союзом *что*: *Я чувствую, что, будь их побольше, многие, пожалуй, решились бы относиться к нему без всякого уважения, и уж тогда им ничего не мешало бы жить так, как они хотят* (Искандер. Рассказы разных лет).

6.3. В обобщенном виде значение предложений условного типа можно сформулировать следующим образом: «Говорящий дает волевой импульс адресату, чтобы тот представил себе императивную ситуацию для оценки ее возможных последствий ($\rightarrow \text{SIT}(V)t_1$)» (ср. [Ebeling 1956]).

Схема 5

Импульс	Цель импульса	Субъект ситуации	Объект импульса
Говорящий	$\rightarrow \text{SIT}(V_{+\text{аспект}})t_1$ в гипотетическом или неосуществленном мире	$C = 1/2/3$ ед.-мн./безличн.	Адресат

Условное значение выступает, когда императивное предложение является частью сложносочиненного предложения. Как уже отмечалось в п. 2.3, подобное явление встречается при директивном употреблении. Однако существуют формальные различия между условным употреблением директивного императива и условным императивом. Только у первого типа есть признаки, указывающие на директивность:

Условное употребление директивного императива

- В большинстве случаев субъект 2 л. мн./ед. ч. не выражается (и имеет обобщенно-личный характер); в редких случаях субъект 2 л. мн./ед. ч. выражается местоимением;
- При субъекте 2 л. мн. ч. употребляется постфикс *-те*;
- Порядок слов при местоимении (субъект) 2 л. мн. ч. (VS)/SV. Порядок слов при субъекте 2 л. ед. ч. VS / SV¹⁴;
- Обязательная позиция императивного предложения перед несимперативной частью;
- Обусловленность имеет потенциальный характер.

Условное употребление

- Субъект 1, 2, 3 л. ед./мн. ч. или безличный;

¹⁴ Мы встретили только примеры при субъекте 2 л. ед./мн. ч. с порядком SV, где говорящий действительно желает реализации действия: *А ты посмотри на соседнюю страницу – и станет понятно, как от одного корня можно получить более десятка новых слов!* (Трамвай. № 6. 1990).

- При субъекте 2 л. мн. ч. не употребляется постфикс *-те*;
- Порядок слов VS;
- Императивное предложение стоит перед или после неимперативной части;
- Обусловленность имеет потенциальный или нереальный характер.

Эти признаки свидетельствуют о том, что в условном императиве импульса адресату нельзя представить себя в позиции субъекта императивного действия, но только лишь, чтобы тот представил себе императивную ситуацию. Максимальная разница с условным употреблением директивного императива выступает в контексте условного императива 1, 2, 3 л. с нереальным характером. Минимальная разница выступает в контексте условного императива 2 л. с потенциальным характером. Однако даже в таком контексте можно говорить о семантических различиях. При условном употреблении директивного императива говорящий делает вид, будто он побуждает адресата совершить действие. Однако из контекста ясно, что говорящий желает всего лишь иллюстрировать связь между указанными ситуациями и не имеет в виду, чтобы собеседник действительно совершил императивное действие, например: *Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем*. Наоборот, условное употребление потенциального типа применяется, когда реализация действия, пожалуй, неожиданная, но могла бы быть реальной ('представь себе что'): *Они боятся Вас. Приди Вы к власти – и всем им наступит конец* (см. дальше п. 6.4). В этих примерах (с субъектом 2 л. мн. ч.) семантическое различие связано с употреблением или неупотреблением постфикса *-те*. Приведем примеры с субъектом 2 л. ед. ч.: [А] *спроси у него, как пройти к фабрике – он тебя обольет презрением с ног до головы; Сгинь ты в сумраке – и с меня начальство снимет голову* (С. Лукьяненко. Ночной дозор). Однако различие между предложениями без субъекта (при обращении на «ты») и с местоимением 2 л. ед. ч. небольшое и иногда не заметно. В таких предложениях выбор местоимения *ты* прежде всего связан с характером субъекта (предложения без местоимения *ты* имеют обобщенно-личный характер, между тем как в предложениях с местоимением *ты* указывает на определенного адресата)¹⁵. Поэтому здесь можно говорить о существовании переходных случаев. Как мы уже упоминали, при оптативном употреблении наблюдается то же самое явление (см. п. 5.2).

Нам представляется, что условный императив может быть результатом транспозиции оптативного императива (ср. [Исаченко 1957: 11]) и не должен рассматриваться как транспозиция условной разновидности директивной конструкции. Можно реконструировать путь развития условного императива следующим образом:

- a. Оптативное значение;
- b. Оптативное значение употребляется в конструкции с двумя предложениями;
- c. Конструкция с потенциальным условным значением;
- d. Конструкция с нереальным условным значением.

Оптативный императив выражает не только желание, но и не прямое побуждение к действию того, кто не участвует прямым образом в разговоре, а возможно, даже и не присутствует при нем (ср. *пусть*). Произнося эту форму, говорящий имеет в виду, чтобы адресат передал какому-то третьему лицу побуждение к совершению действия, или чтобы Бог («высшая сила») способствовал реализации действия. Последствия реализации желаемого действия можно выразить в отдельном предложении (a → b). Следующий шаг – утрата признака желания действительной реализации действия. Говорящий жела-

¹⁵ Такие предложения иногда даже имеют обобщенно-личный характер: *Нынче в России компьютерщина, действительно, что твоё поле чудес в стране дураков, только не «крекс, фекс, пекс», а скажи ты «e-gov», и тогда за ночь вырастет тебе тенистое дерево госфинансирования со стодолларовыми ассигнациями вместо листьев* (Лебедь (Бостон). 2003.12.07).

ет только реализации действия в гипотетическом мире, хочет, чтобы у адресата возникло такое представление, с целью обратить внимание на возможные последствия такого действия. Утрата признака «желательность осуществления действия», по всей вероятности, способствовала развитию условного значения императива и дальнейшему распространению сферы его употребления на те случаи, где действия уже совсем не выходят из области нереального (с → d).

Несмотря на то, что нужно было бы провести более подробное исследование для того, чтобы окончательно ответить на вопрос о происхождении условного императива, есть несколько фактов, поддерживающих вышеизложенную гипотезу.

Во-первых, употребление формы императива в функции оптатива встречается в древнерусских памятниках, но существование условных предложений с императивом, т.е. предложений выше рассматриваемого типа, там не наблюдается (см. [Борковский 1958: 70]).

Во-вторых, в XIX в. потенциальный тип условного императива встречался чаще, чем ирреальный тип. Однако в XX в. их соотношение изменилось в пользу последнего (см. [Voitenkova 2001: 207]).

В-третьих, в XIX в. при условном императиве встречалась 'побудительная' частица *-ка*, указывающая на определенный побудительный характер тогдашнего условного императива, но в XX в. подобное употребление данной частицы, насколько нам известно, фактически исчезло.

В-четвертых, в XIX и XX вв. частица *бы* употребляется уже в самом императивном предложении. Это можно воспринимать как указатель значительного ослабления признака побудительности при данном типе употребления императива в современном русском языке. Интересно отметить, что в современном разговорном языке даже встречаются предложения с эксплицитным указателем условности – союзом *если*: *Я вам еще раз говорю: даже если будь он сыном генералиссимуса, он получит свое, что заработал* (Калининградские Новые Колеса. 2004.08.01); *Если случись какой несчастный случай / просто говорят / это какой-то божж попался / и прочее / всего-навсего* (НКРЯ; 2001.11.15). Хотя возникновению таких сочетаний, возможно, способствовал идиоматический характер оборота типа *случись*, это тоже можно было бы истолковать как результат дальнейшей утраты признака побудительности.

Наконец, оптативный источник объясняет, почему в русском языке условный императив потенциального и нереального типа употребляется с подлежащим 1 и 3 лица, поскольку в других языках, как, например, в английском, условный императив употребляется только с подл. 2 л., даже в предложениях нереального типа: *Say that and you would have been thrown out* [Davies 1986: 187].

Несмотря на то, что мы видим диахроническую связь с оптативным употреблением, мы не совсем можем согласиться с утверждением Перцова [Перцов 1998: 94], что при употреблении условного императива говорящий условно побуждает некоего лица выполнить соответствующее действие, и что в тех случаях, в которых субъект при императиве не обладает способностью к целесообразной деятельности, например, у неживых объектов, можно говорить о персонификации субъекта. Нам представляется, что значение условного побуждения субъекта, не присутствующего в разговоре, могло быть характерным для оптатива, но, по нашему мнению, в условном употреблении этот признак частично утрачен и сохраняется лишь как импульс, направленный к адресату, чтобы тот представил себе императивную ситуацию.

6.4. В литературе отмечен ряд модально субъективных оттенков условного императива, которые отсутствуют у обычной условной конструкции: (а) значение случайности/неожиданности [Исаченко 1957: 10–11; Васильева 1969; Israeli 2001: 20]; (б) значение уступительности [Муравицкая 1973]; (в) значение непосредственности [Garde 1963; Васильева 1969]. Характер непосредственности связан со значением сложносочиненной конструкции (см. п. 2.3). Другие оттенки значения вытекают из значения импульса, направленного к адресату, чтобы тот представил себе императивную ситуацию. Рассмотрим их более подробно.

Тот факт, что дастся импульс к представлению данного действия, предполагает, что это представление у адресата возникает не само по себе. Это может быть связано с тем, что связь между императивной ситуацией и другой ситуацией является неожиданной, либо что неожиданным является само возникновение императивной ситуации. (И здесь это можно связать с особым компонентом признака «импульс»: «Призыв к адресату проявить определенную причастность по отношению к императивному действию».) Это объясняет, наверное, почему предложения потенциального типа нельзя считать удачными, если реализация императивной ситуации представляется вполне вероятной: *Приди он вовремя – мы не опоздаем*. Израэли [Israeli 2001: 20] считает, что при потенциальной разновидности условного императива реализация императивного действия всегда приводит к негативным последствиям. Во многих случаях такая связь действительно существует, но есть и примеры, в которых названный признак явно отсутствует: *Кузин все равно скучал по ней. Приди она к нему, он ей все простит* (Звезда. 2001. № 8). В случаях, указанных Израэли, скорее всего, можно говорить о некоторой прагматической специализации.

Предложения нереальной обусловленности употребляются в тех случаях, когда указанные действия не осуществились в прошлом (т.е. со значением «контрфактичности»). В таких предложениях чаще всего выражается мысль о том, что действительность легко могла бы быть другой, если бы события развились несколько по-другому. Кроме того, встречаются примеры без отношения к прошлому, в них речь идет о не очень вероятном осуществлении данных действий в будущем. Можно полагать, что значение нереальной обусловленности само по себе имеет признак «неожиданности», поскольку неожиданным является само возникновение императивной ситуации. Возможно, что по сравнению с предложениями с союзом *если*, в обсуждаемых предложениях значение «невероятности» выражено ярче и часто представлено характером случайности (часто с оттенком, что императивное действие осуществляется «как на зло») (ср. [Israeli 2001: 22–26; Исаченко 1957: 10–11]). Однако это, очевидно, наблюдается не во всех предложениях данного типа, ср.: *Размер залога обычно сопоставим с той суммой, что была бы заблокирована на счёте клиента, плати он при помощи кредитки* (Автопилот. 2002.05.15). Что здесь остается от значения «импульса», так это, пожалуй, лишь более свободный стиль, связанный с признаком «говорящий призывает адресата проявить определенную причастность по отношению к императивному действию».

Другим примером прагматической специализации оттенка неожиданности является значение уступительности: *Да будь я и негром преклонных годов и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин* (Маяковский); *Сотвори Господь хоть пятьдесят Одесс, все равно в Одессе будет тесно* (Высоцкий). Оттенок уступительности, часто выраженный такими элементами, как [да + V] / [хоть + N], довольно типичен для условного императива и отсутствует, или менее ярко проявляется, в форме сослагательного наклонения (*Да был бы я негром преклонных годов...*). Указанные предложения являются переходными случаями между условными и уступительными конструкциями. По формальным признакам они ближе к условной конструкции, например, порядок слов: VS; не употребляется директивный постфикс *-те*: *Пенсию свою вы не перестанете получать, проживи вы хоть 150 лет* (Аргументы и факты. 2001.04.04).

Несмотря на то, что в большинстве случаев не употребляется директивный постфикс *-те*, при потенциальном типе он все же иногда фигурирует (в XIX и XX вв.): *...будьте вы хоть десять раз генералом, вас не прождут лишней минуты против назначенного срока (...)* (Д. Григорович. Корабль «Ретвизан»); *«Будьте вы хоть семи пядей во лбу, – говорил он, – вам никогда не удастся запомнить все напечатанное в грудах книг и таблиц (...)*» (Стругацкие. Страна багровых туч). Для таких предложений характерно употребление частицы *хоть*¹⁶. Насколько нам известно, в предложениях со

¹⁶ В интернете можно найти также примеры со словом *даже*: *Будьте Вы даже трижды правы в аварии, на тяжести травм это не скажется (...)* (<http://www.hardride.ru/sinus/?qa/139>)

значением нереальной обусловленности употребление постфикса *-те* недопустимо. Все указанные признаки предложений этого типа говорят о связи с уступительной конструкцией (см. п. 7). Однако другие признаки указывают как раз на связь с условной конструкцией (порядок слов VS; частица *хоть* не стоит перед глаголом). Поэтому эти предложения можно отнести к переходным типам употребления. Важно подчеркнуть, что существование таких переходных случаев типично для полисемичного комплекса. Подобные употребления могут привести к изменению языковой нормы (например, обязательное употребление постфикса *-те*).

Необходимо отметить, что признак «импульс», обязательный для рассматриваемых императивных конструкций, не входит в значение «конкурирующей» конструкции с формой сослагательного наклонения: *Потому что жизненного опыта у них нет, интеллект низкий. А пришел бы он в армию, его бы взбодрили, преподали бы ему школу жизни!* (Би-би-си, Россия). Однако все же существует большая семантическая близость между этими конструкциями. Это проявляется в примерах, где они обе употребляются в рамках одного предложения: *Вот будь сегодня монархия, допустим, и был бы он жив, он бы был, наверное, за коммунистов. Были бы коммунисты, он был бы за монархистов* (Радио Свобода. 2005.11.22).

7. УСТУПИТЕЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ

7.1. Императив употребляется также в сложносочиненных конструкциях с уступительным значением. Как мы уже отметили выше (п. 6.4), условная конструкция может иметь некоторый уступительный характер. Однако в этом разделе речь идет об отдельной, специализированной конструкции с самостоятельными семантическими и синтаксическими признаками. Различаются два типа (см. [Храковский 2004] уступительных конструкций и употребления разных терминов):

а) Предложения со скалярным характером, с частицей *хоть*, стоящей перед глаголом¹⁷: *Доктор говорил по-французски прекрасно, как не говорит ни один англичанин, хоть он живи сто лет во Франции* (Гончаров. Фрегат «Паллада»);

б) Предложения с частицей *ни*, имеющие у н и в е р с а л ь н о е или о б о б щ е н н о е значение: *Ведь что я ни говори, о чем я ни кричи, а стену, воздвигнутую им против меня, уже не пробьешь ни кулаком, ни ломом* (Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом); *Потому что комары, какие уж они гниды ни будь, живут вместе с нами в Москве* (Столица. 1997.08.26). Здесь можно говорить об уступительном значении, потому что такие предложения понимаются на фоне ожидания того, что ситуация, представленная в придаточной (императивной) части, будет достаточным основанием для реализации (или не реализации) ситуации, названной в главной (несимперативной) части. Однако негативный характер главной части указывает как раз на то, что подобное ожидание не оправдывается.

7.2. Подлежащее императива стоит в первом, втором или третьем лице (ед. или мн. ч.), или отсутствует (в случае безличного предложения): *Один человек, допустим, такой это веселый-веселый, что с ним хоть, допустим, что ни случись, отчего другой сразу бы окочурился или повесился в петле, а этому – хоть бы хны!* (Попов. Темный лес). Однако в современном языке уступительный императив чаще всего употребляется с существительным второго лица, часто с обобщенным значением и в идиоматических оборотах типа *куда ни глянь; что ни говори; хоть убей*.

Важно отметить, что при 2 л. мн. ч. всегда употребляется директивный постфикс *-те*: *Как вы ни думайте, решить эту задачу бессильны и вы, и я, и он, и все на свете* (А. Грин. Бегущая по волнам). Это свидетельствует о наличии признака директивности в уступительной императивной конструкции. Частица *-ка* не употребляется, наверное,

¹⁷ Подчеркнем, что в случае условно-уступительного типа *хоть* стоит после глагола, напр.: *Сотвори Господь хоть пятьдесят Одесс, ...*

из-за того, что ее значение не соответствует пермиссивному характеру уступительной конструкции (см. [Храковский, Володин 1986: 183]). Однако есть и другие признаки, которые проявляются при отсутствии директивного значения: (а) конструкция может употребляться как часть другого сложноподчиненного предложения: *Дождь пополам с градусом лупит такой, что хоть кричи – ничего не услышишь* (Искандер. Сандро из Чегема); (б) императивная часть может следовать за главной частью: *Я не помню ее, хоть убей* (Шитова. Дерзкая)¹⁸.

В отличие от большинства конструкций с условным императивом, в главной части уступительной императивной конструкции употребляется глагол в настоящем или будущем времени. В большинстве случаев употребляется несовершенный вид, хотя совершенный вид тоже встречается нередко.

7.3. В обобщенном виде значение предложений уступительного типа можно сформулировать следующим образом:

Если $C =$ адресат: «Говорящий дает волевой импульс (с пермиссивным характером) адресату представить себя в позиции субъекта действия (\rightarrow SIT (V) t_1), только чтобы тот осознал, что ситуация, представленная в императивной части, не является достаточным основанием для реализации ситуации, представленной в неимперативной части».

Если $C \neq$ адресат: «Говорящий дает волевой импульс (с пермиссивным характером) адресату представить себе действие, только чтобы тот осознал, что ситуация, представленная в императивной части, не является достаточным основанием для реализации ситуации, представленной в неимперативной части».

Схема 6

Импульс	Цель импульса	Субъект ситуации	Объект импульса
Говорящий	\rightarrow SIT($V_{+ispect}$) t_1 в гипотетическом мире*	$C = 1/2/3$ ед.-мн./безл.	Адресат

* Однако еще частично сохраняется признак реализации действия в действительности.

По мнению Эбелинга [Ebeling 1956], существует тесная семантическая связь между уступительным и условным значениями. Единственная разница заключается в том, что в случае уступительного употребления импульс говорящего адресату представить себе действие имеет **п е р м и с с и в н ы й** характер. Мысль о связи уступительного употребления с пермиссивным вариантом волеизъявления нам кажется убедительной. Во многих языках уступительные конструкции развились из условных или их можно рассматривать как особые интерпретации условного значения, как в случае русской конструкции с *если даже* (см., напр. [König 1986; Haspelmath, König 1998]). Однако, насколько нам известно, в случае рассматриваемой нами уступительной конструкции русского языка не существует диахронических данных, подтверждающих гипотезу, что данный тип употребления императива возник только после условного. Более того, наличие повелительного постфикса *-те* при уступительном императиве и отсутствие его при условном (прежде всего у нереального типа) указывает на то, что уступительное употребление – во всяком случае при 2 л. – имеет связь с директивным императивом (ср. [Исаченко 1957: 11]).

Поэтому нам кажется более вероятным, что условная и уступительная конструкции развились независимо друг от друга. Связь директивного значения с уступительным – не

¹⁸ Сравните с порядком предложений условного употребления директивного императива (императивная часть перед неимперативной частью) (см. п. 2.3). При данной конструкции значение директивности первичное, и значение условия только понимается на фоне повеления. При уступительной конструкции уровень семантической и синтаксической интеграции императивной части с неимперативной частью является ниже. Более того, во многих предложениях императивная часть может пропускаться (*Я не помню ее, ~~хоть убей~~*).

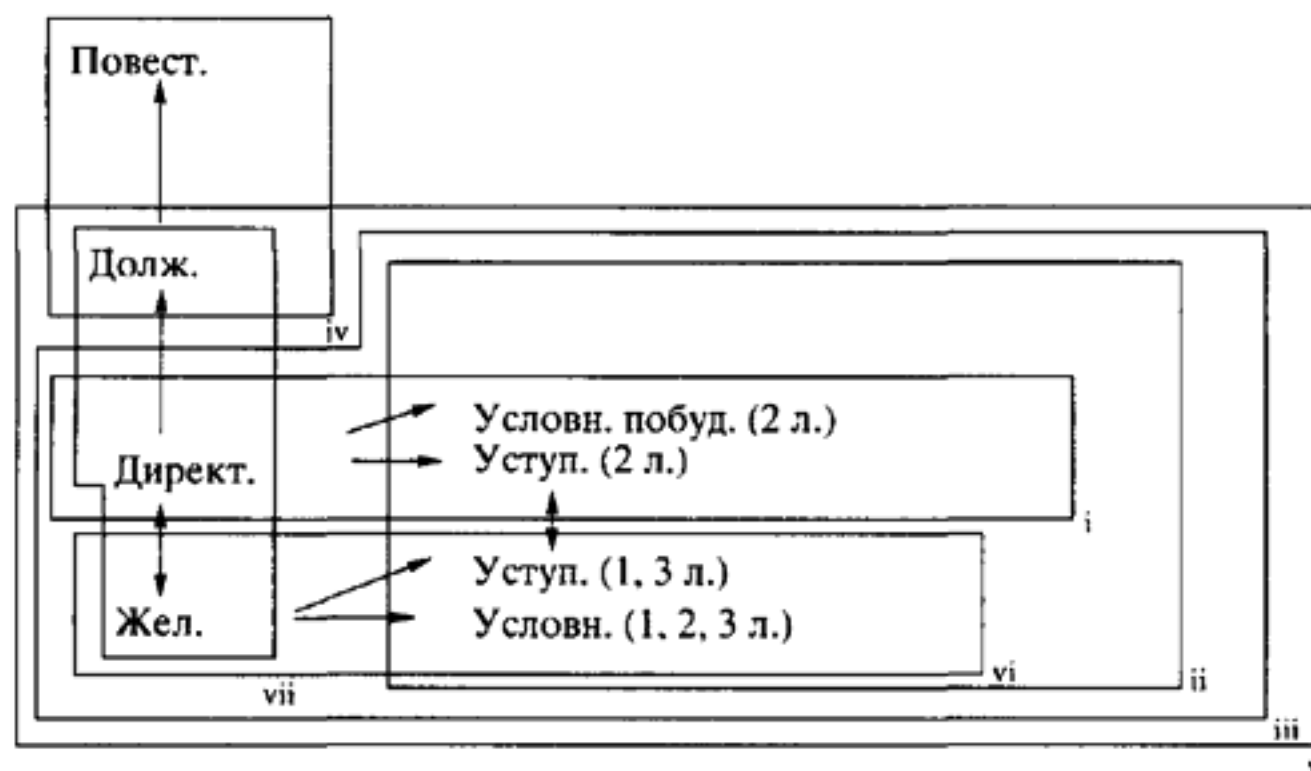
уникальное свойство русского императива и встречается у других форм в других языках (см., напр. [Haspelmath, König 1998: 581]). Примером в русском языке является директивно-оптативная конструкция со словом *пусть*, которая употребляется в предложениях с уступительным характером: *И пусть со мной спорят – все равно нет на свете женщины, которая не мечтала бы о любви, даже если она в весьма зрелом возрасте* (Семья. 2001.11.14). В таких случаях, как и в императиве, не существует основания для гипотезы об условном происхождении уступительного употребления. Другими словами, директивное значение (или конструкция) в одно и то же время может приобрести как оттенок условности, так и оттенок уступительности.

Итак, уступительный императив 2 л. похож на директивный императив с условным характером (п. 2.3), где признак «реализация действия в действительности» частично сохранен. Говорящий дает импульс адресату реализовать какое-то «крайнее» действие или действия определенного типа, снимая этим действительные или возможные возражения адресата. Признак «пермиссивности» принимает здесь характер некоторого равнодушия. В то же время говорящий знает, что в действительности исключается осуществление данного действия. Таким образом, волеизъявление говорящего имеет только аргументативную функцию, и употребление императива является экспрессивным оборотом для подчеркивания истинности суждения в другой части конструкции. В предложениях с подлежащим 1 или 3 л. можно, пожалуй, говорить о транспозиции оптативного императива, похожей на транспозицию при условном употреблении (см. п. 6.4). В конце концов, в полисемичном комплексе определенную роль играют все типы употребления и их семантические признаки, и все они могут, в большей или меньшей степени, способствовать развитию других типов употребления.

ВЫВОДЫ

Русский императив – полисемичный комплекс разных взаимосвязанных значений. Эти значения и связи между ними представлены в схеме 7.

Схема 7



- (i) Директивное и псевдо-директивное употребления
- (ii) Условное-уступительное употребление
- (iii) Импульс = Говорящий
- (iv) Импульс ≠ Говорящий
- (v) Употребления с идентифицируемым импульсом
- (vi) Говорящий дает импульс субъекту непрямо (или, в случаях уступ. и услов. употребления, импульс направлен лишь на представление действия)
- (vii) Импульс направлен на реализацию действия в действительности

Несмотря на то, что у всех (прямых и непрямых) императивных значений основную роль играет признак «импульс», рассматриваемый выше материал приводит к выводу, что говорить об одном, отвлеченном значении, охватывающем досконально все типы употребления императива в современном русском языке, нельзя. Важно отметить, что при ближайшем рассмотрении все же можно найти определенные связи между этими значениями. Мы утверждаем, что эти связи каким-то образом основаны на следующих понятиях: «наличие импульса к совершению или представлению действия» и «призыв к адресату проявить определенную причастность по отношению к этому действию». Из этих компонентов состоит признак «импульс», который присутствует у всех рассматриваемых выше типов употребления императива. Этот признак является ядром, вокруг которого образуется весь комплекс значений императива. Он наиболее ярко и конкретно функционирует в директивном значении, которое является прототипическим/главным значением, а также в оптативном употреблении, которое уже не является продуктивным в современном языке, но играло значительную роль в древнерусском языке.

Цель нашей статьи заключалась прежде всего в том, чтобы обратить внимание на целесообразность рассмотрения семантики русского императива как комплекса взаимосвязанных значений. Подтверждение такого восприятия данного вопроса мы находим в существовании разных переходных случаев употребления императива.

При этом мы не отрицаем, что в различных типах употребления наблюдаются существенные различия в границе с указанным ядром, и что те или иные типы употребления смогли приобрести более или менее самостоятельный статус. Примерами служат повествовательный императив, который почти полностью потерял связь с признаком «импульс», и условный императив, у которого эта связь, скорее всего, сильно ослаблена. К тому же, некоторые употребления уже не имеют статус продуктивных типов (например, оптативный императив), или имеют архаический характер (например, повествовательный императив без *возьми*). Подобные различия подчеркивают самостоятельный статус отдельных типов. Однако, по нашему мнению, и в этих случаях все еще проявляется компонент особого призыва к адресату. Именно этот факт объясняет повышенную экспрессивность указанных употреблений императива.

Наличие общих элементов является важным фактором при образовании языковых концентров (см. [Bartsch 1998]), что обеспечивает необходимую стабильность полисемичных комплексов. Вследствие этого даже периферийные типы употребления формы X сохраняют определенную общность с главным значением этой формы или с другими частными ее значениями и продолжают отличаться от наиболее близких типов употребления другой формы, входящей с формой X в синонимические соотношения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бондарко 1990 – А.В. Бондарко. Теория функциональной грамматики, темпоральность, модальность. Л., 1990.
- Борковский 1958 – В.И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот. Сложное предложение. М., 1958.
- Васильева 1969 – А.И. Васильева. Глагол в разговорной речи // Русский язык за рубежом. 1969.
- Виноградов 1947 – В.В. Виноградов. Русский язык. М., 1947.
- Виноградов, Шведова 1964 – В.В. Виноградов, Н.Ю. Шведова. Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века: Изменения в системе простого и осложненного предложения. М., 1964.
- Зализняк 2004 – А.А. Зализняк. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. с учетом материала находок 1995–2003 гг. М., 2004.
- Исаченко 1957 – А.В. Исаченко. К вопросу об императиве в русском языке // Русский язык в школе. 1957. № 6.
- Котгай 1968 – И. Котгай. К вопросу об инвариантном значении форм русского императива // Recueil linguistique de Bratislava / Под ред. J. Ružička. Вып. 2. Bratislava, 1968.
- Левонтина 1991 – И.Б. Левонтина. Словарные статьи частицы *-ка* и существительного *месяц* // Семиотика и информатика. Вып. 32. 1991.
- Муравицкая 1973 – М.П. Муравицкая. Полисемия императива // Математическая лингвистика. 1973. № 1.

- Падучева 1996 – *Е.В. Падучева*. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
- Перцов 1998 – *Н.Б. Перцов*. К проблеме инварианта грамматического значения II. Императив в русском языке // ВЯ. 1998. № 2.
- Прокопович 1969 – *Е.П. Прокопович*. Стилистика частей речи. М., 1969.
- РГ 1980 – Русская грамматика // Под ред. Н.Ю. Шведовой. Т. 2. М., 1980.
- Стевановић 1969 – *М. Стевановић*. Савремени српскохрватски језик. Т. 2. Синтакса. Београд, 1969.
- Урысон 2000 – *Е.В. Урысон*. Русский союз и частица *и*: структура значения // ВЯ. 2000. № 3.
- Формановская 1989 – *И.И. Формановская*. Сложное предложение. М., 1989.
- Храковский 2004 – *В.С. Храковский*. Уступительные конструкции: семантика, синтаксис, типология // Типология уступительных конструкций. СПб., 2004.
- Храковский, Володин 1986 – *В.С. Храковский, А.П. Володин*. Семантика и типология императива. Русский императив. Л., 1986.
- Шахматов 1925 – *А.А. Шахматов*. Синтаксис русского языка. Л., 1925.
- Шведова 1974 – *Н.Ю. Шведова*. О долженствовательном наклонении // Г.А. Золотова (ред.). Синтаксис и норма. М., 1974.
- Шмелев 1961 – *Д.Н. Шмелев*. Внеимперативное употребление формы повелительного наклонения в современном русском языке // Русский язык в школе. 1961. № 5.
- Ясаи 1995 – *Л. Ясаи*. Императивная форма русского глагола в функционально-семантической интерпретации // *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae*. 1995.
- Bartsch 1998 – *R. Bartsch*. Dynamic conceptual semantics: A logico-philosophical investigation into concept formation and understanding // CSLI Publications, Stanford (CA), 1998.
- Belyavski-Frank 1991 – *M. Belyavski-Frank*. Narrative use of tense forms in Russian & Serbo-Croatian // *The Slavic and East European journal*. 1991, V. 35. 1.
- Comtet 1994 – *R. Comtet*. L'impératif hypothétique en russe: un cas de synonymie syntaxique // *Revue des études slaves*. 1994. V. 66. № 3.
- Darden – *B.J. Darden*. Balto-Slavic factitive-iteratives // [humanities.uchicago.edu / depts / slavic / papers / Darden-Balto-Slavic-Fact-Iter.pdf](http://humanities.uchicago.edu/depts/slavic/papers/Darden-Balto-Slavic-Fact-Iter.pdf)
- Davies 1986 – *E. Davies*. The English imperative. London et al., 1986.
- Donhauser 1986 – *K. Donhauser*. Der Imperativ im Deutschen. Hamburg, 1986.
- Ebeling 1956 – *C.L. Ebeling*. On the verbal predicate in Russian // M. Halle (ed.). For Roman Jakobson: Essays on the occasion of his sixtieth birthday. The Hague, 1956.
- Fortuin 2000 – *E. Fortuin*. Polysemy or monosemy: Interpretation of the imperative and dative-infinitive construction in Russian. ILLC Dissertation series. 2000.
- Fortuin 2005 – *E. Fortuin*. From possibility to necessity: the semantic spectrum of the dative-infinitive construction in Russian // B. Hansen, P. Karlík (eds.). Modality in Slavonic languages. New perspectives. München, 2005.
- Fortuin, Boogaart (in prep.) – *E. Fortuin, R. Boogaart*. From directive to conditional (in prep.).
- Garde 1963 – *P. Garde*. L'emploi du conditionnel et de la particule *by* en russe. Aix-en-Provence, 1963.
- Gronas 2006 – *M. Gronas*. The origin of the Russian historical imperative // *RLing*. 2006. V. 30. № 1.
- Hacking 1997 – *J.F. Hacking*. Coding the hypothetical. A comparative typology of Russian and Macedonian conditionals. Amsterdam, 1997.
- Haspelmath, König 1998 – *M. Haspelmath, E. König*. Concessive conditionals in the languages of Europe // Van der Auwera J. (ed.). Adverbial constructions in the languages of Europe (Eurotyp, 20–3). Berlin: New York, 1998.
- Israeli 2001 – *A. Israeli*. An imperative form in non-imperative constructions in Russian // *Glossos* V. 1 / www.seelrc.org/glossos/issues/1/israeli.pdf
- König 1986 – *E. König*. Conditionals, concessive conditionals and concessives: areas of contrast, overlap and neutralization // E.C. Traugott et al. (eds.). On conditionals. Cambridge et al., 1986.
- Kor-Chahine 2006 – *I. Kor-Chahine*. Entre texte et discours: les moyens de mise en relief syntaxique d'un procès en russe // *Chroniques slaves*. 2006. № 2.
- Roni 1994 – *H. Roni*. On the narrative imperative in Negev Arabic and in Russian // *Journal of Semitic studies*. 1994. V. 39. № 2.
- Van der Auwera, Plungian 1998 – *J. van der Auwera, V. Plungian*. On modality's semantic map // *Linguistic typology*. 1998. № 20.
- Veyrenc 1980 – *J. Veyrenc*. Études sur le verbe Russe // Paris, 1980.
- Voitenkova, Kor Chahine 2001 – *I. Voitenkova, Kor Chahine*. ESLI et l'expression de la condition en russe. Thèse de doctorat. Université Aix-Marseille I, 2001.

© 2008 г. Л. А. ГРЕНОБЛЬ

СИНТАКСИС И СОВМЕСТНОЕ ПОСТРОЕНИЕ РЕПЛИКИ В РУССКОМ ДИАЛОГЕ*

В статье рассматривается структура совместных построений в ходе диалога. Совместное построение имеет место в тех случаях, когда один собеседник начинает реплику, а другой собеседник заканчивает ту же самую реплику. Совместно построенные конструкции разделяются на две группы: (1) конструкции, которые некоторым образом расширяют реплику первого собеседника; и (2) конструкции, которые завершают реплику первого собеседника (синтаксически или семантически незаконченную). Предполагается, что говорящие обладают единым синтаксисом, а именно: синтаксическая рамка, начатая первым говорящим, заканчивается другим; координируется информация об отношениях между планированием, порождением и членением диалога; учитывается предсказуемость синтаксических моделей с целью изменения или влияния на поток информации и тему диалога.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа является частью более обширного исследования, посвященного изучению структуры дискурса в русском языке. В течение последнего десятилетия работы в области конверсационного анализа (или анализа бытового диалога) концентрировались на взаимоотношениях дискурса и синтаксиса. В данной работе мы рассматриваем один из аспектов этой проблемы, а именно, вопрос о том, каким образом реплика может быть совместно построена несколькими говорящими. Дискурс – это результат совместных усилий: в итоге его структура и содержание составляются несколькими участниками. Иногда одна реплика конструируется совместно, то есть при участии нескольких говорящих. В этой ситуации первый говорящий начинает реплику, а второй говорящий продолжает. При этом он или завершает реплику, или же только добавляет к ней новое содержание, а завершает ее первый участник диалога. Возможно также, что реплику завершает и третий участник [Земская 1987: 178; Винокур 1959: 268–269; Sacks 1992: 647–655; Helasvuoto 2004; Lerner 1991; 1996; 2004; Ono, Thompson 1995].

Самый факт существования совместных построений позволяет поставить ряд интересных вопросов относительно планирования, порождения и обработки высказывания в дискурсе. Объектом изучения предыдущих исследований преимущественно служил английский язык [Lerner 1991; 1996; 2004], хотя исследования также проводились на материале турецкого, немецкого, финского и японского языков [Hayashi, Mori 1998; Hayashi 2003; Lerner, Takagi 1999; Ono, Yoshida 1996; Helasvuoto 2004; Selting 2000]. В английском языке порядок следования элементов в предикативной единице в большой степени предсказуем: за именной группой в функции подлежащего (чаще всего выраженного местоимением) следует глагольная группа, которая может присоединять к себе другие элементы, например, предложные группы. В этой связи данные русского языка могут

* Автор выражает глубокую благодарность М.Б. Бергельсон, С.И. Гиндину, А.А. Кибрику, Л.В. Лосеву, М.С. Полинской и М. Флайеру, обсуждавшим с ним первоначальные варианты настоящей статьи и высказавшим весьма полезные критические замечания. Я признательна также А.С. Николаеву за тщательный перевод моей работы на русский язык. Все недостатки, сохранившиеся в работе, полностью остаются на совести автора.

быть особенно интересны для этих исследований в силу значительно менее строгого порядка составляющих, при том, что правила словоизменительной морфологии накладывают значительные ограничения на морфологическую форму последующих элементов: например, если глагол предшествует именной группе в функции подлежащего, морфологическая форма глагола определяет морфологическую форму подлежащего. Конечно, играют роль также лексико-семантические и прагматические ограничения, поскольку совместно построенная конструкция должна в итоге соответствовать не только морфосинтаксическим, но и семантическим, а также прагматическим критериям.

Данные нашего исследования были получены путем анализа интервью, прозвучавших в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (эти интервью доступны в записи на сайте <http://www.echo.msk.ru/>). Радиостанция передает интервью в прямом эфире и затем размещает тексты на сайте. Расшифровки не полностью соответствуют реальным диалогам, так как их редактируют с целью облегчить чтение. Тем не менее, если использовать эти тексты совместно с аудиозаписью, они позволяют восстановить картину с достаточной степенью точности. Качество аудиозаписи позволяет сверять звуковые диалоги с текстом, но оно не является достаточно высоким для акустического анализа. Корпус состоит из приблизительно 10 часов записей. В интервью участвуют 2–4 человека, и их роли четко определены: в каждом диалоге присутствует один или два интервьюера и один или двое респондентов. Поскольку речь идет о жанре интервью, параметры дискурса заданы относительно строго. Таким образом, роли говорящего и слушающего определяются параметрами дискурса: грубо говоря, интервьюеры задают вопросы и контролируют тему беседы. В целом их роль сводится к тому, чтобы направлять беседу, и это, как мы увидим, оказывает определенное воздействие на использование совместных построений в интервью. Частота совместных построений сильно различается в разных интервью. В некоторых интервью они сравнительно часто встречаются (6–8 раз в течение получаса), а в других они вообще отсутствуют. Видимо, их употребление зависит не только от структуры и темы разговора, но и от характера собеседников.

КОНВЕРСАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И СОВМЕСТНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ

Теоретическая база настоящей статьи – разговорный анализ, использующий в качестве основной единицы дискурса так называемую «конструкционную единицу реплики» (или КЕР; англ. *turn-constructive unit, TCU*) в определении, впервые данном в работе [Sacks et al. 1974]¹. Для наших целей принципиально, что концепция КЕР была выдвинута, в частности, для того, чтобы проанализировать, каким именно образом происходит мена коммуникативных ролей в дискурсе, а точнее говоря, понять, откуда участникам дискурса известно, когда начинать или прекращать говорить. Этот подход основан на речевом взаимодействии, то есть речепорождении при участии более чем одного говорящего. Одно из ключевых положений этой теории – необходимость совместных усилий обеих сторон (говорящего и слушающего) для успешного завершения реплики, ибо в основе диалога лежит взаимодействие. Эта теория разработана с целью исследования тех приемов, с помощью которых устанавливается порядок ведения разговора и происходит эффективная мена коммуникативных ролей (практически без взаимного наложения). Говорящий владеет системой мены коммуникативных ролей, которая определяет правила, организующие диалог в серию реплик. Каждый говорящий может продолжать реплику, пока не достигнет точки, в которой реплика может быть завершена (так называемая «точка перехода» ТП: TRP: «transition relevance place»). По достижении точки перехода говорящий может продолжать речь, или же коммуникативные роли меняются. (Конечно, разговор также может просто прекратиться.) В качестве

¹ За время, прошедшее с публикации работы [Sacks et al. 1974], определение КЕР претерпело известную модификацию; оно подробно обсуждается в более новых работах [Selting 2000; Ford 2004].

сигнала возможной точки перехода могут выступать просодические факторы, например, финальное мелодическое понижение, пауза, а также семантическая и синтаксическая завершенность.

В целом в ряде работ по дискурсу, выполненных на материале различных языков, было показано, что собеседники достаточно точно чувствуют приближение точки перехода. И говорящий, и адресат заранее чувствуют и планируют конец реплики. Остается неясным, какая именно информация используется для проекции ТП. В качестве кандидатов на роль наиболее существенного для этой проекции сигнала в литературе назывались все те сигналы, которые были перечислены выше (интонация, пауза, семантическая и синтаксическая завершенность). В работе [Ruiter, Mitterer, Enfield 2006] описан эксперимент, целью которого было протестировать эти гипотезы. В этом эксперименте голландский стимульный материал был изменен с тем, чтобы сперва скрыть интонационные контуры, оставив лексическую информацию, а затем, напротив, удалить лексическую информацию, оставив интонацию нетронутой. В результате удалось показать, что удаление мелодического контура не оказало воздействия на точность проекции, но отсутствие лексического содержания значительно повлияло на способность слушающих осуществить проекцию конца реплики. Как показывает наш анализ совместно построенных конструкций, синтаксические правила в большой степени определяют структуру второй части конструкции, но прагматический эффект совместно построенной конструкции заключается именно в добавлении лексико-семантической информации и, тем самым, топика².

При этом следует отметить, что несмотря на то, что синтаксическая структура может расширяться до бесконечности, в определенный момент она достигает точки возможного завершения. Предполагается, что конструкционная единица реплики достигает точки перехода в момент, когда высказывание достигает синтаксической полноты, то есть в контексте дискурса оно может быть интерпретировано как синтаксически полная предикативная единица, с полнозначным или подразумеваемым глаголом. Таким образом, можно считать такие структуры, как ответ на вопрос, эллиптические предикативные единицы и показатели «принятия во внимание», синтаксически полными [Ford, Thompson 1996: 143]. Реплика, хотя и является одной из основных частей диалога, связана и с окружающим лингвистическим материалом, и с экстралингвистическими факторами. Она связана как с окружающим лингвистическим материалом, так и с экстралингвистическими факторами. Сфера действия морфосинтаксических правил распространяется за пределы реплики. Так, в примере (1) использование дательного падежа в третьей строке может быть объяснено лишь исходя из актантной структуры предиката *урок* в заключительной предикативной единице первой КЕР (вторая строка):

(1) «Банкротство ЮКОСа» (27.06.2006; В. Геращенко и А. Венедиктов)

А. В.1 О, это угроза.

В. Г.2 Нет, это урок.

А. В.3 → Кому?

В. Г.4 Всем.

При всей своей несложности этот пример помогает проиллюстрировать несколько ключевых положений. Во-первых, мы видим, что единая морфосинтаксическая структура оказывается «растянутой» на две КЕР, из чего следует, что КЕР неидентична предложению или фразовой категории, поскольку каждое предложение имеет свое собственное морфосинтаксическое оформление. Это не значит, что предложения суще-

² Примерно к таким же выводам пришел Винокур [Винокур 1959: 263] в своей работе о структуре диалога в тексте «Горе от ума»: он отмечал: «реплика может быть не чем иным, как введением в развитие действия известного нового мотива», особенно при появлении на сцене нового лица.

ствуют независимо друг от друга, ведь их устройство диктуется структурой дискурса и коммуникативными категориями. Но это никак не объясняет появление дательного падежа *кому* в примере (1), которое обусловлено только тем, что перед нами дополнение слова *урок* из предыдущей реплики. Этот пример лишний раз показывает, что основой диалога является взаимодействие: каждый из говорящих вносит свой вклад, от которого зависит не только тематическая структура, но и структура всего диалога в целом. Примеры подобного типа подчеркивают, что в диалоге реплики тесно связаны друг с другом и семантически, и синтаксически. Вторая часть зависит от первой, так что соединение этих реплик составляет единое синтаксическое целое [Шведова 1960: 280].

П. Ауэр в статье 2005 года предположил, что общей организующей чертой синтаксиса и дискурсивной структуры является проекция. С одной стороны, синтаксис предоставляет формальные средства для организации проекции – проекция может быть осуществлена на основе владения правилами управления, структурой составляющих, принципом смежности и глагольной сериализацией. С другой стороны, существует проекция дискурсивного взаимодействия, основанная на знании операций и их последовательности. Так, отреагировать на какое-либо высказывание можно различными способами – поставить под вопрос, согласиться или не согласиться и так далее. Более того, система мены коммуникативных ролей, описанная в работе [Sacks et al. 1974], дает собеседникам возможность заранее спланировать завершение КЕР: это становится возможным благодаря тому, что у КЕР есть своя внутренняя структура (синтаксическая, семантическая и просодическая), которая позволяет осуществить проекцию окончания.

Гипотеза Ауэра [Auer 2005] находит поддержку в так называемых совместно построенных конструкциях. По синтаксической структуре их можно подразделить на две группы: (1) конструкции, которые некоторым образом расширяют реплику первого собеседника (в дальнейшем – *расширения*); и (2) конструкции, которые завершают реплику первого собеседника, синтаксически или семантически незаконченную (в дальнейшем – *завершения*) [Опо, Thompson 1996]. Таким образом, подразделение совместно построенных конструкций на два типа зависит от того, завершил ли первый участник диалога свою речь в точке перехода или нет. В обоих случаях вторая часть КЕР находится в синтаксической и семантической зависимости от первой. То есть, как расширения, так и завершения не представляют собой независимых КЕР и не могут рассматриваться отдельно от КЕР, порожденной другим говорящим.

РАСШИРЕНИЯ КАК СОВМЕСТНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ

В случае расширений второй участник речевого акта развивает то, что сказал предыдущий участник диалога, в новую синтаксическую единицу. В этом случае синтаксически независимый материал помещается после точки перехода, то есть после потенциального конца КЕР, согласно определению, данному Шеглоффом [Schegloff 1996 Thompson, Couper-Kuhlen 2005: 495]. Один из способов синтаксического выражения этого феномена как в русском, так и в английском языке – это присоединение предложной группы к синтаксически полной предикативной единице. Часто присоединяются предложные группы времени или места, как *в субботу*, *в Москве*, но бывают другие (2):

(2) «Ищем выход...» (02.11.2005; М. Урнов и Д. Орешкин)

М. У.1 → Я же не про каждого отдельного депутата говорю.

2 → Я говорю про некую риторику, от партии исходящую

Д. О.3 → и про настроение избирателей.

В данном примере второй участник речевого акта (Орешкин) подхватывает синтаксическую структуру, представленную в строчках 1 и 2, и использует ее для того, чтобы дополнить сказанное его собеседником. Первая КЕР является синтаксически полной. Предложенное расширение фактически удлиняет ее и ничего более. Этот феномен можно рассматривать в рамках более общей стратегии перечисления [Jefferson 1990

Lerner 1991: 447]. В данном случае можно считать, что присоединяется часть сочиненной предложной группы, или даже целая фраза, с эллипсисом подлежащего и глагола (т.е. *и вы говорите про настроение избирателей*). В целом это не оказывает значительного влияния на целостный анализ. В любом случае, структура строчки 3 построена на образе предыдущей строчки. Примеры этого типа вновь подтверждают существование рекурсивных правил порождения языковой структуры: благодаря рекурсии второй говорящий оказывается в состоянии присоединять бесконечное количество предложных групп. Этот пример демонстрирует формульную природу совместно построенной конструкции: мы наблюдаем в ней почти что ритмическую структуру, обусловленную повторением предложной группы с использованием одного и того же предлога.

Исследования по совместно построенной конструкции в английском языке показали, что в качестве расширения нередко используются именно предложные группы. Любопытно, что и единственный участник речевого акта может расширить собственное высказывание таким же образом, как можно видеть из примеров номер (3) и (4). Эти примеры содержат то, что Чейф в своей работе 1988 года назвал «afterthoughts». Подобные конструкции встречаются только после завершённой КЕР (как мы бы сказали в терминах конверсационного анализа). В терминологии Чейфа, «afterthoughts» помещаются после интонационной единицы, окончание которой маркируется с помощью «интонации точки», т.е. финального мелодического понижения и, возможно, паузы. Говорящий присоединяет к законченной КЕР новую интонационную единицу, которая содержит дополнительную информацию, непосредственно относящуюся к предыдущей единице. Чейф трактует эту ситуацию следующим образом: сперва говорящий решает закончить предложение и поставить «точку», но затем ему приходит в голову что-то еще, относящееся к данной теме, что, по его мысли, было бы полезно услышать его собеседнику. Чаще всего эта дополнительная информация добавляется в форме предложной группы, как в примерах (3а) и (3б), хотя она может быть выражена и с помощью наречной группы, как в примере (3в):

«Afterthoughts» [Chafe 1988: 6]

(3а) 1 ..well .. it was just obvious I couldn't...I couldn't work.

2 ...uh .. with her in the office

(3б) 1 ..but ... uh ... my father came .. into possession of some papers that his mother had.

2 ...uh .. in German.

(3в) 1 ...it was quite .. striking when we were .. the year we were in Japan.

2 ..three years ago.

Уолкер [Walker 2004] сходным образом использует термин «increments» для описания ситуации, при которой говорящий достигает точки, в которой окончание высказывания возможно синтаксически, прагматически и просодически, но вскоре после этого окончания решает продолжать говорить, результатом чего является продолжение, грамматически зависимое от предшествующей матричной предикативной единицы.

«Increments» [Walker 2004: 147–148]

(4) 1 mmm .hhhh do you know what people have to pay

2 at Legends if they're not a student

3 (0.4)

4 → to get in

В этом примере говорящий порождает высказывание, которое может считаться законченной КЕР, и после паузы в полсекунды добавляет грамматически приемлемое продолжение *to get in*.

До некоторой степени отличный тип расширения мы видим в примере (5):

(5) «Особое мнение» (08.08.2006; Н. Болтянская и Е. Киселев)

- Н. Б. 1 Условия хранения, транспортировки российских культурных ценностей
2 допускают возможность неадекватного с ними обращения.
3 Это сильный эвфемизм, то, что я сказала.
4 → С моей точки зрения, прозвучали прямые обвинения
Е. К. 5 → В адрес?
Н. Б. 6 → В адрес господина Пиотровского и адрес господина Швыдкого.
7 Но так мне показалось.

В примере (5) целью расширения является возможность задать вопрос и получить дополнительную информацию.

ЗАВЕРШЕНИЯ КАК СОВМЕСТНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ

Завершения отличны от расширений. В случае расширений, предшествующий им компонент высказывания представляет собой законченную синтаксическую единицу и законченную КЕР; вторая составляющая «расширяет» или удлиняет первую, добавляя к ней новую информацию и создавая новое, более длинное синтаксическое единство. В случае завершений, первая часть не является синтаксически законченной и не оканчивается в точке перехода, тем самым не являясь синтаксически законченной. Первый компонент позволяет осуществить проекцию второго, а также всей КЕР целиком. Типичные составные КЕР – это предложения с союзными словами *когда–тогда* и *если–то* (*when–then* и *if–then*):

(6) [Lerner 1996: 241]

(6a) Dan 1 when the group reconvenes in two weeks=
Roger 2 → =they're gunna issue straight jackets

(6b) David 1 so if one person said he couldn't invest (.)
Kerry 2 → then I'd have to wait till

В обоих примерах, (6a) и (6b), первая часть реплики позволяет предсказать форму второй части. В обоих случаях вторая часть, обозначенная стрелкой, порождается как продолжение все той же КЕР (и, соответственно, без смены коммуникативных ролей). В примере (6a) между первой и второй частью нет паузы; небольшая пауза наблюдается в примере (6b). Наиболее очевидные случаи проекции такого типа мы находим в условных и целевых придаточных предложениях, как, например, в примерах (7)–(9):

(7) «Спорт-курьер» (16.08.2006; В. Балахничев и А. Родионов)

- В. Б. 1 Ну обычно тренеры планируют меньше для того,
2 чтобы потом =
А. Р. 3 → = отчитаться было.
В. Б. 4 Это старая традиция.

В таких примерах, как (7), первый компонент не только позволяет осуществить проекцию второго, но и накладывает на него известные ограничения³. Наличие совместно построенных конструкций, пересекающих границы реплик, заставляет думать о совмест-

³ Заметим, что этот пример интересен также отсутствием *чем* во второй строчке, хотя носители языка по-разному реагируют на этот пример. Грамматически верная конструкция: *чтобы потом отчитаться было чем*.

ном порождении синтаксических структур: один говорящий начинает структуру, второй ее заканчивает. То же самое явление мы наблюдаем в следующем примере, где интервьюер заканчивает предикативную единицу, от которой его собеседник произнес только союз *лишь бы*:

(8) «Взрослым о взрослых» (09.06.2005; радиослушатель и М. Лабковский)

Р. 1 Нет, не напрягает, лишь бы, я думаю

М. Л. 2 → не было войны. Понятно, спасибо, Эльвира.

В примере (8) завершение используется для того, чтобы закончить реплику, взять нить беседы в свои руки и завершить ее. Использование *бы* в первой строчке сужает круг возможных продолжений и требует условного предложения. Вводное предложение *я думаю* прерывает предикативную единицу, но, несмотря на это, грамматические правила продолжают действовать и после смены говорящих. В этом примере Лабковский использует для построения КЕР не только синтаксис, но и хорошо известное словосочетание⁴.

Пример (9) демонстрирует более развернутое завершение. В этом примере завершение не механизм, позволяющий говорящему завершить беседу, а способ дополнить сказанное собеседником и таким образом завершить КЕР:

(9) «Человек из телевизора» (02 сентября 2006; И. Петровская и К. Ларина)

И.П. 1 Ну, вот, дай Бог, чтобы программа

К.Л. 2 → вернулась

И.П. 3 не реконструировалась до такой степени,

К.Л. 4 → чтобы мы её не узнали,

И.П. 5 чтобы мы её больше не увидели.

Но не все примеры на завершение сходны с этим. В моем корпусе более часты совместно построенные конструкции, в которых первый компонент накладывает меньше ограничений на второй. Проекция остается возможной, но структура второго компонента не до такой степени обусловлена первым, как в примерах (7)–(9).

Дальнейшие примеры иллюстрируют некоторые простейшие завершения, возникающие в тех случаях, когда говорящий пытается подыскать подходящее слово. Так, в примере (10) второй собеседник (Бунтман) вставляет требуемый глагол. Первый участник диалога принимает это предложение и санкционирует его в третьей строчке:

(10) «Разворот» (31.08.2006; Сергей Бунтман, Тина Канделаки и Петр Лансков)

Т. К. 1 по получается, он просто все же:: э-э::

С. Б. 2 продал (.)

Т. К. 3 продал.

Первый участник беседы (Канделаки) сперва растягивает гласный в частице *же* в течение около двух десятых секунды, и затем следует пауза, которую Канделаки заполняет звуком э-э на протяжении восьми десятых секунды. В это время ее собеседник (Бунтман) вставляет во второй строчке диалога то слово, которое она искала (*продал*).

В примерах (11) и (12) первым компонентом является неполная финитная предикативная единица:

(11) «Особое мнение» (08.08.2006; Н. Болтянская и Е. Киселев)

Е. К. 1 Я тоже не уверен в том, что там масштабы жесткого применения

2 силы соответствовали масштабам террористической деятельности

⁴ Здесь имеется в виду известная частушка, основанная на советской песне.

- 3 чеченских сепаратистов. Но, тем не менее (.)
 Н. Б. 4 → достали.
 Е. К. 5 достали. И что касается благоприятных сценариев, понятно, что сейчас
 6 там есть согласованная резолюция Совета Безопасности ООН.

В примере (11) говорящий принимает в качестве завершения предложения слово *достали*, которое его собеседник предлагает в четвертой строчке диалога. Первый участник беседы повторяет это слово перед тем, как продолжить свою мысль. Повторение имеет своей целью принять предложенное завершение. Равным образом, в примере (12) мы видим предикат *шла* в высказывании первого из собеседников (вторая строчка), в то время как подлежащее *война* произносится вторым (третья строчка).

- (12) «Банкротство ЮКОСа» (27.06.2006; В. Геращенко и А. Венедиктов)
 В. Г. 1 И Йосиф сказал – пожалуйста, вот план Маршалла Украине и
 2 Белоруссии, они страны, т. е. республики, где, в основном, шла
 А. В. 3 → война.
 В. Г. 4 война и агрессия. Поскольку, опять же, в ООН, кроме Англии,
 5 вступили Канада и Австралия, хотя они были доминионы и туда-сюда.

Первый из говорящих принимает это подлежащее и дополняет его до *война и агрессия* (четвертая строчка). Что следует из этого примера относительно проекции? Совершенно ясно, что грамматическая форма глагола предсказывает появление подлежащего в женском роде единственного числа. Можно с достаточными основаниями предположить, что первый собеседник (Геращенко) не мог планировать подлежащее *война* хотя бы потому, что он исправляет его на составное подлежащее *война и агрессия*. Также существенно, что глагол *шла* не используется со словом *агрессия*: требуется иной глагол, например, *происходила агрессия* или *имела место агрессия*. Так что совершенно ясно, что он не имел в виду это слово, когда говорил *шла*. Глагол в единственном числе мог бы быть использован в составе более идиоматического выражения, например, *В это время шла война и мировая революция*.

Таким образом, *где шла война* является более удачной КЕР, чем *где шла война и агрессия*. Мы видим два пути анализа этого примера: с одной стороны, можно было бы предположить, что это сочетание становится возможным благодаря значительному разрыву между глаголом во второй строчке и «новым» подлежащим в четвертой, но основная причина, по которой это выражение оказывается приемлемым, состоит в смене говорящих и предложенном подлежащем (*война*). В целом, как показывают недавние исследования, грамматическое согласование нарушается тем легче, чем больше линейное расстояние, отделяющее согласуемые элементы друг от друга. Однако при всем этом, в нашем случае расстояние между подлежащим и глаголом не столь велико, и подобное объяснение, вообще говоря, противоречит гипотезе, выдвигаемой относительно данного типа конструкций, а именно, принципу, согласно которому наличие совместно построенных конструкций является свидетельством взаимодействия в диалоге. Поэтому более вероятным кажется другое объяснение: третья строка является завершением КЕР, которая не была закончена во второй строке диалога, и тем самым конец третьей строчки знаменует собой точку перехода и законченную КЕР. В этом случае четвертая строчка представляет собой расширение этой завершенной КЕР. Хотя подобное расширение не кажется особенно изящным, все же данное объяснение представляется предпочтительным.

В примере (13) мы наблюдаем явно выраженное признание вклада собеседника; представляется, что первый из говорящих исправляет свою КЕР для того, чтобы включить в нее дополнение, сделанное его собеседником:

- (13) «Лукавая цифра» (08.08.2006; А. Гроссман и Т. Самсонова)
 А. Г. 1 И в этих условиях уже нельзя локально рассматривать тот или иной
 2 конфликт. Он является частью, если хотите.

Т. С. 3 → мирового

А. Г. 4 → мирового конфликта

До этого момента все примеры на завершения демонстрировали, как говорящий, начав порождение КЕР, принимает предложенную ему совместно построенную конструкцию (хотя в ряде примеров предложенное завершение модифицируется, например, в примере (12)). Эти наблюдения подчеркивают роль взаимодействия в создании диалога, хотя далеко не всегда предлагаемые конструкции принимаются, как следует из примеров (14)–(16):

(14) «Особое мнение» (08.08.2006; Н. Болтянская и Е. Киселев)

Е. К. 1 Понимаете, на самом деле бардак у нас, я так понимаю, в стране

Н. Б. 2 → не временной

Е. К. 3 такой фактор, который присутствует в разных организациях и боюсь,

4 не хочу никого обидеть, но боюсь, что и в музейном деле тоже.

В данном случае предлагаемое завершение попросту игнорируется, и говорящий продолжает, как если бы второй собеседник (Болтянская) не произнес ни слова. Совместно сконструированная реплика не принимается, и говорящий не делает попытки использовать ее в начатой им КЕР. В других случаях мы видим, что говорящий подтверждает и принимает предлагаемую совместно построенную конструкцию, что влечет за собой ее переформулирование:

(15) «Лукавая цифра» (08.08.2006; М. Майерс и Т. Самсонова)

М. М. 1 Ну, нет, я объясню, почему для меня вопрос в количестве войн.

2 Это как количество вопросов,

3 которые наше современное общество не в состоянии решить

Т. С. 4 → мирным путем.

М. М. 5 дипломатическими средствами доступными.

6 И это кроме всего прочего, т.е. понятно [...]

В этом случае пятая строчка (*дипломатическими средствами доступными*) по сути представляет собой парафразу совместно построенной конструкции, предложенной в четвертой строчке (*мирным путем*), хотя в пятой строчке более определенно указывается, какие именно мирные способы решения проблемы невозможны (то есть, дипломатические).

Иногда для создания совместно построенной конструкции коммуникативные роли меняются несколько раз, например, в следующем диалоге (16):

(16) «Лукавая цифра» (08.08.2006; М. Майерс и Т. Самсонова)

Т. С. 1 И система, в которой есть одна или две военные мощные державы,

2 которые

М. М. 3 → противостояние которых является гарантом

Т. С. 4 гарантом стабильности. Вот как в холодной войне.

Второй компонент завершения иллюстрирует явление, которое Лернер называет *affiliating utterances* [Lerner 2004: 226]. Во второй части, которая не просто находится в непосредственной близости от начальной части, но также, что еще важнее, зависит от нее синтаксически, продолжается ход беседы. Синтаксическая структура КЕР не претерпевает изменений, несмотря намену коммуникативных ролей, которая не получает формального способа выражения.

ВЫВОДЫ

В предложенных материалах представлены различные типы совместно построенных конструкций. Они могут быть разделены на дополнения и завершения. Дополнения, ко-

торых в нашем корпусе немного, в основном представляют собой предложную группу, добавленную к предшествующей КЕР. Это хорошо видно в примере (2) и про настройку избирателей: перед нами достаточно прямолинейное расширение, которое просто продолжает модель, использованную в предыдущем высказывании.

В следующем разделе статьи были рассмотрены завершения, для которых были выделены два типа: сперва мы обратились к составным завершениям, состоящим из двух частей. Первая часть включает в себя условное *бы* или *чтобы*, и эта часть делает возможной достаточно ясную проекцию синтаксической формы второй части. Этот тип завершений проиллюстрирован с помощью примеров (7)–(9). В каждом из этих примеров вводная часть содержит условную рамку, которая позволяет осуществить проекцию, вернее, требует соответствующей формы глагола (инфинитива или причастия на *-л*). Иными словами, вводная часть накладывает четкие морфосинтаксические ограничения на завершение. В этом случае первая часть предвосхищает вторую.

В остальных примерах наблюдаются завершения иного типа: совместно построенной оказывается одиночная, а не составная предикативная единица. Мы видели, что завершения в этом случае порождаются на разных уровнях синтаксической структуры: на границах между составляющими и внутри составляющих. Более того, вводная часть определяет структуру завершающего компонента далеко не столь четко, как в случае условных предложений.

Можно предположить, что структура совместных построений дает информацию об отношениях между планированием, порождением и восприятием. Прежде всего совместные построения указывают на существование некоего эталона, некоторой рамки или конструкции, задействованной в порождении дискурса. К этой рамке имеют доступ все участники дискурса, то есть с того момента, как она задействуется первым собеседником, она может быть расширена или завершена другим. На уровне словаря подобные лексические рамки или конструкции прослеживаются достаточно хорошо, например, конструкции, образованные вокруг понятия 'война' в нескольких примерах, как, например, *шла война* в (12) или *он является частью мирового конфликта* в (13).

Подобные «рамки» по-разному трактуются различными научными направлениями: генеративная грамматика использует правила структуры составляющих; некоторые варианты функциональной грамматики используют предикатные рамки; грамматика конструкций использует конструкции и так далее. Крайняя точка зрения представлена, например, в работе [Thompson, Couper-Kuhlen 2005], согласно которой совместные построения, разбираемые в нашей статье, говорят в пользу динамической природы грамматических правил, т.е. речь идет о концепции «эмергентизма»: «Grammar must be thought of as distributed and emergent, and that its units of analysis are *formats*... which can be thought of as crystallizations of common solutions to communicative problems and interactional tasks» [Thompson, Couper-Kuhlen 2005: 497]. Авторы утверждают, что единицы грамматического анализа (форматы) представляют собой не что иное, как правила взаимодействия, которые совместно вырабатываются собеседниками. Термин «*emergent grammar*» заимствован из статьи П. Хоппера [Hopper 1987], который предположил, что грамматика не является всеохватывающим набором абстрактных принципов и что грамматические формы не образуются по раз и навсегда установленным шаблонам, а являются результатом взаимодействия собеседников на основе их предыдущего опыта столкновения с подобными формами и их оценки данной ситуации. Конечно, и то, и другое у собеседников может не совпадать.

Думается, что использование совместно построенных конструкций говорит об обратном: порождение дискурсивных и синтаксических структур подчиняется строгим правилам, и результат в большой степени предсказуем. Хуже поддается прогнозам семантика точнее, пропозициональное содержание. Представляется возможным, что собеседники используют предсказуемость синтаксических моделей, для того чтобы изменить или повлиять на пропозициональное содержание и тему дискурса. Результаты этого анализа согласуются с гипотезой Левинсона, согласно которой говорящий не конструирует высказывание независимо от своих собеседников, но напротив, принимает во внимание и:

реакцию и сигналы, а затем в ходе беседы строит свою реплику соответственно этим сигналам. По мнению Левинсона, дискурсивные структуры порождаются говорящим в зависимости от речи собеседника [Levinson 2006]. Использование совместно построенных конструкций является важным доводом в пользу взаимодействия в создании диалога: не один, а несколько участников диалога определяют его течение. Существенно, что наличие этих конструкций предполагает, что общая синтаксическая рамка доступна для использования всеми собеседниками. Более того, в ходе порождения реплики говорящий может модифицировать синтаксические структуры или приспособлять их для того, чтобы использовать плоды сотрудничества с другими участниками диалога.

Исследования дискурса на материале разных языков показывают, что собеседники достаточно точно чувствуют приближение точки перехода: как говорящий, так и слушающий в состоянии осуществить проекцию конца реплики. До сих пор остается неясным, какая именно информация используется для проекции точки перехода. В качестве основного сигнала возможной точки перехода назывались все те факторы, которые были перечислены во втором разделе (интонация, пауза, а также семантическая и синтаксическая завершенность). Как показало исследование совместно построенных конструкций, синтаксические правила в большой степени определяют форму второй части такой конструкции и задают для нее синтаксическую «рамку», а прагматический эффект совместно построенной конструкции заключается в возможности добавить или скорректировать лексическую информацию и, соответственно, тему.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Винокур 1959 – Г.О. Винокур. «Горь от ума» как памятник русской художественной речи // Г.О. Винокур. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
- Земская 1987 – Е.А. Земская. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы обучения. М., 1987.
- Шведова 1960 – И.Ю. Шведова. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960.
- Auer 2005 – P. Auer. Projection in interaction and projection in grammar // Text. 25. 2005.
- Ford 2004 – C.E. Ford. Contingency and units in interaction // Discourse studies. VI. 1. 2004.
- Ford, Thompson 1996 – C.E. Ford, S.A. Thompson. Interactional units in conversation: syntactic, intonational, and pragmatic resources for the management of turns // E. Ochs, E. Schegloff, S. Thompson (eds.). Interaction and grammar. Cambridge, 1996.
- Hayashi 2003 – M. Hayashi. Joint utterance construction in Japanese conversation. Amsterdam, 2003.
- Hayashi, Mori 1998 – M. Hayashi, J. Mori. Co-construction in Japanese revisited: we do «finish each other's sentences» // N. Akatsuka, N. Hoji, S. Iwasaki, S. Strauss (eds.). Japanese / Korean linguistics. V. 7. Stanford, 1998.
- Helsavuo 2004 – M.-L. Helsavuo. Shared syntax: the grammar of co-constructions // Journal of pragmatics. 36. 2004.
- Hopper 1987 – P. Hopper. Emergent grammar // Proceedings of the 13-th Annual meeting of the Berkeley Linguistics Society. 13. 1987.
- Jefferson 1990 – G. Jefferson. List construction as a task and interactional resource // G. Psathas (ed.). Interaction competence. Washington, 1990.
- Lerner 1991 – G. Lerner. On the syntax of sentences-in-progress // Language in society. 20. 1991.
- Lerner 1996 – G. Lerner. On the 'semi-permeable' character of grammatical units in conversation: Conditional entry into the turn space of another speaker // E. Ochs, E. Schegloff, S. Thompson (eds.). Interaction and grammar. Cambridge, 1996.
- Lerner 2004 – G. Lerner. Collaborative turn sequences // G.H. Lerner (ed.). Conversation analysis. Studies from the first generation. Amsterdam, 2004.
- Lerner, Takagi 1999 – G. Lerner, Tomoyo Takagi. On the place of linguistic resources in the organization of talk-in-interaction: a co-investigation of English and Japanese grammatical particles // Journal of pragmatics. 31. 1999.
- Levinson 2006 – S. Levinson. Cognition at the heart of human interaction // Discourse studies. VIII. 1. 2006.
- Ono, Thompson 1995 – T. Ono, S.A. Thompson. What can conversation tell us about syntax? // Ph.W. Davis (ed.). Alternative linguistics: Descriptive and theoretical modes. Amsterdam, 1995.

- Ono, Yoshida 1996 – *T. Ono, E. Yoshida*. A study of co-construction in Japanese: we don't «finish each other's sentences» // N. Akatsuka, S. Iwasaki, S. Struass (eds.). *Japanese / Korean linguistics*. V. 5. Stanford, 1996.
- Ruiter, Mitterer, Enfield 2006 – *J.P. de Ruiter, H. Mitterer, N.J. Enfield*. Projecting the end of a speaker's turn: A cognitive cornerstone of conversation // *Language*. 82. 3. 2006.
- Sacks 1992 – *H. Sacks*. *Lectures on conversation* / G. Jefferson (ed.). Oxford, 1992.
- Sacks et al. 1974 – *H. Sacks, E.A. Schegloff, G. Jefferson*. A symplest systematics for the organization of turn-taking for conversation // *Language*. 50. 4. 1974.
- Selting 2000 – *M. Selting*. The construction of units in conversational talk // *Language in society*. 29. 2000.
- Schegloff 1996 – *E.A. Schegloff*. Issues of relevance for discourse analysis: Contingency in action, interaction and co-participation context // E. Hovy, D. Scott (eds.). *Discourse processing: An interdisciplinary perspective*. Heidelberg, 1996.
- Thompson, Couper-Kuhlen 2005 – *S.A. Thompson, E. Couper-Kuhlen*. The clause as a locus of grammar and interaction // *Discourse studies*. 7. 2005.
- Van Valin 2005 – *R. Van Valin*. *Exploring the syntax-semantics interface*. Cambridge, 2005.
- Walker 2004 – *G. Walker*. On some interactional and phonetic properties of increments to turns in talk-in-interaction // E. Couper-Kuhlen, C.E. Ford (eds.). *Sound patterns in interaction*. Amsterdam, 2004.

© 2008 г. Г. И. БЕРЕСТНЕВ

К ФИЛОСОФИИ СЛОВА
(лингвокультурологический аспект)

Постулируя «трансцендентальность» человеческого мышления, автор на большом фактическом материале лингвокультурологического характера исследует сущность символа и метафоры, рассматриваемых в качестве кодов осмысления окружающего мира. В центре внимания автора когнитивные механизмы символических форм культуры. В статье выдвигается мысль о том, что язык «работает» в некоторой средней зоне содержательной шкалы, на одном полюсе которой находятся отдельные семантические признаки, а на другой – глобальные содержания, репрезентируемые лишь символически (они принадлежат коллективному «бессознательному»).

1. КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

В 1918 г. Л. Витгенштейн завершил работу над «Логико-философским трактатом», который был опубликован в 1921 г. В предисловии автор пояснил замысел книги – «провести границу мышления, или, скорее, не мышления, а выражения мысли: ведь для проведения границы мышления мы должны были бы обладать способностью мыслить по обе стороны этой границы (то есть иметь возможность мыслить немислимое)». Философы последующего времени сосредоточились на одной из выделенных Витгенштейном познавательных сфер, приложив колоссальные усилия для того, чтобы еще раз уточнить природу и границы логического знания. Верно ли, что философия лишь определяет «территорию познания», на самом деле ничего не прибавляя к общей «массе» знания человека о мире? В самом ли деле философия «переодевает» мысль, всякий раз по-новому говоря об известном, в силу чего философская проблематика часто оказывается по сути проблематикой языковой?

Однако самого Л. Витгенштейна гораздо больше волновала вторая часть этой проблемы – область содержаний, трансцендентных языку. Ее актуальность для собственно мышления и для человеческого сознания вообще Витгенштейн считал несомненной, поскольку именно она, по его убеждению, составляет глубинное основание всего того, о чем можно сказать. В одной из заметок он писал: «Невыразимое (то, что кажется мне полным загадочности и не поддается выражению), пожалуй, создает фон, на котором обретает свое значение все, что я способен выразить» [Витгенштейн 1994: 427]. По Витгенштейну, эта трансцендентная область, находящаяся за пределами языкового выражения, на самом деле активно заявляет о себе – особенно при осмыслении человеческого фундаментальных категорий бытия. Так, трансцендентны этика и эстетика, математика и логика. И именно предощущение Невыразимого, понимание его тайны движет человеческой мыслью. «Коль скоро сохраняется глагол “быть”, казалось бы, функционирующий подобно глаголам “есть” и “пить”, – писал Витгенштейн, – коль скоро имеются прилагательные “тождественный”, “истинный”, “ложный”, “возможный”, до тех пор, покуда мы говорим о потоке времени и протяженности пространства и т.д. и т.п., люди всегда будут сталкиваться с одними и теми же загадочными трудностями и всматриваться во что-то, что, по-видимому, не может быть устранено никакими разъяснениями» [Витгенштейн 1994: 426].

Таким образом, в «Логико-философском трактате» была впервые строго сформулирована и обоснована как насущная и чрезвычайно важная для философии, лингвистики

и других наук, связанных с человеческим познанием, проблема трансцендентных содержаний, находящихся за пределами языка и языкового мышления. Витгенштейн показал, что именно в этой сфере лежат познавательные истоки жизни, долга, мужества, счастья, судьбы... Объяснить их невозможно – они попросту не могут быть вмещены в человеческое сознание. Но их можно особым образом представить в музыке и поэзии, их можно узнать в идеях религии и философии, в сюжетах мифологии и ритуальных действиях, в формах искусства любого времени, в архитектурных формах. Во всей культурной деятельности человека при взгляде с этих позиций можно увидеть проявление трансцендентного мира. При этом, согласно Витгенштейну, содержания этого мира не открываются человеком по его желанию – они с а м и о б н а р у ж и в а ю т с я. Соответственно и вся сознательная деятельность человека – его жизнь вообще – оказывается содержательным самораскрытием Невыразимого.

Другое научное событие, хронологически даже несколько более раннее, но также связанное с проблемой трансцендентных содержаний, – утверждение в структуре человеческой психики *бессознательного* и начало разработки его теории. Системные изыскания в этой области впервые осуществил З. Фрейд, который свою теорию бессознательного положил в основу терапевтической практики, названной им психоанализом. При этом само *бессознательное* у Фрейда не было той содержательной бездной, которая непосредственно раскрывается в осознанной культурной деятельности отдельного человека и человечества в целом. Всю свою жизнь он придерживался той точки зрения, что это исключительно комплексы вытесненных из сферы сознания в подпороговую область психики личные аффективные переживания, связанные с эротическими влечениями (впоследствии он дополнил их влечением к смерти). Начиная формироваться еще в раннем детстве, такие комплексы оказывают скрытое влияние на всю дальнейшую жизнь человека, окрашивают собой его психические переживания, но порой и ведут его к невротическим или истерическим состояниям. Эти состояния внешне выражаются в *ошибочных действиях* (Fehlleistungen) – таких, как *оговорки* (Versprechen), *ослышки* (Verhören), *очитки* (Verlesen), *запрятывания* (Verlegen), *затеривания* (Verlieren) и т.д. [Фрейд 1989: 13]. Их содержания могут представляться в образах сновидений. Но они могут выражаться и в навязчивых действиях, наиболее важными социальными разновидностями которых являются войны или, наоборот, акты творчества во всевозможных сферах бытия.

Таким образом, *бессознательное* у Фрейда содержательно, но это прежде всего содержание человеческих аффектов. Оно имеет всеобщий характер, но лишь в том смысле, что является неотъемлемой частью психики любой конкретной личности. Оно влияет на культурную жизнь всего общества, но лишь как внутренний стимул к созиданию или разрушению со стороны отдельных его членов. Творчество, по Фрейду, – это проявление невротических или истерических состояний личности. Такими же нездоровыми по своей сути являются религия или философия. И в основе всего видится болезненный эрос.

Сам Фрейд свято верил в исключительную важность и незыблемость теории и практики психоанализа, о чем говорил пафосно, но не без доли справедливости¹. Однако уже его современники понимали, что развиваемая им теория бессознательного нуждается если не в ревизии, то в серьезной доработке.

¹ Он писал: «В течение веков наивное самолюбие человечества вынуждено было претерпеть от науки два великих оскорбления. Первое, когда оно узнало, что наша земля не центр вселенной, а крошечная частичка мировой системы, величину которой едва можно себе представить. Оно связано для нас с именем Коперника, хотя подобное провозглашала уже александрийская наука. Затем второе, когда биологическое исследование уничтожило привилегию сотворения человека, указав ему на происхождение из животного мира и неискоренимость его животной природы. Эта переоценка произошла в наши дни под влиянием Ч. Дарвина, Уоллеса и предшественников не без ожесточеннейшего сопротивления современников. Но третий, самый чувствительный удар по человеческой мании величия было суждено нанести современному психоаналитическому исследованию, которое указало Я, что оно не является даже хозяином в своем доме, а вынуждено довольствоваться жалкими сведениями о том, что происходит в его душевной жизни бессознательно» [Фрейд 1989: 181].

Этот пересмотр теории З. Фрейда осуществил его ближайший ученик К.Г. Юнг, который прежде всего расширил содержательные рамки бессознательного, указав, что они отнюдь не ограничены вытесненными травматическими комплексами сексуального характера или инстинктом к смерти. В самом общем плане он определил бессознательное как «весь тот психический материал, который не достигает пороговой отметки сознания» [Юнг 1994: 179].

Следуя далее в этом направлении, он выдвинул тезис о существовании в человеческом бессознательном особых образных форм, главную черту которых составляет то, что они никогда не были в сознании человека и, следовательно, никогда не были приобретены индивидуально: они обязаны своим бытием исключительно унаследованию. При этом эти формы имеют всеобщий характер: будучи идентичными у всех людей, независимо от языка, на котором они говорят, или их культуры, они составляют универсальное психическое основание жизни всех и каждого. Эти образы Юнг назвал изначальными образами, или архетипами коллективного бессознательного. Кроме того, Юнг сформулировал положение об особой природе содержательности архетипов, которую можно было бы условно охарактеризовать как диффузную. «Изначальные образы, – писал он, – это наиболее древние и наиболее всеобщие формы представления человечества. Они в равной мере представляют собой как чувство, так и мысль; они даже имеют нечто подобное собственной, самостоятельной жизни вроде жизни *частичных душ*, что мы легко можем видеть в тех философских или гностических системах, которые имеют своим источником познания восприятие бессознательного. Представление об ангелах, архангелах, “тронах и господствах” у Павла, архонтах у гностиков, небесной иерархии у Дионисия Ареопагита и т.д. происходит из восприятия относительной самостоятельности архетипов» [Юнг 1994: 106].

Не только в силу бессознательности, но и вследствие этой диффузности архетипы оказываются недоступными для языкового выражения. Тем не менее они, по убеждению Юнга, широко представляются посредством символических образов, которые составляют своеобразный язык бессознательного. «Бессознательные формы всегда получали выражение в защитных и целительных образах и тем самым выносились в лежащее за пределами души космическое пространство» [Юнг 1991: 104].

Таким образом, в теории бессознательного Фрейда и Юнга обозначились, в целом, те же проблемные аспекты, что в философской теории Витгенштейна: трансцендентность бессознательного сознанию человека, его невыразимость и недоступность рациональному мышлению, способность бессознательного открывать себя в конкретном визуальном образе, который в этом случае обретает ранг символа. Вместе с тем были определены и новые аспекты данной проблемы: выявлена область бытия трансцендентных содержаний – психика самого человека, установлена их особая «праобразная» природа, примерно описаны некоторые содержательные единицы трансцендентного мира – архетипы. Но главное – было утверждено отсутствие непреодолимых границ между сознанием и бессознательным, областью языкового мышления и трансцендентной областью Невыразимого.

Следующее важное событие рассматриваемой эпохи, самым непосредственным образом связанное с проблемой трансцендентных содержаний, в целом имело не только научный, но также общекультурный и философский характер. Речь идет об особом оживлении в конце XIX – начале XX века интереса к символу и его репрезентативной природе.

Этот интерес проявился в самых разных культурных аспектах. И прежде всего, областью его проявления было искусство. Основные черты сложившейся в этой сфере доктрины определили три базовых положения. Первое – утверждение существования особого трансцендентного мира, скрытого от человеческого сознания за эмпирически воспринимаемой действительностью, причем этот мир утверждался даже как более реальный и значимый по сравнению с тем, что человек непосредственно воспринимает. Определяющиеся, таким образом, две действительности – реальная и трансцендентная – виделись связанными между собой. Идя вслед за Гартманом, А. Белый в России считал, что область их взаимодействия – человеческое бессознательное. Он писал: «Бессозна-

тельное, по Гартману, лежит глубоко в природе человека. Оно никогда не ошибается. В нем В. Соловьев видит узел между Богом и человеком. В бессознательном мы тоже имеем слияние метафизической воли с миром явлений» [Белый 1994: 245].

Второе общее положение доктрины символизма формулируется следующим образом: основное и единственное средство постижения человеком истинной реальности – символ. В этом символизм сродни религии. Различая два вида символизма – *реалистический* и *идеалистический* – Вяч. Иванов в этом плане отдавал приоритеты первому. Он писал: «Пафос реалистического символизма: через Августиново *transcende te ipsum*, к лозунгу: *a realibus ad meliora*. Его алхимическая загадка, его теургическая попытка религиозного творчества – утверждать, познать, выявить в действительности иную, более действительную действительность. Это – пафос мистического устремления к *Ens realissimum*, эрос божественного» [Иванов 1994: 156].

Согласно третьему положению, священная задача символизма – донести знание об истинной реальности до человечества (точнее, до тех, кто открыт навстречу символу и способен воспринять его). Как писал А. Белый, «в символизме мы имеем первую попытку показать во времени вечное» [Белый 1994: 253]. Понятно поэтому, почему «символизм не мог и не хотел быть “только искусством”» [Иванов 1994: 187]. В нем виделся и способ познания, в основе которого лежит акт интуитивного поэтического прозрения, воплотившегося в образе, и способ развития человеческого сознания («Символ пробуждает музыку души»), он объявлялся даже своеобразной религией будущего («Новое искусство менее искусство. Оно – знамение, предтеча»).

Другой важный культурный аспект, в котором в первой половине XX века проявился интерес к символу, – традиционные культуры и собственно религия как их обязательная идеологическая основа. Понимание того, что религия самым непосредственным образом связана с символической сферой культуры, привело в это время даже к отождествлению той и другой (ср. у Вяч. Иванова: «Религия есть система последовательно развертываемых символов» [Белый 1994: 247]). Однако исследователи занимали во взглядах на этот вопрос и более умеренные позиции. Так, Рене Генон, один из наиболее видных исследователей в этой области, считал, что современная ему европейская цивилизация утратила понимание глубинных основ бытия и в связи с этим до крайности упростила понимание религии [Генон 1997: 29]. «Настало время показать, – подчеркивал он, – что в религии есть нечто помимо сентиментального обожания, нечто помимо моральных предписаний или утешения для тех, чей дух ослаблен страданием; что в ней можно найти “твердую пищу”, о которой говорит апостол Павел в *Послании к евреям*» [Генон 1997: 33]. Этой «твердой пищей», по мнению Генона, являются особые синтетические идеи, находящиеся «выше разума» и вне языкового выражения. Единственным и самой природой данным человеку способом их ментального освоения является символ. «Прежде всего, символика представляется нам особо отвечающей потребностям человеческой природы, которая не является чисто интеллектуальной, но которая для того, чтобы взойти к высшим сферам, нуждается в чувственно осязаемой опоре» [Генон 1997: 35]. Таким образом, символика с этих позиций предстает как кодовая система, посредством которой трансцендентные содержания открываются сознанию человека, «небесные миры» обретают зримую земную плоть.

Эти же концепции, но в более широкой культурной перспективе развивал Мирча Элиаде. В частности, он резко раздвинул рамки культурной области, символы которой подвергались изучению. Это была уже не религия в ее обычном понимании, а все культурное многообразие духовных практик человека, обращенных к «сакральному». В связи с этим обнаружилось отсутствие четких границ между символами, скажем, в мифах и в религиозных системах, в традиционных ритуальных действиях и в средневековом алхимическом «делании». Таким образом, символ воспринимался со строгих научных позиций уже не только как межкультурная, но и вообще как кодовая семиотическая универсалия.

Одновременно М. Элиаде существенно расширил методологическую базу подобных исследований: ввел принцип сопоставительного анализа культовой символики, а также обосновал учет того культурного контекста, в котором она бытовала. Это позволило

ему от конкретных символических форм, репрезентирующих некоторые категории данной культуры, перейти к инвариантным символическим моделям. «Достаточно сказать, – указывал он, – что невозможно понять значение Космического Дерева, не рассмотрев один или несколько его вариантов. Природа этого символизма может быть полностью разгадана лишь тогда, когда рассмотрено значительное количество примеров. Нельзя понять значение даже данного типа Космического Дерева, пока не изучишь важнейшие типы и варианты» [Элиаде 1998: 467].

Исследуя таким путем философское содержание ряда ключевых универсальных образов культуры, М. Элиаде определил и некоторые новые стороны в проблеме символа. Так, он выдвинул положение о том, что традиционный символ по самой своей природе религиозен, поскольку является средством репрезентации идей, выходящих за рамки обыденного (профанного) мышления. В связи с этим наиболее яркой внешней чертой символа выступает особая полисемантичность, а внутренней – особая, уникальная связь с «пределной реальностью» (он способен репрезентировать то, для чего нет иных способов репрезентации). Кроме того, М. Элиаде еще раз указал на связь символов с бессознательным, прямо высказав при этом принципиально новую мысль относительно закономерностей в сфере человеческой когниции: «Если в определенный момент истории религиозный символ мог ясно выразить трансцендентальное значение, то правомерно предположить, что в более раннюю эпоху это значение могло неясно предчувствоваться» [Элиаде 1998: 477].

Таким образом, и в искусстве, и в культурологии, и в истории религий символ еще раз и на новой основе был осмыслен как особый знак трансцендентных содержаний, недоступных иным способам выражения. Обращение человека к символам необходимо с познавательной точки зрения и составляет его «когнитивный инстинкт». В символах человеческое сознание находит ту единственную возможную опору, которая позволяет ему интеллектуально освоить собственный глубинный содержательный потенциал. Формой реализации символа выступает образ или даже реальный предмет. На глубинных уровнях человеческой психики тот и другой связаны с архетипом, имеющим статус некой образной абстракции, а на поверхностно-понятийном – с множеством конкретных образных осуществлений этого архетипа².

Новые перспективы в решении проблемы соотношения языковых и трансцендентных содержаний открыла сформировавшаяся в 80-е годы XX века когнитивная лингвистика, исходно определившая своей задачей исследование языка как средства организации, обработки информации в сознании человека, а также способов передачи и восприятия ее в актах коммуникации. Впоследствии эта установка уточнилась: основным объектом когнитивной лингвистики стали считать скрытые, глубинные механизмы познавательной деятельности человека и принадлежащие глубинным уровням его психики содержательные категории, составляющие предпосылку всей его культурной деятельности.

Согласно одному из основных постулатов когнитивной лингвистики, язык является ближайшим и наиболее адекватным средством постижения познавательной сферы человека. «Язык – лучшее окно в знание, ведь мы все время используем язык, чтобы выразить его...» [Chafe 1987: 109]. Однако он не исчерпывает собой всех тех содержаний, которыми его носители располагают в принципе. Частный характер языковых смыслов по отношению к общему массиву содержаний в психике человека и одновременно отсутствие четких границ между смыслами языка и содержаниями, лежащих за его пределами, ведет к тому, что эти содержания оказываются недоступными языковому выра-

² Все это показывает и то, что мифология и религия по самой своей природе символичны и действительно представляют собой обязательные формы сознания, связывающие «тот» мир и этот, идеальное и материальное, области бессознательного и сознание человека. Функцию мифологии и религии составляет структуризация и рациональное оформление того глобального, большей частью бессознательного, содержательного материала, который выходит за рамки обычной языковой ментальности человека и в этом смысле трансцендентен ей.

жению. В самых простых случаях такого рода мы замечаем, что, по словам У. Чейфа, «существуют мысли, которые очень трудно выразить словами, и при объективации которых мы сталкиваемся со значительными трудностями» [Chafe 1987: 109]. Более же сложные случаи встречи с трансцендентными содержаниями либо ставят языкового субъекта в абсолютный тупик при попытке их языкового выражения, либо оставляют впечатление их нереальности.

Второе важное теоретическое положение современного когнитивизма может быть сформулировано следующим образом: область осознанных языковых содержаний задается областью бессознательного, причем к этим бессознательным доконцептуальным уровням восходят также восприятия, эмоции, процессы познания, моторная деятельность – вся осмысленная целенаправленная жизнь человека. Содержательные структуры доконцептуального уровня сами автономны, но вместе с тем и «всемогуци» в том смысле, что задают собой психологическую модальность восприятия мира человеком и способ его осмысления вообще. «Существующие в концептуальной системе понятия, – писал в этой связи Дж. Лакофф, – могут в дальнейшем в какой-то мере повлиять на то, что мы воспринимаем, однако базовые экспериенциальные структуры свободны от любого такого воздействия понятий. Это звучит мистически, но на самом деле все абсолютно очевидно и чрезвычайно просто, настолько просто, что обычно это не считается достойным упоминания» [Лакофф 1995: 169].

Все это означает, что именно доступ к содержаниям глубинного доконцептуального уровня человеческого сознания открывает прежде всего язык – по сути, он позволяет проникнуть за его собственные пределы. И именно за этими пределами находится область трансцендентных содержаний – содержаний Невыразимого. Здесь, однако, возникает принципиально важный и справедливый вопрос: действительно ли постижение содержаний Невыразимого возможно? Ведь казалось бы, их языковое описание есть процедура, вводящая их в круг языковых знаний. И если о них можно с к а з а т ь, то они уже не принадлежат Невыразимому. На самом деле все обстоит несколько иначе. Язык, языковое выражение и языковое сознание в этих условиях выступают лишь как средства своеобразного «сканирования» трансцендентных содержаний, которые как целые не могут быть ни осмыслены человеком внутренне в обычных языковых условиях, ни представлены внешне. Это лишь метасистема, принципиально отличная от объекта осмысления.

Исходя из всего этого определяются следующие базовые положения, играющие роль основы при исследовании содержаний Невыразимого:

1. Познавательная сфера человека содержательна по самой своей природе и е д и н а в том смысле, что составляет результат всего его познавательного опыта. Не существует нескольких познавательных сфер в человеческой психике.

2. Познавательная сфера объемлет как сознание человека, так и всю область его бессознательного. Бессознательное содержательно. Оно хранит в том числе и познавательный опыт предшествующих поколений³. Бессознательное трансцендентно сознанию че-

³ Ср. опыты С. Грофа, показавшие, что в бессознательном человека содержится память не только о забытых обстоятельствах его предшествующей жизни, но и о перинатальных состояниях и даже о трансперсональных переживаниях, включающих жизненный опыт биологических предков, коллективные и расовые переживания, филогенетические переживания (отождествления себя с млекопитающими, птицами, рептилиями, амфибиями, рыбами, растениями, минералами и т.д.). С другой стороны, человек в своем бессознательном содержит знание о себе как об отдельном органе, ткани, клетке. Более того, существуют трансперсональные феномены, характеризующиеся выходом за пространственные пределы сознания, при котором человек осознает себя как другое лицо, как все живое на планете, как всю планету в целом или даже как всю Вселенную или Космический Разум. Человек может проникнуть в свое бессознательное и отождествить себя с тем или иным архетипом коллективного бессознательного – Матерью, Отцом, Ребенком, Женщиной, Мужчиной, Матерью-Природой, Космическим Человеком и т.д. [Гроф 1994: 176 и далее].

ловека. Это – Невыразимое. Определенной частью своего ума человек всегда пребывает в содержаниях бессознательного – в Невыразимом, – и такие формы общественного сознания, как язык, мифология, религия, искусство, суть наиболее яркие внешние реализации Невыразимого.

3. Содержания Невыразимого как целые недоступны человеческому сознанию и в таком качестве не могут быть представлены средствами языка. Но они могут быть «схвачены» символами, ими репрезентированы, и именно в этом состоит познавательная суть символических форм культуры.

4. Между содержаниями Невыразимого и языковыми содержаниями нет строгих границ. Язык таит в себе «отблески» Невыразимого, и в этом смысле человеческое познание безгранично.

5. Язык являет собой наиболее эффективное средство проникновения в Невыразимое и системного описания его содержаний. В этих условиях он выступает одновременно и источником данных, скрытых в его семантике, и средством метаописания этих данных.

Признание отмеченных положений позволяет сформулировать целый ряд новых фундаментальных вопросов, касающихся глубинной познавательной природы человека, сущности его материальной культурной деятельности, первоначального содержания некоторых форм культуры, в настоящее время оцениваемых лишь эстетически. Но главное – с этих позиций более глубоко и полно раскрывается языковая способность человека, являющаяся и инструментом, и результатом осуществляемого им познания мира. Как и в каких явлениях Невыразимое обнаруживает себя в языке? Какие структуры трансцендентных содержаний Невыразимого могут быть реконструированы с этих позиций? Каковы познавательные механизмы создания символических форм культуры, выражающих глобальные содержания Невыразимого? Какова «грамматика» языка символов? Какую задачу символ решает в традиционных культурах, действительно ли он составляет особый когнитивный инстинкт человека, лежащий в основе всей его культурной деятельности?

Цель данной статьи – прояснить некоторые из поставленных вопросов, обозначить точки проявленности Невыразимого в языке и показать, что слово и язык решают важнейшую познавательную задачу – помещают мысль в более или менее четкие познавательные рамки и тем самым обеспечивают дальнейшее ее обращение во внутренних, собственно ментальных, и внешних, коммуникативных, актах языкового субъекта. И лишь в этом смысле язык представляет собой познавательно закрытую систему (Л. Витгенштейн).

2. ПРЕДМЕТНАЯ МЕТАФОРА КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Понимание языковой метафоры как переноса наименования с одного представления на другое на основе их сходства не выходит за пределы «второй сигнальной системы» – языка. Объектом такого переноса выступает имя, а область-источник и область-цель рассматриваются как принадлежности тому идеальному «промежуточному миру», который существует в сознании каждого человека и который, собственно, определяется как *языковая картина мира*⁴. Отсюда, однако, естественно задаться вопросом: могут ли в качестве средства репрезентации тех или иных частных содержаний выступать не имена

⁴ Концепция некоего «промежуточного мира», очертания которой были намечены еще Гумбольдтом, в настоящее время особенно активно разрабатывается исследователями, работающими в области теории номинации. Основополагающим в этом плане является тезис, согласно которому «означиванию подлежат не столько сами вещи как таковые, сколько мысли об этих вещах» [Кубрякова 2004: 61]. Однако эта концепция значима и для работ, касающихся общей теории языка и особенно отразившихся в языке когнитивных функций человеческого сознания. В последнем случае, несколько смещая акценты, говорят о концепции «спросцированного мира» (см. [Jackendoff 1984: 49–72]).

соответствующих явлений, а сами эти явления или их образные копии? Иными словами, возможно ли в метафоризации выйти за рамки языка и использовать как средство выражения необходимых идей предметы и предметные области?

Имеющиеся факты позволяют не только ответить на эти вопросы положительно, но и утвердить предметные метафоры как универсальное явление человеческой культуры. Есть все основания полагать, что они составляют важнейший культурный код, актуальный для самых разных эпох, традиций и внутрикультурных условий. Более того, создается впечатление, что предметные метафоры первичны по отношению к метафорам языковым, и судя по всему, они складывались как «реальные» разновидности когнитивных метафор, помогающие человеку концептуально осваивать окружающий его мир.

Первый шаг к признанию этого был сделан при исследовании форм письменности, к которым человечество обращалось на протяжении своей истории. В этой области было отмечено одно характерное и весьма важное обстоятельство: исторически первым средством передачи необходимых содержаний в самых разных культурах выступали предметы и их комплексы. В.А. Истрин даже высказал предположение о том, что послания, имеющие предметный характер, являются в культуре абсолютно первоначальными. «Использование различных (во всяком случае естественных, природных) явлений и предметов для передачи и закрепления простейших сообщений, – писал он, – вероятно, предшествовало не только возникновению первоначального письма, но и первобытной живописи. В частности, первые чисто условные знаки, вероятно, появились не в пиктографическом письме, а в этих внеписьменных способах общения» [Истрин 1961: 67].

Второй шаг к признанию предметных метафор как одного из наиболее актуальных кодов культуры составило выявление семантических механизмов, действующих при использовании предметных посланий. Метафора – один из таких механизмов. И. Фридрих, обращаясь к предыстории письма, привел в этой связи целый ряд ярких примеров, в числе которых следующий. Пленный йоруба послал своей жене камень, кусочек древесного угля, перец и несколько сухих зерен кукурузы, завернутых в тряпицу. Тем самым он хотел сказать: «Мое тело затвердело как камень, будущее черно, как уголь, душа горит огнем (как от перца), тело иссохло, как зерно кукурузы, мое платье превратилось в лохмотья». У того же народа йоруба две раковины каури, связанные вместе тыльными сторонами, выражают несогласие или упрек заимодавца нерадивому должнику, и наоборот, соединенные попарно фронтальными сторонами, они означают изъявление добрых чувств [Фридрих 1979: 34–35].

Факты подобного рода И. Фридрих прокомментировал следующим образом: «Предметное письмо обладает одной замечательной особенностью, характерной для всего процесса развития письменности: вещи, сами по себе непосредственно не передаваемые, как, например, лохмотья, заменяются внешними подобными символами: иссохшее тело – камнем и кукурузными зернами, мрачное будущее – кусочками угля и т.д.» [Фридрих 1979: 34].

Подобное явление предметной метафоризации отнюдь не ограничивается рамками предметных посланий дописьменных эпох или же принадлежащих более позднему времени. Практически любая традиционная культура предельно насыщена предметными метафорами, которые во многом определяют собой и семантику соответствующей культурной области, и содержание традиционной культуры в целом.

Рассмотрим в этой связи лишь некоторые примеры.

В традиционном культурном сознании восточных славян печь метафорически – т.е. своими отдельными структурными или функциональными характеристиками – репрезентировала целый комплекс достаточно разнородных идей, однако доминирующими являлись две. В частности, в свадебном и родинном обрядах ее рассматривали как образ рождающего женского лона, а в похоронном – как путь в загробный мир или даже само царство смерти; в обряде «перспекания» ребенка печь представляла собой одновременно и могилу, смерть, и рождающее женское лоно (см. [Топорков 1995в]). Достаточно очевидно, что в одних случаях основанием метафорического понимания печи выступа-

ют такие ее черты, как устье, наличие внутреннего пространства и способность пищи «вызреть» в печи аналогично «вызреванию» ребенка в женском теле. В других случаях основание метафорического понимания печи составляет горящий внутри огонь и дымоход, понимаемые соответственно как пекло «на том свете» и как дорогу в загробный мир⁵.

На северо-востоке России подобной предметной метафорой в свадебном обряде является блин, репрезентирующий собой девственность невесты (и собственно *hymen*), и интерпретация соответствующих обрядовых сюжетов требует учета этой его семантики. Так, после первой брачной ночи молодых кормили блинами и совершали шуточный обряд «блин продолбить». По способу поедания женихом блинов судили о девственности невесты: если она оказалась «нечестной», жених ломал блин, прокусывал у него середину, откладывал взятый блин и больше не ел, дарил теще дырявый блин. В некоторых местах и сама невеста в конце свадьбы печет блины и угощает ими мужа и гостей [Гура 1995: 54].

Метафорической семантики исполнен в народной традиции и мост, который как бы соединяет «тот» и «этот» свет – подобно тому, как он соединяет два берега реки. При этом и сама река могла иметь метафорическое понимание: в мифологическом сознании народа это граница между «своим» и «чужим» мирами, космосом и хаосом. Точно так же – как небесные мосты – осмыслялись радуга и Млечный Путь [Топорков 1995а: 267–268].

Метафорическую семантику у славян имели и такие предметы домашней утвари как пест и ступа: первый представлял собой на образном уровне мужское эротическое начало (и собственно *penis*), посредством второй метафорически репрезентировалось женское эротическое начало (*vulva*) [Топорков 1995б; 1995г]. Эта семантика песта и ступы активно обыгрывается в обрядовых действиях и в фольклорных сюжетах. Так, в Минской губернии, когда поезд молодого присажал за невестой, совершался шуточный обряд толчения воды в ступе. В гомельской области известно шуточное, но при этом не без эротического подтекста объяснение, откуда появляются дети: «З неба упаў, / Да у ступу папаў, / А с ступы вылез – / И вот якой вырас» [Топорков 1995г: 369].

Явление предметной метафоризации наблюдается и за пределами славянского культурного арсала. Так, в европейских культурных традициях арфа рассматривалась как средство мистической связи между небом и землей – внешне ее представляли натянутые струны. Вместе с тем арфа понималась и как воплощение идеи напряжения, «свойственного струнам, стремящимся к любви и сверхъестественному миру» [Керлот 1994: 84].

В самых разных культурных традициях пещера рассматривалась как предметное осуществление идеи вмещения, включения или укрытия чего-либо, а в более конкретном плане – как образ «внутреннего пространства», человеческой души и сердца, а также как образ материнского лона. Поэтому войти в пещеру означало умереть, вернуться в дородовое состояние, с чем связан, с одной стороны, обычай погребения в пещерах и склепах, а с другой – проведение в пещерах инициаций: прежде чем возродиться и обрести просветление, нужно вернуться в «мир иной», к исходному прасостоянию [Купер 1995: 245–246].

У индусов корова – священное животное, выражающее общую идею плодovitости, изобилия (отсюда ее ассоциирование с землей), а в Египте – образ неба, всообъемлемости. В Индии четыре ноги Священной Короны представляют четыре касты, структурирующие общество (на их основе организуется и вся социальная жизнь), а в Египте четыре ноги небесной коровы Нут – это четыре стороны света.

В китайском классическом искусстве, для которого характерна подчеркнутая стыдливость, предметная метафорика является важнейшим средством представления эротической сферы и эротических отношений между людьми. Базовыми в этом плане явля-

⁵ Поэтому во время кончины человека, чтобы «пропустить» его душу, открывали заслонку печи, задвижку трубы, а в особо трудных случаях даже разбирали печь [Толстая 1995: 359].

ются природные объекты – прежде всего растения и живые существа, но в качестве области-источника здесь используются и некоторые культурные объекты. Так, ласточкины гнезда, лотос и пион (особенно красный), лютия – это предметные метафоры женских гениталий, лошадь – воплощение женского начала, а баклажан, птица с ее клювом, угорь, стебель растения метафорически представляют мужскую эротическую сферу. На этой основе создавались и более сложные метафорические образы: заяц, особенно держащий пест и толкущий в ступе, метафорически знаменует мужскую сексуальную активность; бабочка или птица на цветке представляют соитие; выражение «хороший стрелок» осознается как эротическая метафора (об этом более подробно см. [Завадская-Байчжи 1993]).

При всем этом предметные метафоры обнаруживают две особенности, которые сближают их с «обычными» языковыми и собственно с поэтическими метафорами. С одной стороны, для них в целом характерна неожиданность, спонтанность того признака, который выбирается как репрезентативный у того или иного предмета. Это обстоятельство, в свою очередь, рождает полисемантизм предметных метафор. Так, например, лотос – широко распространенный на Востоке и в высшей степени насыщенный разными содержаниями культурный объект – может пониматься как метафора духовной эволюции, чистого устремления человека: начиная свой рост из грязи и слизи и прорастая вверх через мутные воды, он раскрывается на солнце и в свете Небес. Стебель лотоса рассматривается как образ «пуповины», связывающей человека с его корнями, или как мировая ось, на которой стоит прекрасный цветок – вершина и венец духа. Его способность оставаться чистым и незапятнанным вопреки тому, что он пребывает в грязи вод, сделала его обычной метафорой нравственной стойкости человека. Согласно же Ямвлиху, лотос – это образ совершенства, поскольку его листья, цветы и плоды образуют круг [Купер 1995: 183–187].

С другой стороны, предметные метафоры отличает культурный параллелизм, независимое обращение в разных культурах к одним и тем же предметам для репрезентации определенных идей. Например, лук (оружие) в разных традициях рассматривается как предметное выражение идеи «напряжения», «силы», которая может варьироваться в частных своих содержаниях. Так, в Греческой мифологии лук и стрелы как атрибут Аполлона означали энергию солнца, а у Эроса представляли любовное напряжение и собственно мужской эротический принцип; в индуизме и буддизме он связывается с мыслью о силе воли; в исламе это сила Божья (одновременно тетива лука, соединяющая его концы, представляет союз Аллаха и Магомета); в христианстве это метафора светской власти [Купер 1995: 190].

Для культур Китая, Индии, Египта, Финикии, Греции, славян и финнов характерно обращение к образу яйца, посредством которого репрезентируется семантика жизненного начала, потенциальности, исходной недифференцированности и одновременно целостности [Купер 1995: 395–397].

Образ креста занимает важное место в культурах Европы и Азии, но как культурный объект он известен также в Австралии, Океании, доколумбовой Америке. И самой своей внешней данностью крест повсеместно выражает идею центра и четырех основных направлений, ведущих из него вовне, а сам центр рассматривается как «место начала», средоточие сакральной силы и потому источник позитивного, космологизирующего влияния [Топоров 1990: 12].

Прочность древесины дуба обусловила рассмотрение этого дерева во многих культурных традициях как метафоры силы, долговечности, мужества, верности, мужского начала. В связи с этим в Древнем Риме дубовый венок считался атрибутом сановного достоинства; в кельтском эпосе дуб посвящен Дагде-творцу и считается священным деревом; скандинавы и германцы считали дуб Древом Жизни; в еврейской традиции дуб – дерево Завета и божественного присутствия; в христианстве – образ Христа как силы, проявляющийся в беде, твердости в вере и добродетели [Купер 1995: 82; Бидерманн 1996: 78].

Подобного рода факты позволяют заключить, что метафора как таковая представляет собой одну из наиболее фундаментальных форм человеческого мышления. А вы-

ход ее за пределы языка и использование в качестве репрезентативного средства реальных (неязыковых) объектов показывает, что как принцип ментальности она лежит за пределами языка. Соответственно метафоры в языке – это лишь частное проявление более общей способности человека к заместительной репрезентации содержаний, при которой в качестве формы реализации мысли используется нечто отличное от нее самой – другая мысль, имя этой мысли, реальный предмет.

Чтобы быть понятым, ученый выбирает такое слово, значение которого способно навести на новое понятие. Можно было бы сказать о метафоре вообще как о принципе ментальности: понимая нечто, человек выбирает такой объект – идеальный или реальный, – который наведет его самого на необходимую мысль, позволит «схватить» ее и сделать собственным понятийным достоянием.

Подобные факты показывают и другое: метафоры в целом, собственно когнитивные метафоры и в особенности метафоры предметные – это результат прорыва содержаний из таинственных и в высшей степени сокровенных глубин человеческого сознания в область окружающей человека реальности и вместе с тем – нить, которая связывает сознание человека и эту реальность. И многие предметы материальной культуры можно понимать как знаки такого прорыва, как опредмеченные выражения скачка человеческой мысли, в котором сама она, вызванная высшей реальностью, к этой же реальности и возвращается.

3. ПРИНЦИП МЕТОНИМИИ В КУЛЬТУРНОМ СОЗНАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Согласно общепринятой точке зрения на метонимию, это «перенос имени с одного класса объектов или единичного объекта на другой класс или отдельный предмет, ассоциируемый с данным по смежности, сопредельности, вовлеченности в одну ситуацию» [Арутюнова 1990: 300].

Рассмотрение метонимии в когнитивном аспекте позволяет говорить, что она в этих условиях представляет собой способ ментального освоения человеком действительности, познавательный механизм, который позволяет человеку переходить в своем сознании от частного к общему, от конкретных явлений окружающей действительности к сущностям или категориям более общего порядка. Но это означает, что языковая метонимия есть лишь частное выражение глобальной когнитивной способности человека, которая, несомненно, должна проявляться и в иных сферах его сознательной деятельности.

В самом деле, метонимическое мышление, при котором одни сущности ментально осваиваются человеком посредством мысли о других сущностях, составляющих пространственное и временное единство с исходными, обнаруживает себя не только в языке, но и в целом ряде иных культурных феноменов.

И прежде всего это предметные послания, в которых метонимия, наряду с метафорой, составляет механизм репрезентации необходимых содержаний: конкретные предметы могут задавать собой такие ассоциативно связываемые с ними абстрактные идеи, как их обычная функция, условие их использования, следствие применения и т.п.

Так, широко известен рассказ Геродота о том, что скифы направили персидскому царю Дарию, пришедшему на них с войной, птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Это послание было истолковано так: «Если вы, персы, не скроетесь в небе, как птицы, или в земле, как мыши, или в воде, как лягушки, то наши стрелы настигнут вас». Североамериканские индейцы в знак объявления войны посылали своим противникам томагавк – его приносил и клал на землю посол, и если томагавк поднимали с земли, это означало, что вызов принимается. У славян знаком дружбы и расположения было поднесение хлеба и соли. В наше время батаки на Суматре вешают на дом врага «огненное письмо», которое представляет собой выжженные на бамбуке письма, содержащие обвинения и угрозы, а кроме того несколько ножей и других орудий убийства. При этом бамбук и оружие обернуты тростом и кокосовым волокном [Фридрих 1979: 34].

Принцип метонимии играет принципиально важную роль в традиционных культурах, в частности, – в первобытной магии. Предметы, каким-либо образом связанные с человеком, рассматриваются в ней как репрезентанты самого человека. И чем теснее эта связь, тем сильнее влияние, оказываемое через вещь на человека⁶.

Наиболее яркий пример, иллюстрирующий это положение, составляет отношение людей в традиционных культурах к некоторым частям человеческого тела. Считается, что от благополучия этих предметов зависит жизнь, здоровье и вообще судьба лиц, которым они принадлежали.

Так, в традиционных представлениях славян отрезанные волосы (также ногти, пот, слюна) воспринимались как особые «двойники» их обладателя. Считалось, что, осуществляя магические операции с этими предметами, можно оказать влияние на того, кому они принадлежат. В связи с этим была выработана целая система запретов, направленных на сохранение этих предметов. Например, волосы, состриженные или выпавшие при расчесывании, запрещалось бросать на пол, поскольку злые люди могут нанести через них порчу на их бывшего обладателя, а если волосы, оставшиеся на полу, выметать или топтать, будет болеть голова, появится ревматизм и т.д. Поэтому их затыкали в щели, зарывали в землю, закапывали на перекрестке, клали под камень, сжигали, бросали в речку. Вместе с тем существовала и «позитивная» магия, связанная с волосами, и она также основывалась на метонимическом принципе. Например, в Сербии женщины клали выпавшие волосы в обувь под пятку, «чтобы волосы были длиной до пят». В Хорватии, чтобы волосы ребенка были длинными, их после первой стрижки прятали в высоко расположенное место – под конек дома или за потолочную балку [Толстой, Усачева 1995].

Таким же было отношение к пуповине ребенка или родовому последу. Согласно традиционным представлениям, например, аборигенов Западной Австралии, человек будет хорошим или плохим пловцом в зависимости от того, бросила мать при рождении его пуповину в воду или нет. Жители Микронезии (Каролинские острова в Тихом океане) подвешивали пуповину ребенка на дерево, если хотели, чтобы он хорошо лазил по деревьям. В Германии повивальная бабка обычно отдавала высушенную пуповину отцу ребенка с наказом бережно хранить ее. Считалось, что пока пуповина находится в целости, живет и здравствует ребенок [Фрэзер 1983: 44–46].

Выразительная иллюстрация действия метонимического принципа в традиционной культуре – вера в связь между раной и предметом, которым эта рана была нанесена. Существовало представление, что, воздействуя тем или иным образом на предмет, можно влиять и на состояние раны. В частности, смазывая оружие, стремились излечить саму рану, которая была нанесена им. Так, крестьяне в Англии, порезавшись косой или садовыми ножницами, старательно вычищали их, а затем смазывали мазью, чтобы избежать нагноения раны. С этой же целью на юге Германии человек, поранивший себя топором, смазывал его лезвие жиром, и по мере того как жир высыхал на топоре, должна была высыхать и излечиваться и рана [Фрэзер 1983: 46–48].

В метонимическом единстве с человеком рассматривалась в различных традиционных культурах и его одежда. Считалось, что все случившееся с ней незримо образом переходит и на того, кому она принадлежит. Например, жители Пруссии, желая наказать вора, могли сечь его одежду – это воздействие должно было незримо перейти на ее хозяина и таким способом наказать его [Фрэзер 1983: 48].

⁶ Дж. Фрэзер специально указывал на эту связь первобытной магии с метонимическим способом мышления. «Если верен наш анализ магической логики, – писал он, – то два ее основных принципа оказываются просто двумя способами злоупотребления связью идей. Гомеопатическая магия основывается на связи идей по сходству; контагиозная магия основывается на связи идей по смежности» [Фрэзер 1983: 19–20]. О том, что магические верования проистекают из ассоциативного мышления, которое «лежит в самом основании человеческого разума», писал и Э. Тайлор [Тайлор 1989: 67].

Метонимический принцип составляет в традиционной культуре и основу восприятия человеком своего имени. Имя рассматривалось как существенная, неотторжимая часть его обладателя, и магические операции с именем фактически означали операции с тем, кто его носит⁷. В качестве примера такого рода можно упомянуть один обычай, существовавший у белорусов. Если не было возможности окрестить ребенка по установленному обряду, крестный сам шел в церковь, где священник «наговаривал» в шапку будущее имя младенца и весь ритуал крещения. Шапку привозили домой, надсвали на ребенка, и после этого он считался окрещенным [Агапкина 1995: 212]. Во-первых, в этом случае метонимическая связь устанавливается между ребенком и самим актом крещения. В нормальных условиях этот акт рассматривается как единство действия и объекта, на который оно направлено, и это единство по сути своей является метонимическим. Во-вторых, акт крещения предполагает установление метонимической связи между ребенком и его именем – в этом, собственно, и состоит цель крещения. Но в том и другом случае принципиальную роль играет предмет-посредник – шапка, которая устанавливает связь между ребенком и обрядом крещения, а таким образом и между ним и данным ему именем.

Подобное рассмотрение метонимий с точки зрения внеязыковой действительности еще раз подтверждает актуальность двух познавательных законов, открытых еще М.М. Покровским. Первый из них формулируется так: *всюду, где условия жизни или внешняя природа связывают предметы и действия с определенным временем, имена, соответствующие этим предметам и действиям, или употребляются в качестве темпоральных имен, или даже переходят в чисто темпоральные слова* [Покровский 1959: 30]. Так, лат. *satio* обозначало 'посев', 'время посева', а затем и 'время вообще'. Аналогичным образом многие народы соотносили время с прилетом или пением птиц – ср. рус. *вставать до петухов* (до пения птиц); рус. диал. *вставать в кочета*; др.-рус. *и яко же быть убо к коурам*; у греков было выражение *πρό χελιδόνων* 'до ласточек' (т.е. «до прилета ласточек», «до наступления весны»). Еще один пример такого рода – отмечаемый у индоевропейцев обычай определять время по небесным светилам и другим видимым на небе знакам. Так, уже в индоевропейском праязыке корень **t'ieṷ(s)* обозначал 'небо' и 'день'; лат. *per caniculam* 'во время пса' (т.е. в то время, когда появляется созвездие Пса); рус. *не есть ничего до звезды* означает 'до первой звезды', а фактически – 'до вечера'; рус. *месяц* 'небесное тело' и 'единица исчисления времени'.

Второй подобный закон, связанный с явлением метонимии, М.М. Покровский сформулировал следующим образом: *представление о предметах или действиях, приуроченных культурно-историческими или естественными условиями к определенному месту, вызывают за собой представление об этом месте; вследствие этого имена, соответствующие этим предметам или действиям, могут употребляться в языке как имена локальные* [Покровский 1959: 31]. Так, рус. *гулянье* обозначает процесс прогулки, но если прогулка происходит на определенном месте, этим словом обозначают и место для гулянья; таковы же слова *выгон* и *ловля* в выражении *Такой-то купец имеет свои ловли на Волге*.

Совершенно очевидно, таким образом, что метонимия, так же как и метафора, – феномен не собственно языковой. При рассмотрении в более широкой, культурной перспективе, она обнаруживает себя как второй общий закон познавательной деятельности человека. Когнитивный механизм метонимии составляет концептуальный «сдвиг», и этим метонимия прямо указывает на наличие в глубинах человеческого сознания более масштабных по отношению к частным концептуальным единицам знаний о мире. А

⁷ «Можно предположить, что имя человека в глазах первобытных людей является его частью только тогда, когда он произносит его сам, в остальных же случаях оно не имеет жизненной связи с его личностью... Первобытные философы скорее всего рассуждали так: если имя вылетает из уст самого человека, он расстается с живой частью самого себя» [Фрэзер 1983: 237].

это, в свою очередь, свидетельствует об особой системности человеческого мышления, его ориентированности на некое содержательное целое и в потенции – о холистичности человеческого сознания во всем его объеме. Но, как можно заметить, эта холистичность лежит уже за пределами языка и логического мышления человека.

4. КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СИМВОЛИЧЕСКИХ ФОРМ КУЛЬТУРЫ

Способность человека мыслить метафорически и метонимически есть проявление общих закономерных условий возникновения символов как особых культурных знаков. Первое и самое главное из них – закон заместительного, знакового мышления человека. Для него символ есть *н е о б х о д и м а я ф о р м а м ы с л и*, и это объясняет и социально-историческую универсальность символических форм, и «естественность» их возникновения в культуре.

Второе условие возникновения символов связано с тем обстоятельством, что они принадлежат образной сфере как самой «сильной» сфере восприятий. В связи с этим символический характер могут иметь предметы или графические структуры. Однако, по закону равнозначности для человека двух сигнальных систем, в роли символов могут выступать и языковые единицы, называющие соответствующие предметы или изображения. Непосредственно обратиться к символическому предмету, представить себе его или произнести его имя для человека, принадлежащего культуре с развитой символикой, – это по сути одно и то же.

Третье общее условие возникновения символических форм культуры составляет то, что они рождаются в когнитивном акте «предметной объективации» идей. В силу этого символ и его содержание оказываются связанными отношениями структурного изоморфизма, и символ иконически представляет структуру соответствующей идеи. Наблюдаемая же часто условность символа есть результат действия субъективного фактора – утраты человеком мотивирующих оснований имеющегося знака.

Все это, однако, не объясняет конкретных когнитивных механизмов возникновения символов. Предстоит установить и сами эти механизмы, и тот язык, посредством которого глубинная образная содержательная структура символов переводится на поверхностный уровень языковых смыслов при их интерпретации, то есть метаязык декодирования символических форм культуры.

В рассмотрении этого языка опорным является положение, согласно которому символы – это реальные объекты или изображения, имеющие вполне конкретные признаковые характеристики, а также слова, называющие соответствующие объекты или изображения. В ритуальной сфере это действия, которые также могут быть осмыслены и описаны на признаковой основе. И свойство иконичности, которым символы обладают в той или иной мере, проявляется на основе этой признаковой сферы.

Обращает на себя внимание и тот факт, что символы интерпретируются человеком не в зависимости от языка, на котором он говорит, а в зависимости от культуры, которой принадлежит и символ, и сам интерпретатор. Иными словами, понимание символа может быть обусловлено не собственно языковыми, а когнитивными факторами.

Таким образом, «ментальный язык» символических форм – это язык частных образных характеристик рассматриваемых объектов или действий. С точки зрения языка эти единицы определяются как семантические компоненты.

Каковы же механизмы символической репрезентации содержаний в культурном сознании человека?

Имеющийся материал показывает, что символы в сфере культуры образуются на основе четырех когнитивных процессов. В их основе лежат фундаментальные принципы деятельности человеческого сознания, проявляющиеся в том числе и в языке. Поэтому эти процессы можно определять и описывать в языковых терминах, которые будут играть роль метаязыка их описания. Они, в частности, таковы:

1. *М е т а ф о р а*. В случаях такого рода предмет, процесс или явление репрезентируют отдельные признаки, отмечаемые в их составе, но этим признакам приписывается

иная, принципиально более высокая значимость. Иными словами, при метафоризации естественная или искусственно созданная образная структура в целом репрезентирует отдельные свои содержательные характеристики.

В принципе это происходит так же, как в когнитивной метафоре, когда некая известная человеку область-источник репрезентирует новую для него концептуальную область – область-цель. Однако при символической репрезентации идей область-источник имеет предельно конкретный характер. Так, например, символический образ *лестницы* метафорически представляет идеи пути, движения, восхождения вверх или, наоборот, нисхождения (последние смыслы также метафорически связываются с мыслью о духовной эволюции и инволюции), диалектического единства континуальности и дискретности в духовном развитии человека. Реальные функциональные характеристики *лестницы* позволяют далее на ее основе мыслить переход от одного плана бытия к другому, прорыв на более высокий онтологический уровень. Введение ее образа в религиозные и мифологические контексты предполагает наличие у нее еще одного свойства – быть средством сообщения между Землей и Небесами, благодаря которому человек восходит к высшим сферам, а божество спускается в мир людей. Символическую значимость в образе лестницы имеют также ее ступени, а в определенных условиях и две ее стороны [Купер 1995: 179–180].

Другой яркий пример подобной метафорической репрезентации идей посредством символа – *курение фимиама*. С точки зрения обонятельных свойств он рассматривается как подобие «неземного благовония святости»⁸. Визуально же восходящий при курении к небу дым может осмысляться как образ пути души на небеса или возносящейся к небесам молитвы (в Откровении Иоанна Богослова двадцать четыре старца имели «золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых» [5:8]) [Бидерманн 1996: 142].

Особый вид подобных символов составляют специально создаваемые человеком культурные объекты, метафорически (т.е. на уровне отдельных признаков) репрезентирующие сложные идейные комплексы. Таковы, например, мандала, буддийская ступа, храм, лабиринт, традиционное жилье и поселение. Посредством этих объектов моделируются основные принципы устройства мироздания и одновременно представляется картограмма «внутреннего пространства» человека.

С метафорической в своей основе репрезентацией содержания связано явление «вторичной символизации». Суть его состоит в том, что некоторая идея задается конкретным автором посредством произвольно взятого им образа, хотя она имеет в культуре и «стандартное», официально признанное символическое выражение. Такого рода «вторичные символы» довольно часто встречаются в литературе и живописи. Так, например, беспорядочные странствия Гумберта Гумберта по Америке в поисках Лолиты в романе В. Набокова «Лолита» метафорически воссоздают образ лабиринта, вследствие чего сами странствия обретают характер символа. Такой же лабиринт – спутанные простыни на постели Куильти; сам Куильти в этих простынях – Минотавр, нравственное чудовище, растляющее девочек, а его убийство Гумбертом Гумбертом – это победа над Минотавром. На более высоком уровне подобия эти образы символизируют уже избавление Гумберта Гумберта от такого же нравственного порока в самом себе [Берестнев 2002а].

Возникает вопрос: что же, собственно говоря, различает в этом случае символ и метафору? Ответ должен быть следующим: **с м ы с л о в а я н а с ы щ е н н о с т ь**. Если метафора предполагает единичность выражаемых концептов, то символ – это всегда концептуальные массивы, элементы которых напряженно взаимодействуют между собой.

⁸ Ср. у Симсона, митрополита Солунского (ум. в 1428 г.), о помазании: *Он [Христос] дает нам благодать мира; а это миро – Сам Он. Ибо сказано: миро изливанное – имя Твое. Он, как Бог Сам Себя помазал, и как человек принял помазание. И нас благодатно помазуя, он дает нам благоуханную и живую силу духа.*

Именно поэтому метафоры впоследствии находят себе место в системе языковых средств выражения смыслов, а символы – складываются в особую знаковую систему (по этому вопросу также см. [Аругюнова 1990а: 202–206]).

Тем не менее сам принцип замещения одних смыслов другими у метафоры и у подобного рода символа оказывается одним и тем же⁹.

2. М е т о н и м и я (с и н е к д о х а). В случаях такого рода предметы, процессы или явления репрезентируют нечто такое, частью чего они являются. Иначе говоря, в этих обстоятельствах имеющийся образ служит средством репрезентации более общего явления, которому он принадлежит. Так, статуя Свободы в Нью-Йорке часто рассматривается как символ этого города и Америки в целом; широко известное высотное здание МГУ на Ленинских горах рассматривается как символ самого университета; серп и молот на гербе СССР некогда метонимически символизировали единство рабочих и крестьян; афинский Акрополь в настоящее время – общепризнанный символ Древней Греции и ее культуры.

Однако знаки подобного рода, внешне конкретные, не обязательно представляют и сущности конкретного порядка. Вполне естественным в этих случаях является переход от конкретного к абстрактному. Так, во многих культурах *книга* рассматривается как символ знания, высокой культуры и высокой религии, представляя то, чему она служит; русская икона может рассматриваться как символ православия, которому она принадлежит; апостол Петр часто изображался с большими ключами, вследствие чего в народе его стали считать «стражем небесных врат» [Бидерманн 1996: 116].

Таким образом, именно символы подобного рода всеобщее представляют в образе индивидуального (ср. [Керлот 1994: 32]). Важно только, чтобы эти образы были достаточно репрезентативны в отношении всеобщего – для этого они должны быть уникальны и составлять с ним неразрывное, сущностное целое.

3. К у л ь т у р н ы е а с с о ц и а ц и и. В этих случаях предмет, процесс или явление репрезентирует некие дополнительные идеи, которые связываются с ними в данной культуре. Иными словами, в этих обстоятельствах некий образ служит средством репрезентации всего комплекса знаний, которые имеются у человека в связи с ним. Например, *корова* во многих архаических традициях – символ плодородия, изобилия и благоденствия, что обусловлено реальными функциями этого животного¹⁰. В античной традиции *роза* рассматривалась как символ побеждающей смерть любви и возрождения, что было связано с существованием мифа о смерти Адониса, возлюбленного Афродиты, из крови которого, по преданию, и произросли первые красные розы [Бидерманн 1996: 224].

Символы такого рода обладают особым свойством. Как отметили В.В. Налимов и Ж.А. Дрогалина, «они могут получать новые значения, не утрачивая старые, несмотря на их, казалось бы, полную несовместимость» [Налимов, Дрогалина 1995: 222]. Яркий образец подобной содержательной динамичности символа составляет *свастика*. Это один из наиболее архаичных графических знаков, употребляемых еще в эпоху верхнего палеолита. Традиционно свастика имела в высшей степени положительную семантику –

⁹ В литературе, посвященной данному вопросу, высказывалось мнение относительно того, что символ неизменно строится на основе метафоры, сложившейся в рамках представлений человека о сакральном (см., например [Маковский 1996: 28; 2002; 2007а]). Как бы то ни было, но символ, независимо от его происхождения, действительно наиболее активно «работает» в культурной сфере, связанной с религией и мифологией, и репрезентирует идеи, характеризующиеся в соответствующих традициях как имеющие высокую степень сакральности. Однако еще на этапе образования метафор с сакральной сферой связывается скорее не область-источник, а область-цель.

¹⁰ Эта стратегия обозначилась и на собственно языковом уровне. По наблюдению Вяч.Вс. Иванова, в «Ригведе», гомеровском эпосе и латинском языке исторически родственное слово «вымя» означает одновременно «изобилие, плодородие» – ср.: др.-инд. *udhar*, греч. (у Гомера) οὐθαρά, лат. *uber* [Иванов 1990: 5].

обозначала благоприятность и счастье, динамичность и бесконечное обновление, в связи с чем часто использовалась в качестве талисмана или защитного знака. Об этом говорит и само название этого символа: др.-инд. *svastika* содержит приставку *sv-* < и.-е. **su-* со значением 'хороший, связанный с благом' (эта же приставка содержится в структурах таких слов, как рус. *здоровье, сдоба, счастье*), корневого аффикса *asti* 'суть' и суффикса *-ka-*, что в целом означает: «благо!» или «да будет благо!» [Топоров 1990: 420; Налимов, Дрогалина 1995: 212; Goldsmith 1976: 95]. Однако использование этого символа нацистами в XX веке в Германии придало ему новое, одиозное содержание, и в настоящее время *свастика* связывается прежде всего с нацизмом. Новое культурное содержание символа практически заслонило собой его традиционную культурную семантику, тем не менее не отменяя ее как таковую.

Подобные процессы когнитивного замещения на основе культурных ассоциаций отчетливо просматриваются в языке, где они определяются как **к о н н о т а ц и и**. Различие в этом случае составляет лишь то, что при символическом замещении в культуре роль знаковой сущности играет непосредственно конкретный объект, в то время как в языке это слово – имя данного объекта.

Можно говорить о двух основных подходах к явлению языковых коннотаций. Одни исследователи определяют их сравнительно узко, с акцентом на оценке. Этой позиции придерживается, в частности, Ю.Д. Апресян, который пишет: «Более точно, коннотациями лексемы мы будем называть **н е с у щ е с т в е н н ы е, н о у с т о й ч и в ы е** признаки выражаемого ею понятия, которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта действительности» [Апресян 1995: 159]. Другие исследователи понимают коннотации несколько более широко, полагая в их основе прежде всего познавательную и культурную составляющие. На этих позициях стоит, например, Е. Бартминьский, который определяет их как совокупности не всегда связанных, но закрепленных в культуре данного общества ассоциаций, которые объединяют в себе логические и эмотивные содержания и которые складываются в некий культурный стереотип [Bartmiński 1980: 13–14].

Как бы то ни было, не вызывает сомнения то обстоятельство, что основу этого явления составляют имеющиеся у носителей языка общие культурные знания о фактах действительности. Коннотации – это прежде всего явление когнитивного порядка, а оценка лишь завершает личное когнитивное освоение человеком окружающего мира. Ведь именно предметно-логические компоненты знания, не обусловленные знанием об элементах действительности как таковых и имеющие скрытый характер, порой лежат в основе языковых метафор, сравнений или процессов морфологического словообразования. Свидетельством того, что коннотации принадлежат прежде всего познавательной сфере и лишь затем – оценочной, служит и их явная культурная обусловленность.

Это положение хорошо иллюстрируют немецкое слово *Ziege* и русское *коза*, описанные А.В. Исаченко. В немецком культурном сознании козе приписываются негативные черты: некрасивость, глухость, любопытство, разборчивость и т.п., что в языке фиксируется такими устойчивыми конструкциями, как *alte Ziege* 'старая коза', *mager wie eine Ziege* 'худая, как коза', *dumme Ziege* 'глупая коза', *neugierig wie eine Ziege* 'любопытная, как коза', *wählerisch wie eine Ziege* 'разборчивая, как коза' и др. Это обстоятельство А.В. Исаченко объяснил тем, что «в Западной Европе коза до недавнего времени была символом негативного (социального) статуса, "коровой бедняков". Поэтому исторически сложилось пренебрежительное отношение к этому животному» [Isačenko 1972: 79]. В русском же традиционном быту с козой связывались иные ассоциации. Она также признавалась «скотиной второго сорта» (ср.: *Овец не стало, и на коз честь напала*). Однако ее наделяли и такими характеристиками, как подвижность, привлекательность, а в отдельных случаях и плодородие [Апресян 1995: 170]. Кроме того, в характере козы усматривалось упрямство (ср.: *Захочет коза – будет у воза*), хитрость (*Не учи козу, сама станет к возу*), игривость (ср.: *коза – игра в побегушки, в горелки*). В целом наблюдается устойчивое уподобление козы юной девушке с соответствующими оценочными параметрами – ср.: *Девки не люди, козы не скотина; Все как козы смотрят* (о девках);

коза – метафорически «резвая девка» [Даль 1996, II: 131]. Все это и определило у русского слова *коза* иные по сравнению с немецким *Ziege* коннотации.

4. Парономазия. Этот способ символизации имеет принципиальное отличие от всех предыдущих. В то время как метафорический, метонимический и ассоциативный пути образования символов связаны собственно с образной сферой и не выходят за ее рамки, данный способ реализуется уже на уровне языкового сознания человека, поскольку лежит в сфере плана выражения языка – формальных (лексических) средств обозначения понятий.

В частности, подобные символы возникают в связи с формальной ассоциативностью слов в сознании носителей языка. Говоря еще более определенно, конкретный образ может стать символическим репрезентантом некой дополнительной идеи на том основании, что имя этого образа созвучно слову, именующему данную идею.

Вследствие того, что механизм подобной символизации реализуется на уровне языкового сознания носителей языка, образующиеся таким путем символы относительно уже не в смысле культурной принадлежности, а в смысле внешних формальных языковых различий. Подобные символы, актуальные для носителей одного языка, оказываются «недействительными» для лиц, говорящих на другом языке. Так, в русской языковой ментальности в силу звуковой близости соответствующих слов *sor* может в определенных условиях символизировать *ссору*¹¹; носителями английского языка *violets* ‘фиалки’ могут осмыслиться как символы насилия *violence*; для носителей немецкого языка *Schrank* ‘шкаф’ может символически представить границу (*Schranke*) или идею ограничения (ср.: *eine Schranke setzen* ‘установить границу’).

Важно отметить, что символы такого рода функционально связаны в культуре с двумя четко очерченными сферами. Прежде всего, это народные приметы и поверья. Имеющиеся в них лексические подобия фактически определяют и их идейный план, в результате чего первая из называемых паронимами сущностей обретает знаковый характер, становится символическим репрезентантом второй сущности. Ср.: *Кто в мае женится, тот будет весь век маяться; Кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пялиться*; в день сорока мучеников (9 марта) вспоминали о сороке и говорили, что она положила уже сорок палочек в гнездо свое; в Смоленских и белорусских губерниях сеяли пшеницу на 10 мая и говорили: *Кто сеет пшеницу на день святого Симона Зилота, у того родится пшеница аки золото*. По этому же принципу соединяются слова *Федул* (18 апреля) и *дуть* (*Пришел Федул – теплый ветер подул*), *Купала* (24 июня) и *купаться*, *Евсей* (7 мая) и *сеять* (*Евсей – овсы отсей*), *Мокий* и *мокрота* (25 мая – *Мокий мокрый*).

Созвучия такого рода могли быть и более условными или скрытыми. Так, на день св. Елены (25 мая) начинали сеять лен, а сам этот день называли «длинные льны»: слова *Елена*, *лен* и *длинный* связывают в этой группе сочетания -лн-/длн-; *Федул* характеризуется порой как *Федул ветреник*: на ассоциативном уровне лексема *ветер* связывается с лексемой *дуть*, которая, собственно, и находится в паронимазийных отношениях со словом *Федул* (ср. также народную прибаутку-обращение к обидевшемуся: *Федул, чего губы надул?*).

Эту черту поверий и примет в русском традиционном сознании отметил еще В.И. Даль. Он писал:

¹¹ В связи с этим дополнительный смысловой нюанс обнаруживает фразеологизм «мести сор из избы»: речь в нем может идти о домашних ссорах, неурядицах. Намек на это имеется и у В.И. Даля, который правило *Из избы сору не выноси, а в уголок копи (а под лавку копи)* комментирует так: «не переноси домашних вестей, не сплетничай». Точно так же могут пониматься слова свекра и свекрови молодой невестке, входящей в дом: *Мети, мети, а сор на улицу не выкидывай*. Еще более показательными в этом отношении видятся слова из свадебной песни: *Шуба ты, шуба, не делай ты шуму: ты, шуба, избу мети, сору на улицу не носи* (Даль 1996, IV: 276).

В Южной Руси ... в особенности замечается игра слов или созвучий, подающих повод к поверью, например, 23-го июня, день Иоанна Предтечи, смешивают с Крестителем и с Куналою языческим и называют день Ивана Купалы; Пантелсймона (27-го июня) называют Палий и боятся в этот день грозы; празднуют 11 мая обновление Царя-града, иначе хлеб выбьет градом; 24 июня, день Бориса и Глеба, называют барыш-день и празднуют его для получения во весь год барышей: если 19 июля, в день Макрины, ясно, то осень будет сухая, а если мокро, то ненастная; 24-го января в день Ксении-полухлебницы или полузимницы, замечают цены на хлеб: если поднялись, будет дорог, если нет, то наоборот [Даль 2003: 591].

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что подобные процессы имеют живой характер. Отмеченные связи между близкими по звучанию словами возникают в сознании носителей языка независимо от эпохи или называемых реалий, что выдает в этих процессах их всеобщую когнитивную природу, универсальность. Данное положение хорошо иллюстрирует следующий пример, также отмеченный В.И. Далем:

Неизвестно откуда зашло к нашим поселянам странное понятие о розах. Они думают, что, когда перестают цвести розы, тогда происходит перемена и в росах. Общее мнение их, что с 1 августа выступают росы хорошие и безвредные, – известно повсюду. Перенесение роз в русскую землю последовало в царствование Алексея Михайловича. Следовательно, это поверье нестарое [Даль 2003: 631].

Вторая сфера, в которой проявляют себя подобные «параномазийные» символы, – сфера научного изучения бессознательного и психоаналитического толкования сновидений. Впервые к этой проблеме в наше время обратился З. Фрейд. Однако сам принцип толкования сновидений на основе лексических созвучий стихийно сложился еще в античности, и Фрейд не скрывал того, что идет по стопам древних авторов. Демонстрируя это, он привел весьма яркий и показательный пример, о котором сообщили Плутарх и Артемидор из Далдиса. Александр Македонский со своим войском осаждал отчаянно защищавшийся город Тир (322 г. до н.э.) и как-то во сне увидел танцующего сатира. Толкователь снов Аристандр, находившийся при войске, объяснил смысл этого образа, разложив слово *сатир* на $\sigma\alpha$ $\tau\acute{\upsilon}\rho\omicron\varsigma$ 'твой Тир', и тем самым пообещал Александру победу над городом. Воодушевленный Александр продолжил осаду и в итоге действительно взял Тир [Фрейд 1989: 150].

Под эту технику Фрейд подвел научные основания, во-первых, окончательно введя в психологическое обращение категории бессознательного, во-вторых, усмотрев за звуковым сходством слов наличие «словесных ассоциаций», которые содержательно принадлежат этому бессознательному. С определившихся позиций он и объяснял «ошибочные действия» (оговорки, описки, очитки и т.п.) и сновидения. «Наша техника состоит в том, – объяснял он, – чтобы благодаря свободным ассоциациям вызвать к этим элементам другие замещающие представления, из которых можно узнать скрытое» [Фрейд 1989: 70]. Конкретизируя это положение, он писал далее: «Из всей большой и сложной психической структуры бессознательных мыслей в явное сновидение проникает лишь частица как их фрагмент или в других случаях как намек на них, как лозунг или сокращение в телеграфном стиле. Толкование должно восстановить целое по этой части или намеку...» [Фрейд 1989: 74]. Одним из таких «намеков» Фрейд и видел звуковое сходство слов. Так, человек видел во сне, что он *извлекает* (*hervorzieht*) знакомую ему даму из-под кровати. По мнению Фрейда, это означало, что он *отдает этой даме предпочтение* (*Vorzug*). Другому человеку снилось, что *его брат застрял в ящике*. Связав *ящик* со *шкафом* (*Schrank*), Фрейд пришел к выводу, что брат в чем-то *ограничивает себя* (*schränkt sich ein*). Еще один пациент Фрейда увидел во сне, что *он поднимается на гору, откуда открывается необыкновенно далекий вид*. Его скрытые мысли объяснило то обстоятельство, что один из его знакомых являлся издателем «Обозрения» (*Rundschau*) [Фрейд 1989: 74–75].

Все это показывает, что подобное знаковое замещение одних идей другими в сознании человека имеет всеобщий и закономерный характер. Оно ассоциативно по своей

природе, но уровень этой ассоциативности иной по сравнению с ассоциативностью культурных представлений. В этом случае связи образуются не непосредственно между содержательными структурами человеческого сознания, а между их именами в языке. И лишь в этой языковой опосредованности одни идеи и образы замещают другие, таким путем создавая символические структуры.

5. СИМВОЛИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС

Как справедливо отметил Х.Э. Керлот, «символы, в какой бы форме они ни появлялись, обычно не бывают изолированными; они появляются группами, порождая символические композиции...» [Керлот 1994: 63]. Это обстоятельство ставит перед нами еще один важный вопрос – о символическом синтаксисе. Необходимо выяснить, по каким законам элементы символической образности соединяются в единое содержательное целое, как из нескольких символических фигур складывается «символический контекст», каковы общие правила интерпретации такого контекста.

К рассмотрению этих вопросов исследователи уже так или иначе обращались. В частности, Рене Генон [Генон 2003: 218], отметив явление смысловой амбивалентности символа, показал, что противоположные содержания в нем легко соединяются, а экспликация этих содержаний зависит от двух условий: установок интерпретатора и от знакового окружения самого данного символа. Более того, в отношении символических форм друг к другу рождаются, по его мнению, новые содержания. Так, две змеи *кадуцея*, симметрично противостоящие друг другу, выражают идею двойственности, взаимодействия противоположностей в человеке; центральный жезл, который эти змеи оплетают, воплощает уравнивающую противоположности середину; крылья, венчающие эту конструкцию и составляющие часть данного символического контекста, передают на образном уровне мысль о духовности, которая царствует над всем этим. Аналогичным образом складываются в единый символический контекст два треугольника в Печати Соломона, причем элементами этого контекста выступают их ориентированность (направленность вершинами вверх и вниз), цвет (черный и белый), характер их связи (переплетенность). В целом Печать Соломона также символизирует единство, но оно имеет отчасти иную идейную направленность. «Двойной треугольник, шестиконечная звезда, Печать Соломона, Могул Давид говорит о том, что “каждая истинная аналогия должна быть употребима обратно”, “что вверху, то и внизу”. Это союз противоположностей, мужского и женского, положительного и отрицательного, причем верхний треугольник белый, а нижний черный, огонь и вода, эволюция и инволюция, взаимопроникновение, все является образом другого, гермафродит, совершенное равновесие взаимодействующих сил, андрогинное проявление божества, человек, всматривающийся в свою собственную природу, двойственные силы творения, синтез всех стихий, при обращенном вверх треугольнике как небесном символе, и обращенном вниз – как символе земном, а вместе – символ человека, как объединяющего эти два мира» [Купер 1995: 333].

Отмеченные моменты в плане содержания символов обнаруживают сами символы как особые *т е к с т ы*. Внешне все происходит так же, как в языке, где отдельные элементы кода также складываются в единое содержательное целое, а содержательная полисемия элементов этого целого снимается либо актуальными в данный момент содержательными интересами интерпретатора (имеющимися у него пресуппозициями), либо взаимодействием содержательных элементов.

Н.Д. Арутюнова считает, что символическое текстообразование протекает в диаметрально противоположном направлении – от целого к частям. «Вследствие общей тенденции к упрощению означаемого, – пишет она, – символическую значимость может получить отдельный признак образа – его цвет, форма, положение в пространстве. Распадение образа на символические элементы дает возможность его прочтения. Образ превращается в “текст”» [Арутюнова 1990б: 24]. Очевидно, однако, что и эта позиция в

итоге не отрицает, а еще более строго утверждает главное: символическое «целое» прочитывается в его составляющих.

Это положение сохраняет свою актуальность и в отношении каким-либо образом сгруппированных символов. «Текстом» в этом случае является группа, а отдельный символ – его элементом. Соответственно содержание «текста» определяется исходя из содержания образующих его символических единиц. Так, *змея в короне* означает коронавание инстинктивных или хтонических сил; *зеленый лев, пожирающий солнце*, у алхимиков – это символический образ растворения золота в кислоте; *роза на кресте* у розенкрейцеров – это выражение идеи «распятого», т.е. соединенного со страданием, сокровенного «сердечного» знания, любви и жертвенности, жизни и смерти в истине.

Вторая черта, сближающая языковые и символические структуры, – их функциональные свойства. Так же как в языке по этому основанию различаются единицы номинативные и предикативные, в символическом коде определяются символы номинативного характера и символы, имеющие свойство предикативности¹². Так, *минотавр* – живущий в лабиринте человек с головой быка – символ номинативный, так как служит средством общей репрезентации идеи низшего, «животного разума» в человеке, а мифологический сюжет, в котором *Тесей убивает минотавра* – символическая структура предикативного характера, поскольку в ней представлена вполне определенная событийность; *камень* как образ идеи прочности, долговечности, надежности, а вместе с тем и идеи центра – символ номинативный, а *работа с камнем* в масонской образности (строительство храмов, «обтесывание» учеников) – символ предикативный.

Следует признать, однако, что предикативность символических структур – явление особое. Оно наблюдается главным образом в ритуальной и мифологической сферах, где событийные планы играют принципиально важную роль. Кроме того, содержания, которые в ритуале и мифе обнаруживают свойство предикативности, оказываются как правило близкими по объему содержаниям поверхностно-понятийного уровня языка. Так, *помазание* символизирует посвящение, которое состоит буквально в излиянии на помазаника божественной благодати [Купер 1995: 255]; *танец* одного лица наглядно представляет принцип «игры» творения, а группы лиц – к тому же и принципа единства [Купер 1995: 502]; *обнажение* во время ритуала означает возврат в райское, первичное состояние [Купер 1995: 213]. Ср. также символическое выражение предикативности в мифологическом тексте: *И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем* (Откровение Иоанна Богослова 10:10).

Для символической же предметности (и связанной с ней образности) типичной является номинативность. Соответственно и символические «тексты», лежащие в предметной сфере, представляют собой структуры, функционально имеющие номинативный характер.

Это обстоятельство можно объяснить, по-видимому, тем, что человек бессознательно понимает: действительность, на обозначение которой подобные символические структуры направлены, разворачивается в иных измерениях и существует по иным законам. Поэтому к ним неприменимы правила синтаксической организации обычного текста. Более того, в них представлена и иная по сравнению с обычной логика. Э. Фромм об этом сказал так: «Язык символов – это тот язык, который позволяет внутренний опыт, ощущения, переживания и мысли выразить в той же мере, что и события внешней реальности. У этого языка другая логика, отличная от той, которой мы поль-

¹² По этому поводу высказывалась и иная точка зрения. Ср.: «Символ, в отличие от метафоры, упрочив свое означаемое, выполняет дейктическую, а не характеризующую функцию. Символы не могут занять позицию предиката. Они указывают на некоторый смысл, но не применяют его для характеристики другого (“постороннего”) объекта. Им не свойственна двусубъектность метафоры» [Арутюнова 1990б: 24].

зуемся в повседневном общении, – логика, в которой главными категориями являются не время и пространство, но интенсивность и ассоциация» [Fromm 1951: 7].

Логичность символов, их содержательная «выстроенность» – это лишь внешние эффекты, результаты понятийной, поверхностно-языковой их интерпретации¹³. На самом же деле они содержательно диффузны и непосредственны в своей доступности человеческому пониманию. И именно в этом смысле они вне любой логики. Точно так же предметные или пиктографические сообщения дискурсивны лишь с точки зрения их языкового толкования; но непосредственно-содержательны с точки зрения их собственной внутренней природы и их восприятия.

Номинативность символов и символических «текстов» имеет и более глубокое следствие. Логические категории субъекта, объекта, предиката теряют в них свою значимость, перестают противопоставляться друг другу. Таким образом, «иная содержательная реальность» открывается человеку в символах как данность, не нуждающаяся в синтаксисе, и глобальное содержание начинает восприниматься в своей тотальности. Но это лишь с точки зрения самого символа: с точки зрения языковой интерпретации символических «текстов» эта картина оказывается иной.

6. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДИАЛОГА С САМИМ СОБОЙ

Человек живет в двух содержательных мирах.

Первый – мир языковой реальности. В более широкой перспективе это мир всей окружающей человека культуры. В этом мире человек оказывается подчиненным и языку, и системе актуальных для него культурных представлений и стереотипов. Можно было бы говорить, что не человек владеет языком и культурой, использует их в своих целях, а язык и культура владеют человеком, определяя собой сферу его содержательного бытия. Э. Сепир писал: «Люди живут не только в материальном мире и не только в мире социальном, как это принято думать: в значительной степени они все находятся и во власти того конкретного языка, который стал средством выражения в обществе» [Сепир 1993: 261].

Этот мир не может быть осмыслен человеком *in toto*, но тем не менее он принадлежит сфере осознанного. И благодаря этой осознанности он может быть «собран» из отдельных фрагментов в целостную картину, которая, однако, всегда рискует оказаться «дефектной» в том смысле, что в нее могут не попасть те или иные фрагменты. Кроме того, мир языковой и культурной реальности как целое является для человеческого сознания абстракцией: сознание не в состоянии постичь реальность целиком и разворачивает ее линейно в тех или иных частях в зависимости от познавательной необходимости. Для человека конкретны лишь отдельные фрагменты этого мира. Наконец, этот мир относителен: любые конкретные культуры и языки представляют собой формы закрепления вполне определенного человеческого опыта, вследствие чего неизбежно оказываются ограниченными с точки зрения других культур и языков.

Второй мир, в котором живет человек, – некая содержательная Запредельность, о которой можно более или менее определенно сказать лишь то, что она *есть*. Условно, только чтобы указать на ее существование, в русскоязычной традиции ее называли *Несказанным*, З. Фрейд называл ее *Оно* (Id), К.Г. Юнг – сферой архетипов коллективного бессознательного, а Л. Витгенштейн использовал наименования *Высшее* (Höheres), *Невысказываемое* (Unausprachliches) или *Мистическое* (das Mystische). Это неопределенное в своих границах пространство бессознательных доконцептуальных содержаний, которое по самой своей природе не может быть описано средствами естественного языка, но которое чрезвычайно активно заявляет о себе в повседневной жизни человека.

¹³ О подобном эффекте см. [Берестнев 1997; 2002б: 167].

Этот мир абсолютен в том смысле, что он един для всех народов и панхроничен, а точнее – существует вне времени.

Все культурное будущее человека таится в Невыразимом, но Невыразимое он содержит в самом себе!

Основным способом репрезентации содержаний Невыразимого служит образ, который в этом случае трактуется как символ. Разумеется, символический способ репрезентации Несказанного также ограничен познавателью. Переводя идеи из области Невыразимого и бессознательного в область осознанного и высказываемого, человек, с одной стороны, разрушает исходное Целое, а с другой – ограничивает соответствующее содержание («о - п р е д е л я е т» его) и тем самым лишает имманентно присущей ему природы. И хотя символический язык уступает естественному языку в точности и определенности выражения содержаний, он один способен представлять исключительно масштабные, эмоционально насыщенные, но главное – заряженные высокими энергиями содержания Несказанного.

Может сложиться впечатление, что в настоящее время появились, наконец, необходимые культурные и познавательные предпосылки для открытия того, чем является символ для культуры и для человеческого сознания. На самом деле исследователи лишь вновь приблизились к знанию, которым люди владели в древности и которое ими было утрачено – в значительной мере в силу объективных законов человеческой ментальности. Сегодня мы готовы вернуть это знание себе, а точнее, г о т о в ы в е р н у т ь с я к э т о м у з н а н и ю.

Так, мы все более отчетливо понимаем, что символ – это спонтанный и самый естественный для человеческой ментальности способ предметного (образного) моделирования в нем самом наполняющих его глубинных содержаний.

Мы понимаем и то, что символ – это способ сознательного освоения смыслов, по сути, находящихся за пределами сознания. Это способ помыслить то, что не уместается в привычные понятийные рамки. Это компактный знак глобального содержания, которое сознанием человека может быть лишь развернуто дискурсивно. Используя новейшие категории науки о языке, можно было бы сказать, что символ – это образный репрезентант целой концептуализированной (или концептуальной) области, имеющей гештальтную природу [Степанов, Проскурин 1997: 14–15; Степанов 1997: 61, 68].

Мы понимаем, что символ – это весть из Невыразимого и что посредством символов Невыразимое само говорит с человеком.

Как формы когнитивного освоения содержаний Невыразимого символы обнаруживают себя в разных условиях. Однако наиболее важную роль они играют в репрезентации самых глубоких переживаний человека, связанных с изменениями его сознания, – творческих, клинических, мистических, религиозных. Так, при всем многообразии различных религиозных или мифологических традиций все они содержат общие мотивы, с когнитивной точки зрения определяющиеся как модели, посредством которых человеческое сознание формулирует для себя свой собственный глубинный содержательный опыт. Подобный характер имеют, например, *яркий свет* и *тьма*, *океан*, *огонь*, *гора* и ее субституты (*башня*, *дерево*, *лестница*), *пещера*, *раскатистый звук* (*гром*), *демоны*, *смерть* и *возрождение*, *странствие*, *вход* и связанный с ним *порог*, *посещение «нижнего» мира*, *посещение «верхнего» мира* и др. Все это элементы особого кода, посредством которого глобальные содержания бессознательного открываются сознанию.

Еще более интересны в этом отношении сюжеты, устойчиво повторяющиеся в различных мифах и религиях. Варьируясь в деталях, они своей инвариантной частью передают д и н а м и к у глубинной содержательной сферы человека. Таковы, например, визионерские странствия субъекта в неких фантастических пространствах, восхождения или, наоборот, нисхождения, нападения враждебных существ, сражение, жестокая смерть и последующее воскресение. Сущностная (и рационально освоенная) семантика таких сюжетов в отношении, например, шаманизма, где они представлены наиболее ярко, может быть определена следующим образом: личность шамана претерпевает пре-

дельно глубокое переструктурирование, связанное с разрушением основополагающих мирозерцательных иллюзий. «Какую бы символическую форму ни принимало шаманское посвящение, его общим знаменателем обычно являются чувство разрушения старого, ощущение идентичности и переживание экстатической связи с природой, с космическим порядком вещей и с творческой энергией Вселенной» [Гроф С., Гроф К. 1996: 152].

Тождество или близость подобных образов в разных, достаточно далеких друг от друга религиях и мифологиях может расцениваться как свидетельство того, что за ними стоят одни и те же содержательные начала. Универсальные символы, скорее всего, являются знаками глубинных когнитивных универсалий. Соответственно и сами мифы и религии с этих позиций предстают как универсальные символические системы, которые репрезентируют открывшиеся человеческому сознанию содержательные константы Невыразимого.

Этот вывод находит выразительные подтверждения в данных других научных дисциплин, в поле зрения которых находится человек как «семантическое существо». Такие данные предоставляют современные исследования психосемантики сознания человека в его пограничных состояниях, в частности, в переживании человеком клинической смерти. Связанный с ним опыт часто характеризуется как «невыразимый», недоступный вербальному описанию. И это естественно, ведь он лежит вне естественного опыта человека и соответственно вне языковой категоризации. Одновременно когнитивное освоение человеком таких переживаний осуществляется в системе образов, в значительной мере характерных для религии и мифа. Например, во многих сообщениях клиническая смерть описывается как достижение некоего «рубежа» или «предела». Такой рубеж может быть чисто абстрактным, но может и символически представляться как водная преграда, седой туман, дверь или врата, изгородь или линия. И все это лишь условные образы, метафоры – когнитивные модели, к которым сознание обращается для освоения одного и того же содержания¹⁴.

Положения, чрезвычайно близкие этим, занимают важное место в исследованиях неординарных состояний сознания, вызванных приемом психоделических средств. Так, С. Гроф в своих работах отметил как принципиальное обстоятельство, что образы переживаний в случаях подобного рода чрезвычайно близки образам традиционных религий. Даже те, кто не был знаком с мистическими и религиозными теориями, в психоделических сеансах переживали встречи с различными божествами, грамотно оперировали такими универсальными символами, как *крест*, *шестиконечная звезда Давида*, *индо-иранская свастика*, *египетский анх*, *цветок лотоса*, *даосский инь-ян*, *лингам Шивы*, *буддийское Колесо сансары*, *Уроборос* (змей, пожирающий свой хвост) и т.п. [Гроф 1994: 221–224].

Экзистенциально-феноменологические исследования клинических нарушений в структуре личности и связанных с ними переживаний не только подтвердили выдвинутое положение о моделирующей функции образных форм в сознании человека, но и позволили увидеть их в новом аспекте. Так, по наблюдению Р. Лэнга, пациент в состоянии психоза проходит путь, аналогичный инициационному символическому пути шамана [Лэнг 1995: 299]; он открывает, что мучающие их демоны – это темные стороны их личности, спроецированные сознанием вовне и оформленные на основе категорий, уже имеющих в языке и культуре [Лэнг 1995: 312]. При этом пациент может отдавать себе отчет, что его видения имеют символический характер и что символические формы, к которым его сознание обращается, – это когнитивные условности. «У меня не было сил переживать это, – рассказывал один из таких пациентов врачу. – Я переживал это в течение пары мгновений, но это напоминало внезапную вспышку света, порыв ветра – вырази как тебе угодно...» [Лэнг 1995: 330 (со ссылкой на К. Ясперса)].

¹⁴ Обзор подходов к этой проблеме дается, например, в работе [Гроф, Хэлифакс 1996].

Внимательный взгляд на произведения литературного художественного творчества также показывает, что обращение авторов к универсальным символам вовсе не является исключительным и не связывается жестко с их эстетическими, творческими или философскими установками. Трудно предположить, например, что И.А. Гончаров сознательно обратился к модели *мандалы*, когда в начале романа описывал кабинет Обломова. В соответствии с алгоритмами организации пространства в мандале, центром его показан сам Илья Ильич; ближайшую к нему зону наиболее благополучной пространственной организации составляет его халат, следующей, несколько менее «космологизированной» зоной выступает диван, и признаки наименьшей организации обнаруживает общее состояние кабинета. Все это Космос Обломова. То же, что находится за его пределами, – Гороховая улица, Петербург и весь мир в целом – оказывается эфемерным, опасным и, по сути, является для Ильи Ильича воплощением Хаоса.

Вряд ли Л.Н. Толстой думал о символической семантике образа *Мирового Древа*, когда писал о духовном обновлении князя Андрея, проезжавшего вблизи старого, но все еще зеленющего дуба.

Можно еще рассуждать о том, насколько осознанно использовала М. Цветаева в одном из своих стихотворений символ *пещеры* как образное подобие собственного женского лона:

Могла бы – взяла бы
В утробу пещеры...¹⁵

Но мало вероятно, чтобы она задумывалась над связью этого образа с идеями перерождения и обновления во всех планах и в соответствии с этим – с мыслью об инициации, которая открывает человеку истинный облик мира и в которой он обретает с этим миром особое, мистическое единство. Тем не менее эти мотивы представлены в стихотворении и непосредственно. То, на что сначала лишь намекается, заявляется и прямо.

Вместе с тем использование автором того или иного символического образа бывает столь убедительным, семантика его настолько органично сочетается с семантикой всего образного ряда произведения, что возникает уверенность: автор сделал это абсолютно осознанно, рассчитывая на понимание со стороны читателя – по крайней мере на его усилия по расшифровке неявно представленных глубинных содержаний. Таково, например, стихотворение А. Белого «Тело стихий»:

В лепестке лазурево-лилейном
Мир чудесен.
Все прекрасно в фейном, вейном, змейном
Мире песен...

Лепесток – это часть мистического цветка, по сути, являющегося поэтической модификацией *Мирового Древа* как модели мира. Автор хотел сказать, что даже одна маленькая деталь этого цветка содержит в себе целый мир – «песенный» и прекрасный. И этот мир прекрасен в каждой из трех структурных частей, выделяемых мифологической традицией: небесной («фейной» – той, в которой живут феи), земной («вейной» – открытой всем ветрам) и хтонической («змейной»).

Все эти и близкие им обстоятельства позволяют наметить еще одно важное положение, касающееся общей природы Невыразимого. Человек, будучи «семантическим» су-

¹⁵ Об осознанности использования этого образа и его символическом характере в данном случае говорят последние строки стихотворения, где подобие женского лона и пещеры подчеркивается специально:

Могла бы – взяла бы
В пещеру – утробы.

ществом, живет в мире смыслов. Имея это в виду, можно говорить, что мир и человек составляют интимнейшее и глубочайшее содержательное единство. Именно поэтому весь мир может открыться человеку изнутри как некий Глобальный Смысл, который может быть когнитивно освоен им лишь в символе. Но какая часть этого Глобального Смысла уже открыла себя человеку, а какая осталась вне его когнитивного освоения? Насколько различаются границы познанных миров в разных языках и в разных культурах? Насколько интенционален Глобальный Смысл сам по себе? (Ср. [Маковский 2007б].)

Относительно всего этого можно строить лишь более или менее правдоподобные гипотезы, принимая позиции религии и мистицизма или отталкиваясь от них.

Вполне же очевидно следующее: *Невыразимое – это таинственный безбрежный океан латентного содержания, в котором находится островок освоенной человеческим сознанием языковой действительности; область сознания – это «эпизод» в содержательном пространстве человеческого бессознательного; начала человеческого сознания лежат за его пределами.*

Какие же новые горизонты обнаруживают в себе язык и культура при рассмотрении их с этих позиций?

Прежде всего, мы гораздо более глубоко проникаем в сущность положения о том, что язык – это основная символическая система, посредством которой человек объективирует собственную мысль о мире. Мы начинаем относиться к языку буквально как к мысли в о плоти. Точно так же мы начинаем понимать и культуру. Показателем этого является, в частности, новое понимание ее как феномена по сути своей семантического. Ср. у Ю.С. Степанова: «К у л ь т у р а – это совокупность концептов и отношений между ними, выражающихся в различных “рядах” (прежде всего в “эволюционных семиотических рядах”, а также в “парадигмах”, “стилях”, “изоглоссах”, “рангах”, “константах” и т.д.)» [Степанов 1997: 38].

Мы понимаем и то, что именно благодаря воплощенности в языке и культуре мысль становится доступной самой себе, и в этой рефлексивности она тклет содержательное пространство сознания. В динамическом же аспекте сознание определяется как некий внутренний «диалог» между исходной «первозданной» мыслью и ее объективированной и тем самым семантически ограниченной копией. Это буквально с о - з н а н и е, «взаимное знание» друг о друге двух содержательных начал в ментальной сфере человека. Изучение функционально-содержательной специфики головного мозга человека позволяет говорить, что в нейрофизиологическом плане этот диалог осуществляется между правым и левым полушариями [Иванов 1978].

В этом диалоге – и благо и вред для человека. С одной стороны, в нем человек становится существом рассудочным. Благодаря ему открываются семантические оппозиции, составляющие основу всего дальнейшего понимания мира человеком. В этом диалоге человек постигает себя как «Я», мир – как нечто внеположенное этому личностному началу и себя-в-мире как единство того и другого. Платон неоднократно называл мышление беззвучным разговором души с самой собой.

С другой стороны, диалог уводит человека от той реальности, которая д е й с т в и т е л ь н о е с т ь. По словам Э. Кассирера, «вместо того, чтобы иметь дело с самими вещами, человек как бы беседует с самим собой» [Кассирер 1990: 96].

Можно ли, исходя из всего этого, утверждать, что вне символа как объективирующего средства для человеческой мысли и собственно вне языка и культуры как символических систем нет сознания? Похоже, что так оно и есть. Однако не следует забывать, что речь в этом случае идет о сознании дискурсивном, основанном на бинарных оппозициях.

Есть и иное сознание, простирающееся за пределы слова и языка. Это сознание Единства, в котором рождается слово, но которое само постигается в благоговейном священном молчании, – о нем Мартин Бубер сказал: «Лишь безмолвие, обращенное к Ты, лишь молчание в с е х языках, безмолвное ожидание в неоформленном, в неразделенном, в доязыковом слове оставляет Ты свободным, пребывает с ним в потаенности там, где Дух не обнаруживает себя, но присутствует» [Бубер 1995: 37].

Положение о двух содержательных мирах, в которых живет человек, позволяет по-новому взглянуть и на развиваемый в настоящее время тезис об «инстинктивности» языка или его врожденном характере. С этих позиций обнаруживается, что возникновение языка или какой-либо иной символической системы – естественное и необходимое событие в жизни любой самоорганизующейся психической системы. Собственно, язык и культурная среда и представляют собой формы этой самоорганизации. Благодаря языку и культуре система объективирует и приводит в упорядоченное состояние собственное содержание, содержание окружающего ее мира и содержательное отношение себя к миру. И если язык инстинктивен, то именно в этом смысле. И в этом же смысле инстинктивна культура.

С отмеченных теоретических позиций просматривается еще одно важное свойство языка, остающееся вне поля зрения исследователей при рассмотрении его вне отношения к Невыразимому. Как символическая система, он «работает» в некой средней зоне идеальной содержательной шкалы, на одном полюсе которой находятся отдельные семантические признаки (человек их мыслит, но в языке они обычно выражаются лишь в комплексах), а на другом – глобальные содержания, репрезентируемые лишь символически (они принадлежат бессознательному человека). Кроме того, языковой номинации подвергаются некие усредненные, абстрактные содержания, связанные с реальностью опосредованно – через человеческий интеллект. Б.А. Серебренников писал в этой связи: «Не вдаваясь в полемiku по поводу тезиса об обязательном вербальном характере человеческого мышления, мы постараемся обосновать наш основной тезис: опыт создает инвариантный обобщенный образ предмета, который обычно предшествует его наименованию» [Серебренников 1977: 138].

Л. Витгенштейн писал в «Логико-философском трактате» о том, что человек обладает способностью строить языки, позволяющие выразить любой смысл (4.002). Но не благодаря какой-то особой выразительной способности языка. Это возможно потому, что в обычных условиях мысль человека заранее формулируется на основе языковых категорий или даже облечена в языковые формы. Ясно сказать можно лишь о том, что концептуально оформлено в сознании человека и закреплено в языке. Концептуальная неоформленность ведет и к языковым затруднениям.

Все это указывает на то, что мир содержаний, в котором живет человек, в значительной мере условен. Истинная реальность гораздо шире и многообразнее; она может показать человеку свои отблески в символе, но в своей абсолютной полноте открывается лишь в мистическом опыте, чуждом любой знаковости.

Означает ли все это, что язык в настоящее время утрачивает свою значимость как объект фундаментальных теоретических исследований? Разумется, нет. Являясь основной кодовой системой, воплотившей в себе все результаты и механизмы человеческой когниции, язык привлекает к себе внимание уже как «образцовая сфера», в которой эти результаты и механизмы представились наилучшим образом.

В связи с этим можно высказать предположение, например, о том, что явления, присущие языковому сознанию человека, с необходимостью воспроизводятся в его культурном сознании и за его пределами – в предметной культурной сфере, которую человек выстроил вокруг себя для облегчения собственного бытия в этом мире.

И действительно, основные механизмы языка обнаруживают себя как универсальные механизмы человеческой ментальности. Помимо метафоры, метонимии, необходимого означивания, семантического парного противопоставления, можно отметить в этой связи еще один выразительный процесс, обозначившийся также в сфере культуры. Это и с х о д н а я м о т и в и р о в а н н о с т ь всего того, что человек создает в процессе всей своей осмысленной культурной деятельности, и у т р а т а э т о й м о т и в и р о в а н н о с т и со временем, выражающаяся в забвении человеком первоначальной семантики культурных объектов.

Суть подобной «деэтимологизации» такова: высокая содержательность объектов культуры со временем теряется, их религиозная или философская семантика замещается обыденной, глобальные смыслы, представляемые материальными символами, теря-

ются, и они начинают восприниматься лишь в эстетическом плане. В этом, собственно, и состоит общее культурное движение от сакральности к профанности, от большей содержательной насыщенности к меньшей.

Означает ли это, что древние культуры, не пережившие эту семантическую метаморфозу, более содержательны по сравнению, скажем, с современной европейской? Если иметь в виду нерасторжимую целостность научного, философского, религиозного, эстетического, обыденного сознаний в древности, то на этот вопрос следует ответить утвердительно. Впрочем, принятие во внимание иных факторов содержательности культурной парадигмы современности оставляет простор и для полемики по этому вопросу.

Итак, человек, сам того не подозревая, живет в двух содержательных мирах. Но между этими мирами нет непреодолимой границы. По словам Дж. Кэмпбелла, «два мира, божественный и человеческий... на самом деле это один мир. Область, в которой обитают боги, – это забытое нами измерение того мира, который мы знаем». Язык и культура держат своего носителя в плену содержательной заданности, храня от него тайну Трансцендентных Смыслов – Смыслов Невыразимого. Но именно язык способен сделать человека свободным, потому что он же и открывает человеку их тайну. В нем – ключи от врат в Невыразимое.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Агапкина 1995 – Т.А. Агапкина. Имя // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995.
- Апресян 1995 – Ю.Д. Апресян. Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Арутюнова 1990а – Н.Д. Арутюнова. Метафора и дискурс // Теория метафоры. М., 1990.
- Арутюнова 1990б – Н.Д. Арутюнова. Метонимия // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Белый 1994 – А. Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994.
- Берестнев 1997 – Г.И. Берестнев. О «новой реальности» языкознания // ФН. 1997. № 4.
- Берестнев 2002а – Г.И. Берестнев. Соблазн и спасение Гумберта Гумберта. Опыт аналитико-психологического прочтения романа В. Набокова «Лолита» // Russian literature. V. 2002.
- Берестнев 2002б – Г.И. Берестнев. Языковые подходы к проблеме архетипов коллективного бессознательного // Языкознание: взгляд в будущее. Калининград, 2002.
- Бидерманн 1996 – Г. Бидерманн. Энциклопедия символов. М., 1996.
- Бубер 1995 – М. Бубер. Два образа веры. М., 1995.
- Витгенштейн 1994 – Л. Витгенштейн. Философские работы. Ч. I. М., 1994.
- Генон 1997 – Р. Генон. Символы священной науки. М., 1997.
- Генон 2003 – Р. Генон. Избранные сочинения: Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте. М., 2003.
- Гроф 1994 – С. Гроф. Области человеческого бессознательного. М., 1994.
- Гроф С., Гроф К. 1996 – С. Гроф, К. Гроф. Неистовый поиск себя. М., 1996.
- Гроф, Хэлифакс 1996 – С. Гроф, Дж. Хэлифакс. Человек перед лицом смерти. М.; Киев, 1996.
- Гура 1995 – А.В. Гура. Блины // Славянская мифология. М., 1995.
- Даль 1996 – В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1996.
- Даль 2003 – В.И. Даль. Поверья, суеверия и предрассудки русского народа. М., 2003.
- Завадская-Байчжи 1993 – Е.В. Завадская-Байчжи. Сексуальность как особый колорит китайской традиционной живописи // Китайский эрос. М., 1993.
- Иванов 1978 – Вяч.Вс. Иванов. Чет и нечет. М., 1978.
- Иванов 1990 – Вяч.Вс. Иванов. Корова // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1990.
- Иванов 1994 – Вяч. Иванов. Родное и вселенское. М., 1994.
- Истрин 1961 – В.А. Истрин. Развитие письма. М., 1961.
- Кассирер 1990 – Э. Кассирер. Опыт о человеке // Человек. № 3. 1990.
- Керлот 1994 – Х.Э. Керлот. Словарь символов. М., 1994.
- Кубрякова 2004 – Е.С. Кубрякова. Язык и знание. М., 2004.
- Купер 1995 – Дж. Купер. Энциклопедия символов. М., 1995.
- Лакофф 1995 – Дж. Лакофф. Когнитивное моделирование // Язык и интеллект. М., 1995.
- Лэнг 1995 – Р. Лэнг. Расколотое «Я». М.: СПб., 1995.

- Маковский 1996 – *М.М. Маковский*. Язык – миф – культура. Символы жизни и жизнь символов. М., 1996.
- Маковский 2002 – *М.М. Маковский*. Семантика языческих культов // ВЯ. 2002. № 6.
- Маковский 2007а – *М.М. Маковский*. Мифопоэтические этюды // ВЯ. 2007. № 2.
- Маковский 2007б – *М.М. Маковский*. К онтогенезу языковых процессов // Язык как материя смысла. Сб. к 90-летию академика РАН Н.Ю. Шведовой. М., 2007.
- Налимов, Дрогалина 1995 – *В.В. Налимов, Ж.А. Дрогалина*. Реальность нереального. М., 1995.
- Покровский 1959 – *М.М. Покровский*. Избранные работы по языкознанию. М., 1959.
- Сепир 1993 – *Э. Сепир*. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- Серебрянников 1977 – *Б.А. Серебрянников*. Номинация и проблема выбора // Языковая номинация. М., 1977.
- Степанов 1997 – *Ю.С. Степанов*. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997.
- Степанов, Проскурин 1993 – *Ю.С. Степанов, С.Г. Проскурин*. Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные системы в периоды двоеверия. М., 1993.
- Толстая 1995 – *С.М. Толстая*. Смерть // Славянская мифология. М., 1995.
- Толстой, Усачева 1995 – *Н.И. Толстой, В.В. Усачева*. Волосы // Славянская мифология. М., 1995.
- Топорков 1995а – *А.Л. Топорков*. Мост // Славянская мифология. М., 1995.
- Топорков 1995б – *А.Л. Топорков*. Пест // Славянская мифология. М., 1995.
- Топорков 1995в – *А.Л. Топорков*. Печь // Славянская мифология. М., 1995.
- Топорков 1995г – *А.Л. Топорков*. Ступа // Славянская мифология. М., 1995.
- Топоров 1990 – *В.И. Топоров*. Свастика // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1990.
- Фрейд 1989 – *З. Фрейд*. Введение в психоанализ: Лекции. М., 1989.
- Фридрих 1979 – *И. Фридрих*. История письма. М., 1979.
- Фрэзер 1983 – *Дж. Фрэзер*. Золотая ветвь. М., 1983.
- Элиаде 1998 – *М. Элиаде*. Азиатская алхимия. М., 1998.
- Юнг 1991 – *К.Г. Юнг*. Архетип и символ. М., 1991.
- Юнг 1994 – *К.Г. Юнг*. Психология бессознательного. М., 1994.
- Bartmiński 1980 – *J. Bartmiński*. Założenia teoretyczne słownika // Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny. Wrocław, 1980.
- Chafe 1987 – *W.L. Chafe*. Repeated verbalizations as evidence for the organization of knowledge // Preprints of the plenary session papers: XIV International Congress of Linguists. Berlin, 1987.
- Fromm 1951 – *E. Fromm*. The forgotten language. New York, 1951.
- Goldsmith 1976 – *E. Goldsmith*. Ancient pagan symbols. Detroit, 1976.
- Isačenko 1972 – *A.V. Isačenko*. Figurative meaning derivation, and semantic features // The Slavic word. Proceedings of the International Slavistic colloquium at UCLA. 1972.
- Jackendoff 1984 – *R. Jackendoff*. Sense and reference in a psychologically based semantics // Talking minds. Cambridge (Mass.), 1984.

© 2008 г. О. Е. ПЕКЕЛИС

**СЕМАНТИКА ПРИЧИННОСТИ И КОММУНИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА:
ПОТОМУ ЧТО И ПОСКОЛЬКУ**

Изучаются семантико-коммуникативные особенности причинных союзов *потому что* и *поскольку*. Демонстрируется, что данные союзы по-разному отображают логическую структуру причинного отношения: *потому что* – непосредственно, через смысл ‘быть причиной’, *поскольку* – опосредованно, через условно-следственный смысл ‘если... то’. Оба союза последовательно анализируются на основе оппозиций *ассерция/презумпция*, *тема/рема*, *данное/новое*, *известное/неизвестное*. Выявляется, в частности, отличительная особенность *потому что*: информация о причинной связи, выражаемая данным союзом, должна быть неизвестна слушающему с точки зрения говорящего. Предлагаемая трактовка союзов позволяет объяснить позиционные различия между ними (*потому что*, в отличие от *поскольку*, за редким исключением не начинает собой сложного предложения), а также проясняет вопрос о взаимозаменимости союзов.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей статье изучаются семантико-коммуникативные особенности причинных союзов *потому что* и *поскольку* и особенности вводимых ими придаточных.

Исследования в области коммуникативной структуры сложного предложения ведутся, как правило, с точки зрения оппозиций *ассерция/презумпция* (пресуппозиция), *тема/рема* и *данное/новое* (или близкой оппозиции *известное/неизвестное*). Укажем вначале основные результаты, полученные на этом пути применительно к двум рассматриваемым союзам.

В работах [Падучева 1977; Латышева 1989] союз *потому что* изучается в сопоставлении со своим так называемым расчлененным вариантом *потому, что* – с запятой и акцентом на *потому*. Авторы демонстрируют, что расчлененный *потому, что* отличается от нерасчлененного *потому что* тем, что в первом случае главной клаузе соответствует презумпция, а во втором случае – ассерция (ср. *Он уехал, потому что устал* и *Он уехал потому, что устал*, где ‘Он уехал и существует причина того, что он уехал’ – презумпция). В нашей работе расчлененное *потому, что*, однако, не рассматривается.

Наиболее подробный анализ нерасчлененного *потому что*, в сопоставлении с рядом других причинных союзов, в частности, *поскольку*, предлагается в работе [Иорданская 1988]. Автор приходит к следующим основным выводам:

- (a) Союз *потому что* выражает отношение ‘быть причиной’, в то время как союз *поскольку* – отношение ‘логически следовать’. Таким образом, *поскольку* предлагается исключить из числа причинных союзов.
- (b) Придаточное, вводимое *потому что*, является утверждением (ассерцией); придаточное, вводимое *поскольку*, имеет статус «к в а з и п р е с у п п о з и ц и и». Последний термин используется для обозначения промежуточного между ассерцией и пресуппозицией статуса: в отличие от пресуппозиции, истинность квазипресуппозиции неизвестна слушающему, однако соответствующий факт «подается так как если бы слушающий уже принял его истинность». Квазипресуппозиционный статус придаточного, вводимого *поскольку*, демонстрируется на примере: *Поскольку брат не имеет никаких предпочтений, он согласится на первое предло*

жение. Здесь смысл 'брат не имеет никаких предпочтений', по мысли автора, – квазипресуппозиция: истинность соответствующего факта неизвестна слушающему, однако «подается» так, как если бы она была ему известна. Отметим, что предшественники Л.Н. Иорданской – [Падучева 1977; Гладкий 1982; Латышева 1982] – придаточному с союзом *поскольку* приписывали статус презуппозиции.

(с) Признак *данное/новое* для обоих союзов является нерелевантным.

Возвращаясь к семантике союзов (пункт (а) из перечисленных выше), укажем также уже упомянутую работу [Латышева 1982]. Автор предлагает толковать значение союза *поскольку* через условно-следственный предикат 'если... то'. Так, о предложении *Поскольку переводчика нашли, статья напечатана* говорится, что его значение содержит три смысловых компонента: (1) 'если переводчика нашли, то статья напечатана'; (2) 'переводчика нашли'; (3) 'статья напечатана'. При этом смыслы (1) и (2), то есть условно-следственный смысл и смысл, соответствующий придаточному, являются презуппозициями.

Некоторые моменты приведенных трактовок нам представляются спорными. Ниже мы рассмотрим основные такие моменты и предложим собственную их интерпретацию. Кроме того, мы укажем ряд (семантико-коммуникативных) особенностей союзов *потому что* и *поскольку*, ранее не рассматривавшихся.

В отличие от Л.Н. Иорданской, мы полагаем, что *поскольку*, так же как *потому что*, – союз причинный. Семантическое различие между союзами состоит в том, что они по-разному отображают логическую структуру причинного отношения: *потому что* – непосредственно, через смысловой предикат 'быть причиной'; *поскольку* – опосредованно, через условно-следственный предикат 'если... то'. Так, причинное значение конструкции *А, поскольку В* – смысл 'В является причиной А' – образуется как следствие из объединения следующих смыслов: 'А', 'В', 'если В, то А'.

Таким образом, в трактовке семантики *поскольку* мы сближаемся с подходом, предложенным в [Латышева 1982]. Однако не соглашаемся с последней работой в трактовке условно-следственного смысла и смысла, соответствующего придаточному, как презумпций. Первый смысл, как мы надеемся показать, является ассерцией. Вторым смыслом может быть как ассерцией, так и презумпцией, в зависимости от позиции придаточного: препозитивное придаточное презумптивно, постпозитивное – ассертивно.

Повторим, что в работе [Иорданская 1988] статус придаточного, вводимого *поскольку*, предлагается характеризовать как «квазипресуппозиция» – истинность соответствующей информации слушающему неизвестна, но «подается», как если бы она была ему известна. Представляется, однако, что постулирование такого промежуточного статуса не отвечает традиционному пониманию понятия «пресуппозиция», которое квалифицирует пресуппозиционный смысл как истинный согласно знанию говорящего, а не слушающего. Приведем следующее определение пресуппозиции (презумпции): «Презумпция – это фоновое знание Говорящего (background knowledge), не подвергаемое сомнению» [Падучева 1998: 20]. Слушающий должен согласиться с истинностью пресуппозиции, чтобы соответствующее предложение имело для него смысл, однако истинность пресуппозиции не обязательно должна быть ему известна. Иначе говоря, статус того или иного суждения в терминах ассерция/пресуппозиция определяется без учета знания слушающего об истинности этого суждения: «Если истинностное значение презумпции *P* неизвестно слушающему, то слушающий, как правило, принимает истинностное значение *P* за положительное – в силу исходной предпосылки об осмысленности языкового текста, которая лежит в основе взаимопонимания между людьми» ([Падучева 1977: 100], см. также [Bellert 1971]).

Термин «квазипресуппозиция» в предлагаемом понимании скорее сближается с понятием прагматической презумпции – суждения, которое должно быть для слушающего истинно и известно, чтобы предложение, в которое оно входит в качестве смыслового компонента, было для слушающего осмысленным (см. [Падучева 1977:

101], а также [Sellars 1954; Stalnaker 1973]). Однако придаточное, вводимое *поскольку*, прагматической презумпцией не является.

Применительно к *потому что* мы соглашаемся с предлагавшимися трактовками союза в терминах ассерция/пресуппозиция: в сложной конструкции с *потому что* и главному, и придаточному соответствует ассерция [Падучева 1977; Иорданская 1988; Латышева 1989].

Что касается анализа *поскольку* и *потому что* в терминах данное/новое – в [Иорданская 1988], напомним, утверждается нерелевантность данной оппозиции для обоих союзов – по нашему мнению, релевантной является близкая оппозиция *известное/неизвестное*. Особенности союзов в терминах данного противопоставления позволяют объяснить следующие факты: союз *потому что* не может, за редким исключением, выступать в роли темы и начинать собой сложное предложение; напротив, в сложной конструкции с *поскольку* придаточное не ограничено ни позиционно, ни в коммуникативном статусе.

В работе предлагаются толкования союзов, учитывающие их коммуникативную специфику. А именно, главные и придаточные клаузы в составе сложного предложения трактуются как носители коммуникативных функций темы и ремы. В толкованиях выделяются значения тематической и рематической составляющих, по объему равных главной и придаточной клаузам (конкретное соотношение части сложной конструкции и коммуникативного статуса зависит от коммуникативного членения в каждом отдельном случае). Союз *поскольку*, как уже сказано, никак не ограничивает распределение коммуникативных ролей между главным и придаточным, поэтому толкование дается в двух вариантах: (1) придаточное – тема, главное – рема и (2) наоборот. Напротив, придаточное, вводимое *потому что*, как правило, является ремой. Соответственно, толкование дается только для указанного случая.

Термины «тема» и «рема» мы понимаем традиционно. «Рема – это компонент коммуникативной структуры, который конституирует речевой акт сообщения. Тема – не конституирующий компонент сообщения, противопоставленный реме» [Янко 2001: 23].

«План содержания ремы – фрагмент семантического представления ситуации, предназначенный для функционирования в качестве сообщаемого. План выражения ремы – цепочка словоформ с заданным на ней коммуникативным релевантным акцентом определенного типа» [Янко 2001: 24]. В русском языке это понижающий акцент ИК-1, по Е.А. Брызгуновой [Русская грамматика 1980, I: 97–122]. Он обозначается стрелкой вниз после словоформы-акцентоносителя – ↓.

«План содержания темы – фрагмент семантического представления ситуации, предназначенный для функционирования в качестве зачина для совершения речевого акта сообщения» [Янко 2001: 25]. Тема имеет вариативное выражение: прототипическим, но не единственным средством выражения темы служит акцент типа ИК-3, по Е.А. Брызгуновой [Там же], с подъемом на ударном слоге и падением на последующих заударных (обозначается стрелкой вверх после словоформы-акцентоносителя – ↑). Фонетическим вариантом ИК-3, допустимым в беглой речи, служит акцентный подъем типа ИК-6, отличающийся от ИК-3 тем, что при ИК-6 заударные слоги произносятся примерно на том же уровне, который достигается в результате первоначального подъема (обозначается ↗).

Следующие примеры (1) и (2) демонстрируют соответственно акцентную последовательность ИК-3 – ИК-1 (маркирующую коммуникативную структуру «тема-рема») и ее фонетический вариант ИК-6 – ИК-1:

- (1) Недавно ↑ приходил Инполит ↓.
- (2) Недавно ↗ приходил Инполит ↓.

Акценты ИК-3 или ИК-6 может нести только акцентоноситель препозитивной темы; в конструкциях с препозитивной ремой тема безударна, т.е. не несет коммуникативно релевантного акцента:

(3) *Ипполит* ↓ *вчера заходил*.

Мы не касаемся сферы иллокутивного употребления союзов, т. е. такого употребления, при котором союз связывает не сами пропозиции, а модусные компоненты речевого акта (например, во фразе *Видно, Петю это задело, поскольку/потому что он много говорит об этом*). Термин предложен в [Иорданская 1988], там же изучается вопрос иллокутивного употребления рассматриваемых союзов.

Дальнейшее изложение состоит из двух разделов 1 и 2, посвященных соответственно союзам *потому что* и *поскольку*, и *Заключения*.

1. СОЮЗ ПОТОМУ ЧТО

В [Русская грамматика 1980, II: 578] отмечается, что придаточное, вводимое союзом *потому что*, позиционно ограничено – обычно оно не начинается собой сложного предложения: «в силу позиционной специализации нерасчлененного союза *потому что* предложения с этим союзом характеризуются фиксированным соположением частей: придаточная часть либо следует за главной, либо находится в интерпозиции». Анализ сложных конструкций с *потому что* показывает, что позиционная несвобода придаточного сопровождается его коммуникативной несвободой.

Рассмотрим примеры сложноподчиненных предложений с *потому что*, в которых придаточные представляют собой соответственно: препозитивную тему (примеры (4а,б)), препозитивную ремю (примеры (5а,б)), постпозитивную (заударную) тему (примеры (6а,б)), постпозитивную ремю (примеры (7а,б)):

- (4) а. **Потому что* юноши не было дома ↑, полиция объявила его в розыск ↓.
б. **Потому что* миндалины увеличены ↑, глотать тяжело ↓.

- (5) а. ?*Потому что* ответить ↓ ему нечего, он молчит.
б. ?*Потому что* Маше больно ↓, она плачет.

- (6) а. **Кричать* бессмысленно ↓, *потому что* никто не услышит.
б. **Услуги адвоката* обошлись недешево ↓, *потому что* дело затяжное.

- (7) а. *Я не буду с тобой спорить* ↑, *потому что* ты все равно не прав ↓.
б. *Бабель сейчас актуален* ↑, *потому что* все мы живем в эпоху гражданской войны ↓. (Национальный корпус русского языка)

Как видно из (4)–(7), полную приемлемость демонстрирует только конструкция с придаточным – постпозитивной ремей; тематическая интерпретация придаточного исключена, вне зависимости от его позиции; рематическая интерпретация препозитивного придаточного затруднена.

Итак, придаточное с *потому что* не может выступать в роли темы. Данный факт, однако, не объясняет затрудненную препозицию придаточного в роли ремы. С одной стороны, рематическая полярность¹ (неспособность выступать в роли темы) и затрудненная препозиция взаимосвязаны: при нейтральном порядке слов тема предшествует реме, и составляющая, которая не может быть темой, естественно тяготеет к постпозиции. Вместе с тем, сложноподчиненное предложение, вообще говоря, не исключает такой линейно-коммуникативной структуры, при которой придаточное является препозитивной ремей, а главное – заударной темой. Эта структура допустима в диалогическом режиме речи, при соблюдении фонетического ограничения на длину заударной части: заударное главное предложение в роли темы не может быть слишком длинным, по-

¹ Термин «рематическая полярность» мы употребляем вслед за [Янко 2001: 231].

сколькx оно произносится в аллегровом темпе, без коммуникативно релевантного акцента:

(8) *Поскольку / Из-за того что никого дома ↓ не было, никто не пострадал.*

(9) *Когда отец ↓ придет, будем ужинать.*

Ниже обе выявленные особенности *потому что* – позиционная и коммуникативная несвобода придаточного – объясняются в терминах оппозиции известное/неизвестное. Но прежде предложим для конструкции с *потому что* толкование, с учетом рематической полярности придаточного:

(I) **‘А, потому что В’ ≈**

тема (= значение тематической составляющей): **‘имеет место А’;**

рема (= значение рематической составляющей): **‘имеет место В’, ‘В является причиной А’.**

Представляется, что в основе и затрудненной препозиции, и рематической полярности придаточного лежит следующее свойство *потому что*:

(II) **Информация ‘В является причиной А’, выраженная в сложном предложении с союзом *потому что*, с точки зрения говорящего слушающему неизвестна.**

Поясним, что оппозицию *известное/неизвестное* следует отличать от оппозиции *данное/новое*: под известной информацией понимается то, что слушающему известно, но в момент разговора не обязательно находится в фокусе его внимания; данной называется информация, активированная в текущей беседе (см., например [Янко 2001: 238], также [Чейф 1994; Chafe 1987]). Таким образом, данное всегда является известным, но не наоборот.

Невозможность для *потому что* быть составной частью темы (рематическая полярность) следует из (II) очевидным образом: темой, как правило, не может служить неизвестный, неожиданный для адресата речи факт.

Исключения составляют случаи сознательного нарушения говорящим нормы расположения неизвестной информации в тексте, которая оказывается не сообщаемым, а отправной точкой сообщения, ср. известный пример *Голодная волчица встала, чтобы идти на охоту* (начало рассказа Чехова «Белолобый»). Этот своего рода коммуникативный прием – искусственное активирование в сознании слушающего фрагмента информации, которая фактически ему неизвестна – в работе [Уокоуама 1986] предлагается рассматривать как особую речевую стратегию сознательной коммуникативной ошибки. При таком подходе совпадение темы и известного оказывается правилом, не знающим исключения: это совпадение имеет место либо в силу естественного хода общения, либо как результат некоторого «коммуникативного насилия», когда неизвестное навязывается как известное.

Как (II) объясняет другое свойство – затрудненную препозицию придаточного при его рематической интерпретации? Дело в следующем: в соответствии с нормой расположения информации в тексте, известное тяготеет к совпадению с началом, неизвестное – с концом (см., например [Янко 2001: 174]). Союз *потому что* всегда выражает неизвестную информацию, а абсолютное начало предложения отведено под информацию известную.

Отметим, что упомянутая выше возможность сознательного нарушения нормального расположения информации в тексте – когда неизвестное навязывается как известное – в предложении с *потому что* не реализуется. Это находит свое объяснение в том, что в случае с *потому что* неизвестность соответствующей информации – ‘причиной А служит В’ – является ингерентным свойством союза. Иными словами, эта неизвестность не обусловлена прагматическими факторами (состояние знаний адресата и

пр.), как в указанном выше примере из Чехова, а лексикализована – зафиксирована в значении союза. Естественно ожидать, что такое ингерентное свойство союза окажется устойчивым перед «коммуникативной вольностью».

Толкование (I) является неполным, поскольку не характеризует смысловые компоненты *потому что* в терминах ассерция/презумпция. Конкретизируем (I) в этом смысле:

(I)' 'А, потому что В' ≈

тема: 'имеет место А' (ассерция);

рема: 'имеет место В' (ассерция), 'В является причиной А' (ассерция).

Ассертивность смыслов 'имеет место А' и 'имеет место В', соответствующих главному и придаточному, обсуждалась во Введении; ассертивность смысла 'В является причиной А' непосредственно следует из (II): информация, лексикализованная как неизвестная, не может быть презумпцией².

Имеется ряд контекстов, в которых правило (II) нарушено – союз *потому что* выражает причинную связь, известную из предтекста. Нарушение возникает тогда, когда действие правила (II) «нейтрализуется» семантикой словоформ, входящих в конструкцию с *потому что* или в ее непосредственный предтекст. Нам известны два вида таких «нейтрализующих» словоформ. Прежде чем назвать их, отметим, что все конструкции с союзом *потому что*, в которых действие (II) в указанном смысле нейтрализовано – и только они – допускают препозицию придаточного. Данный факт подтверждает наше предположение, что запрет на препозицию *потому что* обусловлен действием (II).

Речь идет о следующих словоформах: 1) вопросительное слово «почему» и 2) слова с семантикой контраста, например, *именно, только*.

Слово *почему* нейтрализует действие (II) в линейной последовательности «вопрос с *почему* – ответ с *потому что*», как в примерах (10а,б):

(10) а. <– Почему Маша плачет?> Потому что ей больно ↓, она плачет. <допустимо, например, в контексте: «какие глупости ты спрашиваешь»>

б. <– Почему ты мне не перезваниваешь?> Потому что времени ↓ нет, не перезваниваю. <в том же контексте>

В самом деле, в (10) союз *потому что* не вводит причинную связь между ситуациями придаточного и главного как неизвестную слушающему, поскольку эта связь активируется уже в вопросительном слове. Отметим, что общим логическим условием для активации факта причинной связи между двумя пропозициями является активация хотя бы одной из этих пропозиций: иначе не ясно, «о причине (или следствии) чего» идет речь. В (10) активирована информация, соответствующая главной клаузе.

Итак, *почему* является словом, семантика которого нейтрализует действие правила (II). Как видно из примеров (10), препозиция придаточного в этом случае разрешена. Правда, ее уместность все-таки сильно ограничена контекстом: главная клауза предложения с *потому что* дублирует предшествующую реплику с *почему*, поэтому прагматически более естественно эту главную клаузу опустить (– Почему Маша плачет? – Потому что ей больно). В последнем случае придаточное не может быть названо препо-

² Вообще говоря, семантическая презумпция, в отличие от прагматической, не обязательно известна адресату (см. пример из [Падучева 1985: 58] *Сегодня в овощном были только яблоки*, где презумпция 'в овощном были яблоки' может быть неизвестной). Тем не менее, можно сказать, что презумптивная информация тяготеет к тому, чтоб быть известной. Вот почему представляется справедливым из утверждения (II) заключить об ассертивном статусе смысла 'В является причиной А': вряд ли одна и та же информация может быть лексикализованной и как презумптивная, и как неизвестная (хотя, повторим, в случае не лексикализованной, а прагматически обусловленной неизвестности такое совпадение не исключено).

зитивным. Однако, как показывают примеры (10), не опускать главную клаузу позволяет особая – язвительная – интонация (ср. еще аналогичный контекст для (5а): – *Ты не знаешь, почему он молчит?* (5а) – *Потому что ответить ↓ ему нечего, он молчит*).

Обратимся к словам с семантикой контраста – также, по нашему предположению, «нейтрализующим» правило (II). В следующих примерах (11) и (12) придаточное, вводимое *потому что*, содержит соответственно слова контраста *только* и *именно* (в традиционной терминологии – фокусные частицы, *focus particles*; мы называем их «словами контраста» вслед за Т.Е. Янко [2001: 53 и сл.]: они «имеют в своем толковании пересечение с толкованием контраста»). В примере (13) содержится контрастная конструкция «не..., а...», в (14) – слово *это*, также маркирующее контрастивное выделение:

- (11) *Именно потому что там живет его сестра, в визе не откажут.*
- (12) *Только потому что у него самые низкие цены, он еще не банкрот.*
- (13) *Не потому что он что-то скрывает, он молчит, а просто сказать нечего.*
- (14) *Это потому что Петя заболел, мы дома <а не по другой причине>.*

Как видим, контекст контраста допускает препозицию придаточного. Кроме того, контраст позволяет придаточному выступать в запрещенной для него роли темы³. Так, лексико-синтаксической структуре (12) соответствуют два варианта коммуникативного членения: с придаточным – контрастной темой или контрастной ремой:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>[Только потому что у него самые низкие цены]↑, [он еще не банкрот]↓.</i> | |
| Т-контр. | Р |
| <i>[Только потому что у него самые низкие цены]↓, [он еще не банкрот].</i> | |
| Р-контр. | Т |

Согласно высказанному предположению, грамматичность предложений (11)–(14) находит свое объяснение в том, что контрастная семантика нейтрализует действие правила (II). Рассмотрим теперь механизм этой нейтрализации.

Как следует из общепринятого определения понятия контраста, кванты информации, соответствующие контрастным составляющим, должны трактоваться как унаследованные из предтекста (см., например [Chafe 1976; Тестелец 2001: 458; Янко 2001: 47]). При контрасте возникает идея выбора из небольшого, ассоциированного с выделенным элементом, множества, состав которого известен говорящему и адресату. При заключении в сферу действия контраста придаточного, вводимого *потому что*, «ассоциированное с выделенным элементом множество» представляет собой множество потенциальных причин ситуации, выраженной в главном предложении. Таким образом, пропозициональное содержание придаточного трактуется, во-первых, как известное слушающему и, во-вторых, – как «потенциальная причина». Последнее как раз означает, что в конструкции с контрастно выделенным *потому что*, как в (11)–(14), не действует правило (II): информация о причинной связи не является для слушающего неизвестной, поскольку она активирована в предтексте, в указанном «гипотетическом» смысле.

Итак, в силу (II) союз *потому что* тяготеет к постпозиции и к роли ремы. Запрет на препозицию союза снимается, когда действие (II) нейтрализуется семантикой контекста. Если такая нейтрализация происходит посредством слова контраста, снимается и второй запрет: *потому что* получает способность выступать в роли темы.

В заключение обратим внимание на некоторую тонкость, связанную с предложенной трактовкой союза *потому что*. Вернемся к примерам (5а,б), для удобства повторим их:

³ Другие контексты, в которых придаточное с *потому что* может выполнять функцию темы, нам неизвестны.

- (5) а. ?*Потому что ответить* ↓ *ему нечего, он молчит.*
 б. ?*Потому что Маше больно* ↓, *она плачет.*

Мы показали, что условием их грамматичности является нейтрализация правила (II) посредством слова «почему». Т.е. активированность в предтексте соответственно смыслов ‘почему он молчит’/‘почему она плачет’ и – как необходимое сопутствующее условие – смыслов ‘он молчит’/‘она плачет’. Между тем, соблюдения тех же двух условий – известность слушающему из предтекста смысла главного предложения и семантики отношения между главным и придаточным, выражаемой союзом, – требует вообще любая препозиция рематического придаточного, вне зависимости от союза. Так, условия уместности предложения (8) *Поскольку никого дома* ↓ *не было, никто не пострадал* – те же, что и предложений (5): активированность пропозиции главной клаузы (‘никто не пострадал’) и причинно-следственного смысла (‘почему никто не пострадал’). В этой связи отдельного разъяснения требует вопрос об обоснованности противопоставления предложений (8) и (5а,б) соответственно как «безусловно присмслемых» и «присмслемых в зависимости от контекста». Использование примера (8) не ограничено ничем, кроме общих для всех препозитивных рематических придаточных условий. Примеры (5а,б) подчинены дополнительным ограничениям, проистекающим из коммуникативной особенности (II) союза *потому что*. Указанное трудноощутимое различие видно, в частности, из следующего. Для уместности примеров (5а,б) смыслы ‘он молчит’/‘она плачет’ и ‘почему он молчит’/‘почему она плачет’ должны быть активированы в непосредственном предтексте – в вопросительном слове *почему*. Условия уместности примера (8) менее специфичны: активация в широком смысле слова – вообще в контексте текущего разговора.

2. СОЮЗ ПОСКОЛЬКУ

По аналогии с союзом *потому что* начнем рассмотрение *поскольку* с выявления позиционных и коммуникативных особенностей вводимого союзом придаточного. Напомним, что придаточное, вводимое *потому что*, не может, за редким исключением, выступать в роли темы и начинать собой сложное предложение. Придаточное с союзом *поскольку*, напротив, может нести акцент как темы (примеры (15а,б), (17а,б)), так и ремы (примеры (16а,б), (18а,б)), и в позиционном отношении оно свободно:

- (15) а. *Поскольку Балтийское море мелкое* ↑, *в жару оно быстро прогревается* ↓.
 б. *Поскольку работа срочная* ↑, *за нее платят больше* ↓.
 (16) а. *Никто не пострадал* ↑, *поскольку никого не было дома* ↓.
 б. *Платят больше* ↑, *поскольку работа срочная* ↓.
 (17) а. *Ему глотать* ↓ *тяжело, поскольку миндалины увеличены.*
 б. *Заплатили больше чем обычно* ↓, *поскольку работа срочная.*
 (18) а. *Поскольку у него дочка* ↓ *больна, он дома.* <А так он каждый день работает>.
 б. *Поскольку он опаздывал* ↓ *часто, его уволили.* <А дело свое он знает>.

Предложения (18) (как и (8)) отличаются некоторой искусственностью, но, повторим, мы объясняем эту искусственность специфичностью линейно-коммуникативной структуры с препозитивной ремой, а не коммуникативной спецификой *поскольку*.

Принципиальное семантическое отличие *поскольку* от *потому что* состоит в том, что *поскольку* указывает на наличие причинной связи между придаточным и главным не прямо, через семантический предикат ‘являться причиной’, а опосредованно, через сообщение о существовании условно-следственной связи между ситуациями двух клауз. Если значение конструкции А, *потому что В* представляет собой конъюнкцию смыслов ‘имеет место В’, ‘имеет место А’, ‘В является причиной А’ (см. выше толкование (I)), то смысл ‘А, поскольку В’ состоит из компонентов ‘имеет место В’, ‘имеет место

А' и 'если В, то А', откуда 'В является причиной А' логически следует. Отношение между значением конструкции А, поскольку В и смыслом 'В является причиной А' представляется уместным назвать импликацией. Традиционно термин «импликация» применяется к толкованиям не слов или конструкций, а предложений: импликация – это содержащийся в значении предложения имплицитный смысл, который выводится (следует) из этого предложения. Примеры импликаций из [Падучева 1985: 61] (фраза (б) – импликация (а)):

- а. Иван женат на Марии. б. Иван женат.
Мери съела пирог. Пирог был съеден.

Употребление термина «импликация» в связи с конструкцией А, поскольку В, таким образом, несколько отклоняется от традиционного, однако представляется оправданным: смысл 'В является причиной А' – ингерентное следствие суммы смыслов, содержащихся в значении этой конструкции.

Смысловой компонент 'если В, то А' в значении союза обладает следующим свойством: он является конкретизацией, или следствием, некоего общего положения вещей, имеющего место или «вообще в мире», или в конкретной конситуации. Так, для предложения (15б) *Поскольку работа срочная, за нее платят больше* смысл 'если В, то А' имеет вид 'если работа срочная, за нее платят больше', а лежащее в его основе общее суждение – своего рода универсальная закономерность, отражающая естественное и общепринятое положение вещей в мире, – имеет, например, следующий вид: 'обычно если работа повышенной сложности, ее оплачивают сверх нормы'.

Аналогичный смысл, отражающий «жизненные закономерности», традиционно выделяется при анализе союзов с уступительной и противительной семантикой: *хотя, но, although* (см. [Урысон 2002; Lagerwerf 1998; Санников 1989]). Мы не ставим здесь задачи описать в общем виде механизм перехода от смысла 'если В, то А' к соответствующей «закономерности»: этот вопрос подробно обсуждается, например, в работе [Урысон 2002] применительно к союзу *хотя*. Существенно, однако, что при анализе уступительных союзов компонентом толкования признается сама «закономерность», в то время как для союза *поскольку* мы предлагаем считать компонентом толкования конкретизацию этой закономерности – смысл 'если В, то А'. В самом деле, при употреблении *поскольку* говорящий не просто указывает на имеющуюся общую закономерность. Говорящий сообщает слушающему, что эта закономерность действует для конкретных ситуаций В и А (в случае с *хотя* сообщение как раз обратное: для ситуаций В и А данная закономерность не действует). Смысл 'если В, то А' – необходимое звено в логической цепочке, формируемой союзом *поскольку*: цепочке, ведущей от соответствующей жизненной закономерности к причинному смыслу 'В является причиной А'.

Выше мы назвали взаимосвязь между компонентом 'если В, то А' и общепринятым порядком вещей, лежащим в его основе, свойством компонента 'если В, то А'. По аналогии с тем, как при анализе *потому что* мы назвали свойством союза известность слушающему смысла 'В является причиной А'. Но возможна и другая трактовка *поскольку*: включение в толкование союза обоих смыслов – и 'если В, то А', и смысла, описывающего общий порядок вещей. Последний можно записать как 'обычно если имеет место ситуация из класса В, то имеет место ситуация из класса А' (пользуясь формулировкой, предложенной в [Урысон 2002]). Такой смысловой компонент имел бы презумптивный статус (подробнее см. ниже). Мы, однако, остановимся на первой трактовке: будем считать, что компонент 'если В, то А' в значении *поскольку* обладает свойством соответствия некой универсальной или конситуативной закономерности. Это решение оправдано, в частности, тем, что для такой закономерности часто трудно предложить единую, безусловную формулировку, поскольку соответствующие сведения относятся, скорее, «не к семантике как таковой, а к области понимания текста» [Урысон 2002].

Вернемся к анализу *поскольку* в сопоставлении с *потому что*. Мы предположили, что между союзами имеется семантическое различие: *поскольку* выражает причинный смысл через указание на условно-следственный смысл, *потому что* – без такого указания. Предлагая для двух близких по значению слов разные толкования, естественно обосновать различия в толкованиях различиями в употреблении этих слов. Однако в нашем случае провести такое обоснование оказывается затруднительно.

Дело в том, что причинный смысл – ‘В является причиной А’ в значении *потому что* – сам по себе содержит в качестве презумпции смысл ‘если В, то А’. Невозможно говорить о причинно-следственной связи между ситуациями, не усматривая при этом между ними связи условно-следственной. Так, предложение *То, что идет дождь, является причиной того, что Петя дома* предполагает, что говорящий считает истинным и предложение *Если идет дождь, то Петя дома*. Таким образом, союз *потому что* также содержит смысл ‘если В, то А’, но не как компонент своего значения, а как ингерентную презумпцию одного из компонентов значения – смысла ‘В является причиной А’. Можно сказать, что условно-следственный смысл выражается в конструкции с *потому что* и м п л и ц и т н о. Напротив, *поскольку* выражает смысл ‘если В, то А’ э к с п л и ц и т н о: как компонент значения, причем, как будет показано ниже, асертивный компонент.

Тот факт, что условно-следственный смысл содержится в значении обоих союзов – пусть и в разном статусе – приводит к тому, что в речи указанное семантическое различие между *поскольку* и *потому что* едва ощутимо. Рассмотрим, однако, примеры:

- (19) *Надежда на успех у меня все-таки есть, потому что мы выбрали для этих концертов малоизвестную камерную музыку.*
(19а) *Надежда на успех у меня все-таки есть, поскольку мы выбрали для этих концертов малоизвестную камерную музыку.*

В предложении (19а) условно-следственный компонент, входящий в значение союза, имеет вид: ‘если мы выбрали для исполнения на этих концертах малоизвестную камерную музыку, концерты обещают быть успешными’. Этот смысл, однако, не проистекает из общего положения вещей в мире (суждение *если исполнять на концерте малоизвестную камерную музыку, концерт обещает быть успешным* не отражает естественного положения дел). В соответствии с нашей трактовкой, в (19а) лексико-семантическое наполнение клауз несовместимо с одним из условий употребления союза *поскольку*: смысл ‘если В, то А’ должен восходить к утверждению, имеющему характер жизненной закономерности. И действительно, вне специального контекста пример (19а) неудачен. Но он улучшается, если дополнить его необходимым пояснением:

- (19а)’ *Надежда на успех у меня все-таки есть, поскольку мы выбрали для этих концертов малоизвестную камерную музыку, а ее здесь традиционно любят.*

Смысл ‘если исполнять на концерте малоизвестную камерную музыку, концерт обещает быть успешным’, который вне контекста представляется неочевидным, с учетом поясняющего комментария в (19а)’ приобретает статус закономерности, имеющей силу в определенной конситуации («здесь»).

Пример (19а) подтверждает нашу трактовку союза *поскольку*. Обратимся теперь к примеру (19) с союзом *потому что*. Предложение (19) «лучше» предложения (19а), но и (19), для полной ясности, требует контекста. Тем не менее, пусть различие между (19) и (19а) слабое, оно имеется. Мы объясняем его на основе изложенной выше трактовки *потому что* и *поскольку*. Смысл ‘если В, то А’ выражается союзом *потому что* имплицитно: не как компонент значения, а как презумпция компонента ‘В является причиной А’. В (19), как и в (19а), этот смысл – ‘если мы выбрали для исполнения на этих концертах малоизвестную камерную музыку, концерты обещают быть успешными’ – без пояснения непонятен. Однако здесь в действие вступает общий метод осмысливания не-

известных презумпций: если слушающему неизвестно об истинности презумпции, он, как правило, принимает ее истинностное значение за положительное. Поэтому предложение (19) с *потому что*, с одной стороны, предполагает контекст, который помог бы слушающему согласиться с истинностью 'если В, то А', но, с другой стороны, – может осмысливаться и вне такого контекста. В случае с *поскольку* требование контекста носит более императивный характер. Смысл 'если В, то А', во-первых, входит в значение *поскольку* в качестве к о м п о н е н т а; во-вторых, соответствие этого смысла общепринятому положению дел в мире является ингерентным (лексикализованным) свойством *поскольку*.

Приведем еще пример пары, аналогичной (19) и (19а):

(20) *Портреты были неудачны, потому что художники старались придать все- сильному фавориту героическую осанку (Фейхтвангер).*

(20а) *Портреты были неудачны, поскольку художники старались придать все- сильному фавориту героическую осанку.*

Соответствующее условно-следственное суждение – *если художники стараются придать все- сильному фавориту героическую осанку, портрет получается неудачным* – не проистекает из общих знаний о мире. Поэтому пример (20а) по сравнению с (20) – более «странный». (20а) улучшается, например, в следующем контексте:

(20а)' *Портреты были неудачны, поскольку художники старались придать все- сильному фавориту героическую осанку, а в таких случаях это выходит неубедительно.*

Наряду с примерами типа (19)–(19а), (20)–(20а) имеется еще один аргумент в пользу предложенной семантической трактовки *потому что* и *поскольку*: различия в сочетаемостных свойствах союзов. Однако этот аспект сопоставления двух союзов за неимением места мы опускаем. Укажем лишь саму идею того, как сочетаемостные особенности обосновывают нашу трактовку. Придаточное, вводимое *поскольку*, не может сочетаться с отрицательной частицей *не* (**Петя ушел, не поскольку обиделся*) и не образует придаточного косвенного вопроса с *ли* (**Я не знаю, поскольку ли он обиделся, он ушел*). Напротив, придаточное с *потому что* обладает обоими этими свойствами (*Петя ушел, не потому что обиделся <а потому что у него дел много>; Я не знаю, потому ли что он обиделся, он ушел*). Данные различия в сочетаемости удастся объяснить на основе изложенной семантической трактовки союзов – опираясь на то, что в значении *потому что* содержится компонент 'В является причиной А', а в значении *поскольку* – компонент 'если В, то А'. Таким образом, предложенная трактовка получает подтверждение.

Прежде чем перейти собственно к толкованию *поскольку*, остановимся подробнее на вопросе взаимозаменяемости *поскольку* и *потому что*, которая, как демонстрируют предложения (19)–(19а), (20)–(20а), имеет место не всегда.

Пары примеров (19)–(19а) и (20)–(20а) показывают, что в конструкции А, *потому что* В заменить союз *потому что* на *поскольку* неуместно тогда, когда смысл 'если В, то А' не восходит к некой общепринятой норме, проистекающей из знаний о мире или из конституации. С другой стороны, когда такая общепринятая норма смыслу 'если В, то А' соответствует, союзы *потому что* и *поскольку* взаимозаменяемы без существенных смысловых или стилистических последствий:

(21) *Петра уволили, а, поскольку /б. потому что он часто опаздывал.*

(22) *В этот раз платят больше, а, поскольку /б. потому что работа срочная.*

И все же тонкое смысловое различие между вариантами (а) и (б) в примерах (21) и (22) имеется. Оно обусловлено сформулированным выше правилом (II) употребления союза *потому что*. Вариант (б) уместнее употребить в том случае, если говорящий уве-

рен – слушающему неизвестно о причинно-следственной связи между «опозданиями» и «увольнением» (для (21)), между «срочностью работы» и «ее оплатой» (для (22)). Напротив, примеры (а) скорее будут произнесены с целью обратить внимание слушающего на факт (*причина увольнения – опоздания, причина высокой оплаты – срочность*), который, возможно, слушающему неизвестен, но наверняка не является неожиданным – поскольку неожиданным не является соответствующее условно-следственное утверждение (*если Петр часто опаздывал, его уволили; если работа срочная, за нее больше платят*).

Указанную специфику употребления *поскольку* кажется уместным переформулировать в терминах оппозиций известное/неизвестное и активированное/неактивированное применительно к смысловому компоненту 'если В, то А'. С некоторой долей условности можно считать, что в конструкции с *поскольку* соответствующая этому компоненту информация известна слушающему: она проистекает из общих знаний о мире или конституации и поэтому не может стать для слушающего неожиданностью (известной в настоящем смысле является, однако, не информация *если В, то А*, а лежащая в ее основе «жизненная закономерность»). Вместе с тем, эта информация не является активированной в текущей беседе. Так, в примере (16а) *Никто не пострадал* ↑, *поскольку никого не было дома* ↓ смыслу 'если никого не было дома, никто не пострадал' отвечает информация, проистекающая из общих знаний о мире, но не активированная, поскольку неактивированной является информация, содержащаяся в рematicком придаточном ('никого не было дома'). Таким образом, союз *поскольку* служит для активации известного слушающему (= не неожиданного), но не находящегося в фокусе его внимания факта условно-следственной связи между ситуациями придаточного и главного.

Представляется, что различия между *потому что* и *поскольку* в терминах категорий известности и активированности обуславливают коммуникативные и позиционные различия между придаточными, вводимыми этими союзами. Выше мы показали, что придаточное, вводимое *потому что*, обычно постпозитивно и не может выступать в роли темы. Оба эти факта мы объяснили неизвестностью смысла 'В является причиной А'. Придаточное, вводимое *поскольку*, наоборот, в коммуникативном и позиционном отношении свободно (см. примеры ((15)–(18))). Как кажется, эта свобода обеспечивается одновременно известностью и неактивированностью смысла 'если В, то А' в значении союза: благодаря известности этого смысла, придаточное легко становится темой, благодаря неактивированности – ремой.

С учетом сказанного о семантике *поскольку*, перейдем к толкованию союза.

В III представлена схема толкования сложноподчиненной конструкции с *поскольку* – двусоставная, в соответствии с двумя возможными для конструкции коммуникативными членениями. Толкование предварительное и ниже будет уточняться.

- (III). а. 'Поскольку В, А', где придаточное – тема ≈
тема: 'имеет место В'; 'если В, то Х'⁴;
рема: 'Х = А';
<импликация 1: 'имеет место А'⁵
импликация 2: 'В является причиной А'>

⁴ В работах [Урысон 2001; 2002; 2003] демонстрируется, что союз «если» содержит несколько семантических компонентов, и при толковании через него других лексем значение «если» следует конкретизировать – «зачеркнуть» ненужные для конкретного случая компоненты. Мы не останавливаемся подробнее на этой проблематике, а в предлагаемом толковании для *поскольку* отвлекаемся от указанной специфики «если». Свою задачу мы видели, скорее, не в системном семантическом описании союза *поскольку*, а в выявлении структуры его значения, в сопоставлении со структурой значения *потому что*.

⁵ Импликативность данного компонента разъяснена ниже.

- b. 'А, поскольку В', где придаточное – рема ≈
 тема: 'имеет место А';
 рема: 'имеет место В'; 'если В, то А'⁶;
 <импликация: 'В является причиной А'>.

Переменная X в толковании (IIIa) отражает тот факт, что препозитивное придаточное является семантически неполным выражением – если рассматривать его с точки зрения процесса восприятия речи. Неполнота возникает в силу того, что в значение союза входит отсылка к содержанию главной клаузы, которое, при постпозиции этой главной клаузы, на этапе произнесения препозитивного придаточного слушающему неизвестно. Напротив, постпозитивное придаточное не является семантически неполным, поскольку отсылка, содержащаяся в значении союза, имеет в этом случае анафорическую, а не катафорическую природу. Мы предлагаем, таким образом, не традиционную декларативную, а «процедурную» модель толкования, отражающую процесс речевого восприятия. Наш подход оправдан, например, следующим. Представляется, что от позиции придаточного – точнее, от линейного разморасположения главного и придаточного в процессе восприятия сложного предложения – зависит, в частности, статус смыслового компонента 'имеет место В' в терминах ассерция/презумпция. Механизм этой зависимости разъяснен ниже.

В связи с толкованием (III) представляется важным следующее терминологическое уточнение: смысл 'В является причиной А', обозначенный нами как и м п л и к а ц и я, не является, подобно другим, фигурирующим в (III), смыслом, компонентом значения конструкции *Поскольку В, А/А, поскольку В*. В самом деле, вхождение в значение данной конструкции причинного компонента н а р я д у с условно-следственным делало бы семантически избыточным наличие последнего. Таким образом, смысл 'является причиной' мы считаем ингерентным следствием значения конструкции с *поскольку*, но не компонентом этого значения.

Вместе с тем, *поскольку* естественно считать причинным союзом, так как причинный смысл образуется при объединении в с е х смысловых компонентов, входящих в значение *поскольку*.

Наконец, охарактеризуем компоненты толкования (III) с точки зрения противопоставления а с с е р ц и я / п р е з у м п ц и я. Понятие презумпции мы понимаем традиционно, как такой компонент значения некоторого предложения, ложность которого влечет семантическую аномальность этого предложения. В логике, откуда понятие презумпции пришло в лингвистику, под аномальностью предложения обычно понимается отсутствие у него истинностного значения (см. [Падучева 1977]).

Напомним еще такое, уже упомянутое выше, определение презумпции: «Презумпция – это фоновое знание Говорящего (background knowledge), не подвергаемое сомнению» [Падучева 1998: 20].

В качестве формального критерия выявления презумпций обычно используется такое их свойство, как инвариантность относительно отрицания: «Р есть презумпция пред-

⁶ Строго говоря, переменные А и В в компоненте 'если А, то В', с одной стороны, и в конструкции 'А, поскольку В', с другой – это разные переменные: в 'А, поскольку В' переменным соответствуют утверждения, а посылка и следствие условной конструкции не имеют утвердительного статуса. Разрешить это противоречие можно, например, введя дополнительные переменные а и б, такие что А = имеет место а, В = имеет место б. Тогда, скажем, компоненты толкования (IIIb) примут вид: 'имеет место А' = 'имеет место (имеет место а)': 'имеет место В' = 'имеет место (имеет место б)'; 'если имеет место а, то имеет место б'; 'В является причиной А' = 'то, что имеет место б, является причиной того, что имеет место а'. Из последнего компонента следует 'В является причиной А'. Мы, однако, пренебрегаем формальной строгостью для простоты.

ложения S, если P является смысловым компонентом как предложения S, так и отрицания S» [Падучева 1977: 95].

Главной клаузе сложной конструкции с союзом *поскольку* (смыслу 'имеет место A' в толковании (III)) презумпция соответствовать не может (см. [Иорданская 1988: 251]). Ниже анализируются в терминах а с е р ц и я / п р е з у м п ц и я следующие смысловые компоненты значения конструкции: (1) 'если B, то A' / 'если B, то X'; (2) 'имеет место B' соответственно для случаев (IIIa) и (IIIb) – с постпозитивным и препозитивным придаточным.

Начнем с компонента 'если B, то A' / 'если B, то X'. Напомним, что в работе [Латышева 1982: 59] утверждается, что этот компонент презумптивен. Однако автор не проводит различия между смыслом 'если B, то A' и смыслом, лежащим в его основе и отражающим некую естественную «жизненную закономерность» (подробнее о «закономерности» см. выше). Презумпцией является только последний смысл.

Рассмотрим пример:

(23) *Поскольку Лондон – столица Англии, Петр хочет жить именно там.*

Компонент 'если B, то A', получающийся подстановкой вместо B и A цепочек словоформ, соответствующих придаточному и главному, применительно к (23) принимает вид:

(24) 'Если Лондон – столица Англии, то Петр хочет жить именно там'.

В его основе лежит следующее утверждение (формулировка может быть и более общей):

(25) *Обычно если город является столицей, люди хотят в нем жить.*

Предложение (23) содержит в своем значении в качестве презумпции смысл (25), но – не (24).

Выше мы указали две возможные трактовки для смысла, отражающего «жизненную закономерность»: этот смысл (1) лежит в основе компонента 'если B, то A' или (2) сам является презумптивным компонентом в значении *поскольку*. Мы остановились на первом варианте. При выборе второго варианта предложение (25) как раз оказывается презумпцией предложения (23). Две трактовки, в самом деле, эквиваленты: общие знания о мире – это знания, не подвергаемые сомнению, т.е. презумпция. Так, вспомним разобранный выше пример (19a): *Надежда на успех у меня все-таки есть, поскольку мы выбрали для этих концертов малоизвестную камерную музыку*. Выше мы объяснили «щероховатость» (19a) тем, что входящий в значение союза условно-следственный компонент – смысл 'если мы выбрали для исполнения на этих концертах малоизвестную камерную музыку, концерты обещают быть успешными' – не проистекает из общепринятого положения вещей. То же объяснение можно сформулировать и в терминах ассерция/презумпция: щероховатость (19a) обусловлена нарушением презумпции, содержащейся в значении *поскольку*.

Однако сам компонент 'если B, то A' – смысл (24) применительно к предложению (23) – презумпцией не является. Обоснуем это утверждение.

В работе [Иорданская 1988: 252] отмечается, что к придаточному предложению, вводимому *поскольку*, неприменим традиционный критерий выявления презумпций, основанный на их инвариантности относительно отрицания, так как сложное предложение с *поскольку* не имеет соответствующего ему грамматически отрицательного предложения. В самом деле: *поскольку* не сочетается с отрицательной частицей *не* (ср. **Петр переехал из Москвы в провинцию, не поскольку он не любит больших городов*), а при добавлении *не* к предикату главной клаузы в сферу действия отрицания попадает не все

сложное предложение, а только главная часть (ср. *Петр не [переехал из Москвы в провинцию], поскольку он любит большие города*)⁷.

Однако несмотря на то, что примеру (23) не отвечает никакого грамматически отрицательного предложения, семантически отрицание (23) представимо в виде смысла 'Неверно, что (23)'. Обратимся к интерпретации этого смысла.

Вопрос о возможной трактовке смысла 'Неверно, что S', где S – предложение, не имеющее соответствующего ему грамматически отрицательного, рассматривается в работе [Падучева 1977: 98]. Автор указывает три возможных понимания смысла 'Неверно, что S':

1. «Смысл 'Неверно, что S' понятен. ... Эта ситуация имеет место, например, для предложения *Суданские негры еще выше, чем скандинавы*.

2. Смысл 'Неверно, что S' неоднозначен, т.е. может быть перефразирован так: 'То ли не S₁, то ли не S₂, то ли ни то, ни другое, причем неизвестно, что именно'. Неоднозначность возникает в том случае, если предложение S содержит более чем одно утверждение (т.е. конъюнкцию нескольких утверждений).

3. Смысл предложения *Неверно, что S* вообще непонятен. Ср. предложение S = *Скоро апрель, а на дворе мороз*; смысл 'Неверно, что S' даже не допускает перефразировок».

Смысл 'Неверно, что (23)' – 'Неверно, что [Поскольку Лондон – столица Англии, Петр хочет жить именно там]' – соответствует случаю 2: он «неоднозначен», но не «вообще непонятен», и интерпретируем как дизъюнкция отрицаний смысловых компонентов значения предложения (23). Ясно, что в число таких дизъюнктивных отрицательных смыслов войдут ассертивные, но не презумптивные, компоненты значения конструкции с *поскольку* – по определению понятия презумпции. Таким образом, для определения статуса компонента 'если B, то A' в терминах ассерция/презумпция достаточно ответить на следующий вопрос: входит ли (точнее – может ли входить) отрицание этого компонента – 'Неверно, что если Лондон – столица Англии, то Петр хочет жить именно там' – в дизъюнкцию отрицательных компонентов смысла 'Неверно, что (23)'. Иначе говоря, может ли смысл 'Неверно, что (23)' подразумевать 'Неверно, что (24)'. Если ответ положительный, смысл 'если B, то A' ассертивен. Если отрицательный – презумптивен.

Поместим предложение (23) в контекст (26):

(26)

– *Поскольку Лондон – столица Англии, Петр хочет жить именно там.*

– *Это неправда!*

– *Что неправда?*

– *Неправда, что поскольку Лондон – столица, Петр хочет жить именно там. Он страшно не любит большие города, тем более столицы!*

Последняя реплика диалога (26) демонстрирует, что смысл 'Неверно, что (23)' и, далее, смысл 'Неверно, что [Поскольку B, A]' может пониматься в том числе и как 'Неверно, что если B, то A'. В самом деле:

'Петр страшно не любит большие города, тем более столицы' ⇒ 'Неверно, что [если Лондон – столица Англии, то Петр хочет жить именно там]'

⁷ В названной работе указанные поверхностные свойства союза *поскольку* объясняются его коммуникативной спецификой, в терминах противопоставления автономность/неавтономность союза [Иорданская 1988: 259 и сл.]. Представляется, однако, что эти и некоторые другие свойства могут быть объяснены семантикой *поскольку*, на основе предложенного толкования (III). Дальнейшее обсуждение этого вопроса остается за рамками статьи.

В соответствии с указанным выше критерием выявления презумпций, заключаем, что смысл 'если В, то А' является ассерцией. (Строго говоря, наше рассуждение приводит к менее определенному выводу: смысл 'если В, то А' может быть ассерцией. Представляется, однако, что статус данного смысла неизменен во всех употреблениях *поскольку*. Это утверждение мы оставляем без доказательства.)

Перейдем к анализу смыслового компонента 'имеет место В', соответствующего придаточному. Напомним: в ряде работ [Падучева 1977; Гладкий 1982; Латышева 1982] придаточному, вводимому *поскольку*, приписывается статус презумпции. Однако статус придаточного, как кажется, зависит от его позиции: препозитивному придаточному соответствует презумпция, постпозитивному – ассерция.

Начнем со второго случая (толкование (IIIb)):

(27) *Петр переехал из Москвы в провинцию, поскольку он не любит больших городов.*

Воспользуемся тем же аппаратом выявления презумпций: обратимся к интерпретации смысла 'Неверно, что (27)'. Поместим предложение (27) в следующий контекст:

(28) – *Петр переехал из Москвы в провинцию, поскольку он не любит больших городов.*
– *Это неправда!*
– *Что неправда?*
– *Неправда, что он переехал, поскольку не любит больших городов. Он их как раз любит.*

Как показывает диалог (28), смысл 'Неверно, что (27)' и, далее, 'Неверно, что [А, поскольку В]' может подразумевать в том числе и 'Неверно, что В'. Заключаем, по аналогии с предыдущим случаем, что компонент 'имеет место В' является ассерцией: он может не сохраняться при отрицании предложения А, *поскольку В*. (Опять-таки, точнее было бы сказать, что смыслу 'имеет место А' может соответствовать ассерция. Соображения, подтверждающие, что презумптивная трактовка для данного смысла исключена, приведены ниже.)

Итак, если придаточное в конструкции с союзом *поскольку* находится в постпозиции, ему соответствует ассерция.

Напротив, препозитивное придаточное презумптивно, поскольку оно затрагиваться отрицанием не может. Так, обратимся к отрицанию предложения *Поскольку Москва – столица, Петр хочет жить в Москве*:

(29) *Неправда, что (Поскольку Москва – столица, Петр хочет жить в Москве).*

Пример (29) невозможно понять как 'Неправда, что Москва – столица'.

Различию между препозитивным и постпозитивным придаточным в терминах ассерция/презумпция можно предложить формальное объяснение, выводимое из толкований (IIIa) и (IIIb).

Напомним, как устроена семантика сложной конструкции с союзом *поскольку*: выражаемое союзом причинное отношение между придаточным и главным образуется как импликация из конъюнкции смысловых компонентов 'имеет место В', 'если В, то А' и 'имеет место А'.

Повторим толкование (IIIa), с учетом презумптивного статуса смысла 'имеет место В':

(III). а. '**Поскольку В, А**', где придаточное – тема ≈
тема: '**имеет место В**' (презумпция); '**если В, то Х**';
рема: '**Х = А**';
<импликация 1: '**имеет место А**'
импликация 2: '**В является причиной А**'>.

Презумптивный статус компонента 'имеет место В', как представляется, влияет на логико-семантическое взаимодействие смысловых компонентов 'имеет место В' и 'если В, то Х'. Благодаря тому, что 'имеет место В' – презумпция, т. е. «фонное знание говорящего, не подвергаемое сомнению» (подчеркнуто мною. – О.П.) [Падучева 1998: 20], слушающий из конъюнкции смыслов 'имеет место В' и 'если В, то Х' делает вывод 'имеет место Х':

(30) 'имеет место В' & 'если В, то Х' \Rightarrow 'имеет место Х', где 'имеет место В' – презумпция.

Если бы смысл 'имеет место В' был ассерцией, данный вывод оказался бы невозможен. Действительно, ассерция может подвергаться сомнению – быть как истинной, так и ложной – без ущерба для осмысленности высказывания. Если суждение *имеет место В* – ложное, то и конъюнкция (*имеет место В*) & (*если В, то Х*) – тоже ложная, при том что *имеет место Х* может оказаться истинным. Иными словами, истинностные значения для выражений (*имеет место В*) & (*если В, то Х*) и *имеет место Х* не обязательно совпадают, если *имеет место В* – ассерция. Поэтому:

(31) 'имеет место В' & 'если В, то Х' \nRightarrow 'имеет место Х', где 'имеет место В' – ассерция⁸.

Следуя нашей логике, из толкования (Ша) получаем:

(32) 'имеет место В' & 'если В, то Х' \Rightarrow 'имеет место Х', где 'имеет место В' – презумпция:
'имеет место Х' & 'X = A' \Rightarrow 'имеет место A';
'если В, то Х' & 'X = A' \Rightarrow 'если В, то A';
'имеет место В' & 'если В, то A' & 'имеет место A' \Rightarrow 'В является причиной A'.

Как видим, смысл 'имеет место А' выводится из конъюнкции смыслов 'имеет место В' & 'если В, то Х' & 'X = A'. Это обуславливает имплицативный статус компонента 'имеет место А' в толковании (Ша): присутствие его в толковании в качестве ассертивного компонента было бы избыточно.

Итак, (32) демонстрирует, как осуществляется логико-семантическая схема, лежащая в основе семантики конструкции с препозитивным *поскольку*. Обратимся теперь к постпозитивному *поскольку*. Напомним, что смыслу 'имеет место В', входящему в значение конструкции *А, поскольку В*, мы приписали статус ассерции. При такой трактовке схема (32) к конструкции с постпозитивным придаточным не приложима, поскольку для (32) существенно, что смысл 'имеет место В' является презумпцией (из конъюнкции смыслов 'имеет место В' & 'если В, то А' не выводится смысл 'имеет место А', если 'имеет место В' – ассерция). Между тем, можно заметить, что схема (32) для постпозитивного придаточного вообще не реализуема, если рассматривать его, как мы делали до сих пор, с точки зрения процесса речевого восприятия. Повторим толкование для обсуждаемого случая:

(III) в. 'А, поскольку В', где придаточное – рема \approx
тсма: 'имеет место А';
рема: 'имеет место В'; 'если В, то А'.
<импликация: 'В является причиной А'>.

⁸ Ту же мысль можно проиллюстрировать на языке логики предложений (раздела математической логики). Пусть имеются формулы логики предложений $X \& (X \rightarrow Y)$ и Y , где X и Y – переменные, пробегающие множество значений {Истина, Ложь}. Данные формулы не являются равносильными, т.е. для них не совпадают истинностные таблицы (демонстрирующие зависимость истинностного значения формулы от истинностных значений входящих в нее переменных). В самом деле, если X – ложно, то $X \& (X \rightarrow Y)$ – тоже ложно, в то время как Y может быть истинно. Однако если принять, что X – всегда истинно (как презумпция 'имеет место В' в разбираемом случае с *поскольку*), то истинностные таблицы для формул $X \& (X \rightarrow Y)$ и Y совпадут. Тогда можно будет говорить, что если истинна одна формула, то истинна и вторая, и наоборот.

При построении говорящим конструкции *A, поскольку B*, смысл 'имеет место A', соответствующий главной клаузе, активируется раньше смыслов придаточного 'имеет место B' и 'если B, то A'. Следовательно, смысл 'имеет место A' не может образовываться по схеме (32) – как конъюнкция смыслов 'имеет место B' и 'если B, то A' – так как к моменту произнесения придаточного он уже активирован.

Итак, если придаточному с *поскольку* соответствует презумпция, то значение всей сложной конструкции формируется в соответствии с логико-семантической схемой (32). Однако при постпозиции придаточного эта схема не реализуема. Таким образом, различие между препозитивным и постпозитивным придаточным в терминах ассерция/презумпция получает формальное объяснение.

Общее итоговое толкование *поскольку* с учетом ассертивно-презумптивного статуса компонентов имеет вид:

- (III) а. '**Поскольку B, A**', где придаточное – тема ≈
тема: '**имеет место B**' (презумпция), '**если B, то X**' (ассерция);
рема: '**X = A**' (ассерция);
<импликация 1: '**имеет место A**',
импликация 2: '**B является причиной A**'>.
б. '**A, поскольку B**', где придаточное – рема ≈
тема: '**имеет место A**' (ассерция);
рема: '**имеет место B**' (ассерция); '**если B, то A**' (ассерция).
<импликация: '**B является причиной A**'>.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сформулируем основные результаты.

Оба рассмотренных союза являются причинными, но различаются способом выражения причинной связи между ситуациями придаточного и главного: *потому что* служит для прямого обозначения этой связи, через семантический предикат 'быть причиной'; *поскольку* выражает причинную связь опосредованно, через указание на условно-следственное отношение между клаузами (предикат 'если, то'). Смысл 'являться причиной' не входит в значение союза *поскольку* в качестве компонента; этот смысл образуется как ингерентная импликация из объединения всех смысловых компонентов, входящих в значение союза.

Информация *B является причиной A*, выраженная в сложном предложении *A, потому что B*, с точки зрения говорящего слушающему *н е и з в е с т н а*. Поэтому вводимое *потому что* придаточное ограничено позиционно и в своем коммуникативном статусе: оно не может быть темой и тяготеет к постпозиции.

Придаточное, вводимое союзом *поскольку*, в позиционном и коммуникативном отношении свободно. Это находит свое объяснение в том, что информация *если B, то A*, выраженная в конструкции *A, поскольку B (Поскольку B, A)*, является одновременно *и з в е с т н о й* (точнее – не неожиданной: проистекающей из общих знаний о мире или из конситуации) и *н е - а к т и в и р о в а н н о й*.

При постпозиции вводимого *поскольку* придаточного все смысловые компоненты конструкции *A, поскольку B* ассертивны. Пропозициональное содержание препозитивного придаточного – смысл 'имеет место B' в конструкции *Поскольку B, A* – является презумпцией.

В конструкции *A, потому что B* всем смысловым компонентам соответствует ассерция. Ассертивный статус компонента '*B является причиной A*' непосредственно следует из неизвестности этого компонента: информация, лексикализованная как неизвестная, не может быть презумпцией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гладкий 1982 – А.В. Гладкий. О значении союза *если* // Семиотика и информатика. М., 1982. Вып. 18.
- Иорданская 1988 – Л.Н. Иорданская. Семантика русского союза *раз* (в сравнении с некоторыми другими русскими союзами) // RLing. 1988. V. 12. № 3.
- Латышева 1982 – А.П. Латышева. О семантике условных, причинных и уступительных союзов в русском языке // Вестник МГУ. Сер. 9: Филология. 1982. № 5.
- Падучева 1977 – Е.В. Падучева. Понятие презумпции в лингвистической семантике // Семиотика и информатика. 1977. Вып. 8.
- Падучева 1985 – Е.В. Падучева. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.
- Падучева 1998 – Е.В. Падучева. К семантике пропозициональных предикатов: знание, фактивность и косвенный вопрос // ИАН СЛЯ. 1998. Т. 57 № 2.
- Русская грамматика 1980 – Русская грамматика. М., 1980. Т. I, II.
- Санников 1989 – В.З. Санников. Русские сочинительные конструкции. Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 1989.
- Тестелец 2001 – Я.Г. Тестелец. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Урысон 2001 – Е.В. Урысон. Союз *ЕСЛИ* и семантические примитивы // ВЯ. 2001. № 4.
- Урысон 2002 – Е.В. Урысон. Союз *ХОТЯ* сквозь призму семантических примитивов // ВЯ. 2002. № 6.
- Урысон 2003 – Е.В. Урысон. Семантическая и валентная структура слов с уступительным значением // Русский язык в научном освещении. 2003. № 6.
- Чейф 1994 – У. Чейф. Дискурс, сознание и время. Текущий и отстраненный сознательный опыт при речи и письме. М., 1994.
- Янко 2001 – Т.Е. Янко. Коммуникативные стратегии русской речи. М., 2001.
- Bellert 1971 – L. Bellert. О pewnym warunku spójności textu // O spójności textu. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1971.
- Bolinger 1961 – D.L. Bolinger. Contrastive accent and contrastive stress // Language. 1961. V. 37.
- Chafe 1976 – W. Chafe. Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects, topics, and points of view // Subject and topic. New York, 1976.
- Chafe 1987 – W. Chafe. Cognitive constraints on information flow // R.S. Tomlin (ed.). Coherence and grounding in discourse. Amsterdam; Philadelphia, 1987.
- Frege 1962 – G. Frege. Sinn und Bedeutung // Funktion, Begriff, Bedeutung. Goettingen, 1962.
- Lagerwerf 1998 – L. Lagerwerf. Causal connectives have presuppositions: Effects on coherence and discourse structure. The Hague, 1998.
- Sellars 1954 – W. Sellars. Presupposing // Philosophical review. 1954. V. 63. № 2.
- Stalnaker 1973 – R.S. Stalnaker. Presuppositions // Journal of philosophical logic. 1973. V. 2.
- Tomlins 1987 – R.S. Tomlins (ed.) Coherence and grounding in discourse. Amsterdam; Philadelphia, 1987.
- Yokoyama 1986 – O.T. Yokoyama. Discourse and word order. Amsterdam, 1986.

© 2008 г. А. В. ЗЕЛЕНИН

ТИПОЛОГИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЭМИГРАНТСКОЙ ПРЕССЕ (1919–1939)

В статье анализируются теоретические и практические вопросы лексических заимствований на обширном материале русской эмигрантской прессы первой «волны». Предлагается тематическая (идеографическая) классификация, обсуждаются способы ввода лексических заимствований, рассматриваются типы так называемых «ложных друзей» (*faux-amis*).

Объект анализа в статье – эмигрантская пресса, что естественным образом акцентирует момент как непосредственного контактирования русского языка с речевой материей страны проживания эмигрантов, так и возможного дистантного влияния других языков¹. Практически неизбежным (если отвлечься от особых режимов сосуществования языков и языковых коллективов, например, замкнутой религиозной группы, проживающей на иноязычной территории) становится и заимствование из языка А (доминантного или доминантных, если их несколько) в язык В (миноритарный, анклавный). Русскую эмигрантскую прессу 1919–1939 гг. никак нельзя характеризовать как самодостаточную, концентрирующуюся только на своих внутренних (эмигрантских, российских/советских) проблемах, напротив – она достаточно внимательно следила и за событиями как в масштабах региона, так и мира в целом. На лексическом уровне это проявлялось во включении в речевую практику эмигрантов элементов иностранных языков как «осколков» чужой/другой культуры, жизни, быта. Поэтому изучение заимствований представляет собой комплексную исследовательскую процедуру, в которой тесно сплетены как собственно лингвистические аспекты (разные уровни языкового контактирования), так и экстралингвистические (культурные, политические, военные и др.).

ЗАИМСТВОВАНИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОСЫЛКИ

В лингвистической литературе нет единства в понимании термина «заимствование», поскольку в него вкладывается зачастую содержание, определяемое задачами и методологией конкретного исследования. Так, У. Вайнрайх, один из основоположников контактологической лингвистики, или лингвистики языковых контактов (*contact linguistics*), считал заимствование (*borrowing, transfer*) начальной стадией интерференции при билингвизме [Вайнрайх 1979]. В данном случае заимствование выступает 1) как перенос языковых элементов (слов, морфем, фразем) одной языковой системы в другую, в результате чего происходит 2) межъязыковое отождествление элементов двух языков и языковое смешение (*mixing*), языковые отклонения (*deviations*) в речи билингва². Это

¹ «Потребности общения заставляют говорящих на одном языке вступать в непосредственный или опосредованный контакт с говорящими на соседних или культурно доминирующих языках» [Сепир 1993: 173].

² В настоящее время в теории билингвизма существует несколько концепций интерференции. Результат языкового и когнитивного взаимодействия в речи билингва контактирующих языков (интерференция) бывает отрицательный и положительный. Именно с исследования отрицательного воздействия доминирующего языка, порождающего эксцессы языковых отклонений во втором языке индивида, началось изучение данной проблематики в 50-е годы XX в. Литература по данной теме весьма обширна, укажем некоторые работы [Cummins 1979; Fishman 1985; Blanc 2000].

широкое понимание заимствования как процесса, интегрированного в речевую практику индивида, характеризующуюся явлениями интерференции. Широкого понимания данного термина придерживается, в частности, и один из ведущих отечественных специалистов по теории языковых заимствований в русском языке Л. П. Крысин: «Представляется целесообразным называть заимствованием **процесс перемещения** [выделено мной. – А.З.] различных элементов из одного языка в другой» [Крысин 1968: 18]; интерпретация заимствования именно как **синхронического процесса**, более релевантного и существенного для исследования, акцентируется также в работах Ш. Поплак, М. Мичан, Д. Санкофф, К. Миллера и др. [Poplack et al. 1988; Meechan, Poplack 1985]. В узком смысле слова заимствование – это инкорпорированные³ иноязычные элементы в язык некоторой группы говорящих [Thomason, Kaufman 1988: 37] или перенесенные из одного языка в другой «субстанциональные элементы»: морфемы, слова, фразеологизмы [Bybee et al. 1994: 1]; итак, заимствование предстает как материальный, конкретный результат языковых контактов на фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом уровнях (*established loanword*). Предложены и языковые маркеры степени освоенности заимствования (в узком смысле термина) в языке [Lehman 1962: 213]; критическое обсуждение их дано в [Крысин 1968: 12–16, 35]; см. также [Heien 1984: 84].

Изучая заимствования в речи эмигрантов третьей волны в США, Д. Эндрюс задался справедливым и методологически важным вопросом: можно ли постулировать изоморфизм⁴ между процессами (и результатами) заимствования в языке метрополии и в речевой практике эмигрантов [Andrews 1999]? С этой целью он решил проверить успешность применения исследовательской процедуры, положенной в основание лингвистической теории заимствований, разработанной Л.П. Крысиным [Крысин 1968], применительно к узусу русскоязычных эмигрантов в США (так называемая третья волна эмиграции, 60–70-е годы XX в.). Д. Эндрюс вычленил из совокупности ключевых аспектов, на которых базировалось исследование Л.П. Крысина⁵, следующие, релевантные для изучения языка эмигрантов:

³ Термин «инкорпорирование» многозначный, и его значение различается в разных областях лингвистики. Например, в типологической лингвистике он обозначает конструктивную особенность грамматического строя, структурирующую высказывание как некое морфологическое целое либо в процессе полной инкорпорации (грамматическая единица, напоминающая по форме слово, в семантическом плане соответствующая предложению), либо частичной инкорпорации (грамматическая единица словного уровня, семантически равная словосочетанию). Диффузия слова и синтаксических единиц – главная типологическая черта инкорпорированных языков. В этом случае термин «инкорпорация» имеет значение «включение в свой состав» [Baker 1988: 2003]. Следовательно, в рамках типологического языкознания об инкорпорировании в русском языке говорить не приходится [КСЛТ 1995: 43]. С другой стороны, в теориях билингвизма и переключения кодов (*code-switching*) инкорпорирование на структурно-грамматическом уровне рассматривается в процессе влияния на язык А другого (В) или других (С, D, E) языков. В частности, один из ведущих специалистов в области теории перевода Мона Бейкер рассматривает вопросы инкорпорирования в следующем градуальном ряду уровней: а) на уровне слова (*at word*); б) на сверхсловном уровне (*above word*); в) на уровне грамматики (*grammar*); г) на уровне тематической структуры (*thematic structure*); д) на уровне внутритекстового единства (*cohesion*); е) на прагматическом уровне (*pragmatic levels*) [Baker 1992]. Причем Бейкер отмечает в процессе коммуникации особую роль двух последних уровней, нацеленных именно на решение коммуникативных задач [Ibid.: 217]. Мы ограничиваемся анализом инкорпорации на субуровне языковых элементов и на макроуровне речевых практик эмигрантов.

⁴ В 1980-е годы такие идеи высказывались, в частности, Х. Ольмстедом [Olmsted 1986].

⁵ У Л.П. Крысина подходы к изучению заимствований следующие: 1) что (какое языковое явление) можно назвать заимствованием; 2) причины заимствования; 3) виды или типы мигрирующих элементов; 4) виды или типы иноязычных слов как наиболее часто и регулярно заимствуемых языковых единиц; 5) освоение слова в заимствующем языке и разные стороны этого освоения; 6) признаки освоения иноязычного слова, позволяющие считать его заимствованным (т.е. определяющие свойства заимствованного слова, и, в первую очередь, принцип его отграничения от иноязычного слова) [Крысин 1968: 10].

- 1) каковы причины заимствования;
- 2) какие типы иноязычных слов чаще всего и наиболее регулярно заимствуются;
- 3) как иноязычные слова ассимилируются и как проходят процессы ассимиляции;
- 4) какие различия существуют между заимствованным и иноязычным словом [Andrews 1999: 14].

Оказалось, что в эмигрантском узусе английские заимствования, «пропущенные» через критерии Л.П. Крысина, представляют собой крайне диверсифицированный и далеко не такой гомогенный феномен. Фонетически многие из этих слов ближе к англоамериканским прототипам, их письменная форма может сохранять связь с латинской графической протоформой (например, чаще используется графический варваризм *tax forms* «налоговая декларация», но не *таксовые формы* во избежание потенциальной омонимии со словом *такси*). Другие слова, напр., *кеш* (< *cash* «наличные деньги») в речи эмигрантов довольно широко распространены; ср. *платить кешью* (жен. род) или *кешем* (муж. род), *окешить* (по данным М. Полинской), *окешевать* (глагольный дериват: эту глагольную форму подсказали автору сами эмигранты, однако в их речевой практике данный глагол исследователю не встретился). Д. Эндрюс все-таки сомневается в праве признать их ассимилированными (усвоенными и освоеными) заимствованиями – так ли они узуальны в эмигрантской речи? Третью группу слов (например, *викенд*, дериват *викендовый*) следует отнести скорее к ассимилированным заимствованиям (согласно критериям Крысина) и по фонетическим, и по деривационным, и по узуальным критериям [Andrews 1999: 14–17].

Проблема освоения и инкорпорирования заимствований в речь тесно связана с теорией переключения языковых кодов (*code switching*). Переключение кодов может происходить на границе предложений (*intersentential code switching*) и внутри предложений (*intrasentential code switching*). Внутри предложения переключение кодов может быть типизировано следующим образом: а) вставка (*insertion*), т.е. использование элемента другого языка как одного из компонентов в первом языке; б) мена языковых кодов (*alternation*), т.е. переключение на другой язык или грамматическую конструкцию в процессе речепорождения; в) конгруэнтная лексикализация (*congruent lexicalization*), т.е. объединение лексических элементов обоих языков в одном предложении [Muysken 2000]. Один язык является базовым (*base*), основным (*main*), в который и происходит внедрение, «вставка» (*insertion*) элементов из другого языка/других языков (*embedded*). В этом случае основной, матричный язык (*matrix language*) играет самую важную роль в определении таких феноменов, как порядок слов и появление грамматических (иначе – обусловленных языковой системой) морфем. Если на заре зарождения билингвизма Э. Хауген в мена языковых кодов усматривал отношения симметричности или альтернативности языковых элементов⁶, то в последующие годы стало ясно, что языковая картина переключения кодов более сложна. Например, Майерс-Скоттон исходит из той посылки (эти идеи высказывались еще в XIX в.), согласно которой двуязычный индивид обычно не имеет «полного» (в абсолютном смысле, т.е. с позиций монолингвального сознания) доступа к обеим грамматикам (своего и чужого языка) и его речевая морфосинтаксическая рамка «получена более чем из одного исходного языка» [Myers-Scotton 2002: 105]. Этот доступ регламентируется и ограничивается многими факторами: семейными традициями, полученным образованием, степенью толерантности к чужому языку/чужим языкам в обществе, личными склонностями индивида и т.д. При билингвальном речевом поведении могут появляться «вставки» и прочие лексико-грамматические новации. Однако какова природа этих «вставок» и отличаются ли они от так называемых сиюминутных «заим-

⁶ В частности, на фонологическом уровне он разделял два процесса: перенос, «импорт» (*importation*) языкового элемента и замещение, замену (*substitution*) им в другом языке.

ствований» (*nonce borrowing*)⁷? По мнению Майерс-Скоттон, Ш. Поплак, Д. Санкофф и др. надежных методологических критериев отграничения этих двух феноменов друг от друга в лингвистике пока выработать не удалось; впрочем, очевидно, что окказиональные (сиюминутные) заимствования достаточно легко наблюдаемы и описываемы и необходимым условием предполагают факт билингвизма [Myers-Scotton 1993; Sankoff et al. 1990].

Э. Хауген, анализируя лексические заимствования в речи норвежцев, проживающих в Америке (США), разделил заимствованные лексемы на два класса: необходимые (*necessary*) и излишние, ненужные (*unnecessary*), использование которых избыточно и не имеет под собой достаточных лексико-семантических оснований, поскольку у таких неоправданных заимствований есть эквиваленты в родном языке индивида [Haugen 1953]. В современной типологии лексических заимствований принято говорить о так называемых стратегических заимствованиях (*strategic loanwords*) [Odlin 1989: 146; Hutz 2004: 196] или лексических компенсаторах (*lexical «repair»*) [Jaspaert, Kroon 1992: 139] на основании коммуникативных тактик говорящего. Лексические проблемы для билингва возникают вследствие дистанции между тем, что он хочет сказать, его коммуникативными интенциями, и тем, как он может это выразить. Для того чтобы преодолеть лакуны между своими коммуникативными нуждами и ограниченными коммуникативными ресурсами, говорящий и может прибегать к помощи заимствований. В этом случае говорящий предполагает или, по крайней мере, питает надежду, что слушающий (реципиент) или читатель знает и/или поймет значение заимствованного слова, иначе – говорящий апеллирует к языковой компетенции слушателя/читателя, предполагая сходство их лингвокультурной базы. К стратегическим заимствованиям говорящий также может прибегать тогда, когда он/она чувствует неуверенность в своем знании точного значения той или иной лексемы, особенно в том случае, если соответствующего понятия просто не существовало в период отъезда говорящего/говорящей из страны.

Типология заимствованных слов может базироваться и на диахроническом принципе, позволяющем разграничивать разные типы иноязычных лексем и анализировать динамику их освоения в языке-реципиенте. В частности, при анализе англицизмов в русском языке именно диахронический критерий послужил исходной базой классификации в известной книге В.М. Аристовой. Кратко представим предложенную автором типологию процессов заимствования:

1. **П р о н и к н о в е н и е** иноязычного элемента в язык-реципиент. Формальные и содержательные признаки: иноязычная графическая форма; дублетность; грамматическая и словообразовательная неупорядоченность; моносемность; синтагматическая ограниченность.
2. **З а и м с т в о в а н и е**. Признаки: прочная связь с языком-донором; грамматическая и словообразовательная стабилизированность; речевая (языковая) регулярность; включение в словообразовательные сети языка-рецептора.

⁷ Предлагалось именовать языковые элементы, спонтанно проникающие в речь индивида, сиюминутными, одномоментными заимствованиями (*nonce borrowing*) [Weinreich 1953; Sankoff et al. 1990; Poplack, Meechan 1998]. В теории Ш. Поплак, рассматривающей варианты переключения кодов, данный тип располагается среди следующих моделей: а) переключение кодов в аспекте эквивалентности языков (*code-switching under equivalence*); б) сиюминутные заимствования (*(nonce) borrowing*); в) компонентная вставка (*constituent insertion*); г) пограничный «переключатель» (*flagged switching*). В таком случае случайными заимствованиями считаются такие лексические единицы (*lexical item*) или связанные морфемы, которые морфологически или синтаксически интегрированы в первый, основной (*base*) язык, но не обнаруживают, не проявляют фонологической интеграции в систему языка-реципиента. От заимствований (*borrowings*) случайные заимствования отличаются тем, что: а) не удовлетворяют критерию частотности (*criteria of frequency*); б) степени освоенности (*degree of acceptance*).

3. У к о р е н е н и е. Признаки: утрата (забвение) этимологической связи с языком-донором; семантическая автономность; семантическая деривация, возможность идиоматического употребления; семантическая дифференциация в синонимическом ряду; узуализация; деривационная активность [Аристова 1978].

В типологии заимствований, разработанной Л.П. Крысиным, участвуют те же компоненты, что и в классификации В.М. Аристовой, но с важным социолингвистическим уточнением: одно из обязательных условий признания иностранного слова заимствованным – его использование в разных (как минимум двух) жанрах речи или в терминологическом аппарате науки [Крысин 1968: 35].

В принципе, принятое в русистике различие иноязычных слов как: 1) заимствованных (принятых, ассимилированных системой языка); 2) экзотизмов (иноязычных включений, определяемых изобразительно-художественными особенностями нарративного повествования); 3) иноязычных вкраплений (иноязычных словесных вставок с детализирующей или жанрово-стилистической целью) [Крысин 1968; Heien 1984], разработано с опорой именно на диахронический принцип анализа. Как показали Х. Ольмстед и Д. Эндрюс, такая типология требует значительных уточнений и корректировок применительно к языку эмиграции. Небольшой, но выразительный пример Д. Эндрюса: уже упомянутое *уикенд* (*уик-энд*, *викенд*) в русском языке метрополии, появившись в некоторых жанрах письменного языка в 60-е годы XX в., до сих пор проходит этап адаптации, в то время как у русских эмигрантов США слово было давно полностью ассимилировано и интегрировано в их речевую практику [Andrews 1999: 11]. Таким образом, если для русского языка метрополии *уик-энд* (*уикенд*, *викенд*) остается экзотизмом (варваризмом), то для русскоязычного американского узуса оно – уже в ранге освоенного, инкорпорированного заимствования. Эмигрантский узус сокращает процессы включения и освоения иноязычных слов, фразем в речь, часто растянутые в языке метрополии на диахронической оси. Исследователи эмигрантского узуса справедливо отмечают объективную сложность интерпретации и квалификации заимствованных элементов. Эмигранты могут быстро инкорпорировать иноязычные элементы в свою письменную практику, осваивать и семантически, и деривационно, тем самым нормализуя, приспособляя их к русской морфологической системе и включая в свой узус: в речи русских американцев *лайсенз* (брит. *licence*, амер. *license* «лицензия, официальное разрешение на занятие какой-л. деятельностью»), *бедрум* (англ. *bedroom* «комната») – вовсе не иноязычные вкрапления или экзотизмы (с точки зрения русского языка метрополии), а именно заимствованные слова [Васянина 2001]. Разбросанность эмигрантов по разным континентам, включенность в жизнь той или иной страны определяет и типологию заимствований: например, упомянутые американизмы будут расцениваться уже не как заимствования, а как вкрапления (экзотизмы) в речи русскоязычных, проживающих в Европе. Таким образом, построить общую и непротиворечивую типологию иноязычных элементов в речи всей русской эмиграции вряд ли возможно. Совсем недавно высказывалось такое осторожно-скептическое мнение, что «создание коллективного лингвистического портрета русских американцев – невыполнимая задача» [Васянина 2001: 98], однако данные слова, на наш взгляд, применимы не только к речевой практике русских американцев, но и вообще – русскому языку в эмиграции; сходное суждение высказано также в [Мечковская 2004].

Именно поэтому использование понятий «матричный» (*matrix*) и «включенный» (*embedded*) языки при изучении эмигрантского узуса нам представляется чрезвычайно важным⁸, но еще, к сожалению, недостаточно или мало освоенным в российской лингвистической эмигрантологии и вследствие этого практически нерелевантным в исследова-

⁸ Одними из исследователей, наиболее последовательно и аргументированно проводящих эту линию, являются, в частности, Е.Ю. Протасова, Л. Найдич, Х. Пфандль [Протасова 2000; 2004; Найдич 2002; Naiditch 2004; Пфандль 1994; Pfandl 1997].

тельских процедурах. Ср. справедливое замечание: «Заимствования в русский язык, происходящие за пределами России, не всегда следуют тем же правилам, что заимствования из иных языков во внутророссийском употреблении. <...> ...приходится исходить уже не только из норм русского языка, но также из матрицы доминирующего в окружении иного языка, из образа мыслей и стиля существования, отличающихся от российских» [Протасова 2000: 59].

Вместе с тем, разные языки оказывают неодинаковое воздействие на процессы и количество заимствований в речевом узусе русскоязычных эмигрантов: русские, выехавшие из России сразу после революции и проживающие в Италии, США, используют преимущественно французские слова, на втором месте – английские вкрапления; русские, живущие в Италии, обращаются к итальянским заимствованиям достаточно редко. По наблюдениям Е.А. Земской, «среди живущих в Германии эмигрантов немецкий язык распространен более, чем итальянский – среди живущих в Италии» [ЯРЗ 2001: 120]. В Китае «средством общения внутри этнических групп, безусловно, оставался родной [русский. – А.З.] язык», причем «большая часть русских, обосновавшихся в Харбине, по-китайски не говорила», так что «заметного взаимовлияния языковых систем русского и китайского языков на фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровне не было» [Оглезнева 2004: 45–47]. Автор объясняет это 1) лингвистическими мотивами («типологическое различие между языками») и 2) культурно-доминантными: китайский язык не обладал статусом престижного (со ссылкой на высказывание А. Мартинс⁹) [Там же]. Другой пример. Хотя русский и финский языки относятся к разным языковым группам и следовало бы предполагать гораздо меньшее количество заимствований, чем, к примеру, в контактировании русского и итальянского (оба – индоевропейские языки), тем не менее лингвокультурная ситуация в Финляндии характеризуется обилием финских (а также английских, немецких, шведских) вкраплений в речь русских эмигрантов первой волны, живущих в Финляндии [Жанр 2004 (особенно статьи Е.А. Земской, А.В. Зеленина); Протасова 2004]. Пример Е.А. Земской с итальянским языком, на первый взгляд, типологически более близок китайско-русской языковой ситуации, чем, например, немецко-русским, англо(американско)-русским, франко-русским, финско-русским языковым контактам, однако совершенно очевидно, что для теоретических и практических выводов о качественном и количественном составе заимствований в русском эмигрантском узусе требуется проведение лонгитюдных исследований.

Какова их цель и практическая польза? Во-первых, данные собираются многократно, в разные моменты времени, и сравниваются (агрегируются) с родственными массивами данных. Во-вторых, лонгитюдные замеры позволяют проследивать то или иное явление в разных плоскостях:

- а) в аспекте глубинного исследования динамики языковой компетенции респондентов именно как представителей некой данной социальной группы (панельные исследования);
- б) в аспекте регулярных опросов реципиентов для выяснения того или иного конкретного языкового явления (трендовые исследования);
- в) в аспекте определенного социального, возрастного, образовательного и т.п. среза (когортные исследования).

Все эти типы и методы активно используются в социолингвистике и в билингвальных исследованиях на Западе; в качестве одного из примеров можно назвать [Field 2002], особенно глава 5 «Borrowing patterns in modern Mexico», где предложены конкретные методики лонгитюда. Российским лингвистам-эмигрантологам еще предстоит заняться такой работой.

⁹ «Язык одолевает своих соперников не в силу каких-то своих внутренних свойств, а потому, что носители его являются более воинственными, фанатичными, культурными, предприимчивыми» [Мартинс 1999: 43].

Сфера лексического взаимодействия языков и, вследствие этого, проникновения иноязычных элементов из одного языка в другой (из языка-донора в язык-реципиент), – одна из традиционно привлекающих внимание исследователей тема. И это неудивительно, так как на лексическом уровне быстрое и естественнее всего заметны инновации в лексиконе эмигрантов. Люди, переселившиеся из одной страны в другую, сталкиваются с иными культурными канонами, традициями и манерами поведения, иной кухней, иными ментальными установками и проч.

Достаточно интенсивный процесс вхождения и использования иноязычных лексических элементов в русский язык был характерен для начала XX века, особенно в сфере публицистики и литературы [Лексика 1981]. По наблюдениям Л.П. Крысина, в 20-е годы заимствований в русский язык пришло вообще немного¹⁰. Этот список существенно сокращает Л.М. Грановская, относя некоторые из них к более ранней эпохе [Грановская 1978; 1983].

Изучая англо-американские заимствования в языке русской эмигрантской прессы в США, М. Бенсон классифицировал их использование следующим образом:

- 1) ситуационные, окказиональные заимствованные слова, диктуемые только иноязычным окружением (в его терминологии, это избыточные, излишние заимствования, unnecessary), например: *билдинг* – здание, *диск* – пластинка, *банд* – оркестр, *аппартмент* [sic] – квартира, *капентер* – столяр, *нёрс* – (медицинская) сестра, *офис* – контора и др.;
- 2) новые термины и понятия: *ча-ча-ча* (название танца) < *cha-cha-cha*, *самба* < *samba* (танец), *фризер* < *freezer* «морозильник», *мотель* < *motel*, *супермаркет* < *supermarket*, *торговая марка* < *trade mark*, *тостер* < *toaster*, *викенд* < *weekend*, *week-end* и др.;
- 3) заимствования, занимающие срединное положение между первыми двумя группами; это слова, которым трудно подобрать точные семантико-прагматические синонимы: *дача* – это то же, что *hungalow*? *работа* или *место* – то же, что *job*? *средняя школа* – то же, что *high school*? *хозяин* – то же, что *boss*? [Benson 1957: 261].

Классификация М. Бенсона свидетельствует о тесном переплетении при языковых контактах лексических аспектов заимствования с психолингвистическими, когнитивными механизмами. Например, сформированная Бенсоном так называемая группа «избыточных» заимствований выглядит далеко не безупречной с позиций русскоговорящего. С точки зрения денотативной номинации здесь все более или менее ясно: денотат один и тот же, только языковые обозначения отличаются, но вот с позиций прагматико-сигнификативной или ассоциативно-психологической структуры слова эта «избыточность» предстает в другом свете и едва ли может однозначно и безоговорочно отвергаться. Американское слово и понятие *apartment* имеет иной культурный ореол, иной прагматический «вес», чем слово *квартира* (особенно в зданиях, построенных в позднесоветское время, например в «хрущевках»); *нёрс* может отличаться от русской (советской) медсестры многими повседневными, статусными, даже профессиональными качествами; *офис* – это, конечно, контора, даже функции могут совпадать, но все-таки американское понятие функционирует в ином ассоциативном поле, нежели русский денотат. Сопоставления можно продолжать. Несовпадение прагматического потенциала русского и иноязычного лексического соответствия в языковом сознании наивного говорящего (naïve speaker) вызывает у многих индивидов естественное желание инкорпорировать иностранные слова в свою речь, поскольку они (слова) якобы точнее называют ту или иную реалию, чем русское обозначение; много выразительных примеров такого рода заимствований приведено, например, в [Andrews 1999; Протасова 2000; 2004]. Как будет

¹⁰ «Преобладающим в этот период был процесс освоения говорящими массами иноязычной лексики, заимствованной еще в дореволюционное время (главным образом – в самом конце XIX – в первое десятилетие XX в.), употреблявшейся в социально или профессионально замкнутых сферах. Заимствование новых слов было незначительным» [Крысин 1968: 83–84].

показано ниже, этот когнитивно-языковой феномен – интенсивный поиск эмигрантами семантических нюансов между русским и иноязычными обозначениями – многое объясняет в обилии лексических варваризмов в языке публицистики.

Уточним наше понимание варваризмов и их место в методологическом и терминологическом аппарате нашего исследования. Варваризмами считают такие слова, обороты речи, которые более или менее регулярно употребляются в языке-реципиенте, однако они не до конца освоены, сохраняют признаки иноязычности и стоят особняком в лексико-семантической системе. Их использование в языке метрополии обычно диктуется несколькими причинами разного лингвистического ранга:

- 1) номинативной потребностью: адекватность передачи иноязычной реалии при помощи слова (фразы) языка-донора;
- 2) «языковым вкусом времени»: престижность или мода на иноязычные элементы среди говорящих (социальной, политической, культурной группы) в ту или иную эпоху;
- 3) личностным психическим складом: нежелание, лень индивида подобрать эквивалент (если таковой существует) на родном языке;
- 4) художественными целями (обычно в литературе с характеризующей функцией).

В дальнейшем мы будем широко использовать данный термин как синонимичный термину «лексическое заимствование»; объективные трудности разграничения понятий «лексическое заимствование», «варваризм», «экзотизм» применительно к эмигрантскому языку уже отмечались исследователями. Указанное выше терминологическое разграничение основано на материале языка метрополии и связано с процессами вхождения иноязычного слова в лексическую систему языка в той или иной функции, на тех или иных правах ([Шахрай 1961; Габинский 1961; Брагина 1981; Егорова 1983; Баш 1989; Кимягарова 1989] и др.). В диаспоре проблема функционирования иноязычных элементов решается намного сложнее: например, многие финские иноязычные вкрапления (варваризмы) будут непонятны русским, живущим в Европе, Австралии, Канаде или Америке. Неизбежно приходится оперировать некоторыми теоретическими понятиями в рамках регионального варианта русского языка. Критерии начального этапа вхождения (варваризма) на пути к укоренению иноязычного (заимствованного) слова в лексиконе языка-рецептора рассмотрены в [Арапова 1989].

Описывая язык третьей волны эмиграции, Д. Эндрюс предложил тематическую систематизацию англо-американских заимствований, проникших в речь русскоязычных. Его классификация такова: 1) дом (квартира), окружающий ландшафт (Home/Apartment/Environns); 2) трудовая активность, занятость (Employment); 3) автомобили (the Automobile); 4) кухня (Cuisine); 5) повседневная жизнь (Daily Life); 6) академический, университетский мир (Academe) [Andrews 1999: гл. 2]. Это могут быть абсолютно новые денотаты, отсутствовавшие в прежнем (доэмиграционном, доотъездном) практическом (и языковом) опыте русскоязычных, и в таком случае можно говорить о языковом заполнении референциальных лакун. Это могут быть реалии не обязательно новые, однако функционирующие в иной референциальной сетке, в иной системе жизненных обстоятельств, представлений и понятий; это часто провоцирует у эмигрантов замещение русских лексических номинаций англо-американскими варваризмами.

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЭМИГРАНТСКОЙ ПРЕССЕ

Тематическая (идеографическая) классификация варваризмов важна и показательна и для нашего корпуса, поскольку позволяет маркировать те референциальные зоны в эмигрантском дискурсе, которые оказывались наиболее проницаемы для заимствований.

1. Сфера занятий, профессий, должностей. Новые заимствования-варваризмы для номинации иностранных высоких (высших) должностных лиц широко использовались в прессе: *министр-маршал*, *министр-президент*, *кайзер* (нем. *Kaiser* «император»), *юстиц-рат* = *юстицрат* (нем. *Justizrat* «советник юстиции»). Сюда же относятся старые

заимствования, существовавшие в русском дореволюционном узусе в качестве экзотизмов: *констэбль* (констсбль), *министр-президент*, *премьер-министр*, *монсиньор* (итал. *monsignore* «ваша светлость, ваше высочество, ваше преосвященство (обычно при обращении)»), *доейн* = *дуайен* (франц. *doyen* «глава дипломатического корпуса») и др., но в эмигрантском речевом обиходе переместившиеся из разряда пассивной лексики ближе к центру публицистического лексикона – инокультурное окружение активизировало употребление данных понятий.

После ухода *монсиньора* Пачелли *дойеном* берлинского дипломатического корпуса должен стать Крестинский как старейший дипломат в Берлине (Сегодня. 1930. 2 янв. № 2);

В четверг был произведен обыск в квартире нотариуса *юстиц-рата* Вертгауера... (Дни. 1925. 14 февр. № 691);

Министр-президент Г. Целмин намерен на будущей неделе созвать совещание представителей коалиционных фракций для обсуждения нового бюджета, принятого кабинетом министров (Сегодня. 1930. 8 янв. № 8);

...местный *констэбль* обнаружил у хуторянина А. Пайтса две приспособленные для самогона бочки... (Вести дня. 1939. 28 дек. № 295).

Русские, живущие в США и Латвии, продолжали именовать градоначальника русским обозначением *городской голова*¹¹, хотя встречается и старос заимствование *мер* (= *мэр*):

На праздник будут приглашены губернатор..., *городской голова* г-н Буртон... (Рассвет. 1937. 11 февр. № 35);

На этом митинге говорили Парсонс, Шлис и Фильден. На митинге присутствовал тогдашний *городской голова* г. Чикаго (Анархич. вестник. 1923. № 5–6);

В заключении заседания *городской голова* Н. Грюнталь обратился к гласным со словами благодарности за их внимательную, безкорыстную [sic] работу... (Вести дня. 1939. 28 дек. № 295);

...*мэр* города Лангвилля... (Возрождение. 1935. 1 янв. № 3499).

Новизну термина *генерал-директор* (нем. *Generaldirektor* «генеральный директор») в эмигрантском узусе сигнализирует его «чистос» заимствование, морфологическая адаптация к русской морфологии отсутствует (ср. современную форму *генеральный директор*). Кроме того, сомнения эмигрантов в правомерности именования советского руководителя промышленности западным обозначением *генерал-директор* демонстрируют кавычки: функции руководителя совпадают на Западе и в СССР (денотаты близки или даже идентичны), однако для эмигрантов существенным оказывается прагматический (политико-идеологический) компонент смысловой структуры слова.

Гов. Жуков играет руководящую роль в советской радио-индустрии [sic]. <...> «*Генерал-директор*» Жуков собирается посетить ряд германских радио-станций. <...> Советский «*генерал-директор*» выразил надежду, что совместная работа русских и германских радио-техников [sic] приведет к дальнейшему преуспеянию в этой области (Руль. 1930. 25 марта. № 2836).

Эмигранты быстро инкорпорировали варваризм *функционер*¹² (нем. *Funktionär* «должностное лицо, (государственный) служащий; партийный, профсоюзный работ-

¹¹ В дореволюционной России председатель городской думы и городской управы.

¹² Есть в СУ с хронологической и ограничительной пометой: «*Функционер*, -а, м. (нов. загр.). Лицо, выполняющее какие-н.[нибудь] определенные функции в общественной организации, аппарате». В русский советский узус это слово не на правах экзотизма, но уже заимствования вошло спустя несколько десятилетий.

ник; активист» – в свою очередь из франц. *fonctionnaire*) для наименования руководящих работников эмигрантских партий, движений, групп.

...в РОВС-е¹³ всякое высокое назначение сопряжено с пожизненной индульгенцией на прощение грехов. Поэтому мы и надеяться не можем, чтобы санитарные мероприятия добрались до высоких «функционалов»... (Сигнал. 1938. 1 окт. № 40).

В эмигрантской прессе виден значительный рост иноязычных обозначений рядовых, рабочих профессий, которыми пытались овладеть эмигранты; очень часто эти названия даются в транслитерации, нагромождение их создает впечатление макаронического кособязычия, однако за таким способом презентации профессиональных наименований стоят достаточно суровые условия эмигрантской жизни. Приведем характерные и выразительные объявления о приеме на работу, изобилующие варваризмами-регионализмами (предполагалось, что эти слова понятны людям, имеющим соответствующие профессии, и поэтому они помещались в тексте объявления без пояснений):

Требуются рабочие:

1. *шарпантье ан фер*
2. два хороших столяра (*эбенист*)
3. *ажюстеры и работеры*
4. токари (*турнер-деколтер*)
5. фрезеры (*фрезер-утийер*)
6. *ажюстеры*, имеющие практику на машин-утий, *фондеры* и *кулеры* (фондер де пломб э кулер де гросс пляк) [объявление в газете] (Дни. 1926. 20 нояб. № 1164);

Требуются рабочие:

1. токари и *ректифиеры* (*турнер де фабрикасьон э ректифиер*)
2. *ажюстеры*, токари, *фрезеры* и *утийеры*
3. токари (*турнер-профессиональ*)
4. *ажюстеры* (*ажюстер-профессиональ*) <...>
10. токари, *реглеры*, *фрезеры*, хорошис *персеры* и *ажюстеры-монтеры* (*турнер* вертика э параллель, *реглер де тур*, *ажюстер-монтер д'антретиен*)
11. токари и *ажюстеры* (*турнер-утийер э ажюстер-монтер* пур л'антретиен дэ Блисс)
12. токари и *утийоры* (*утийор ан матрикс д'эстампаж*)
13. *маневры* в каменоломни [объявление в газете] (Дни. 1926. 17 нояб. № 1161)¹⁴.

Среди приведенного обширного списка рабочих профессий встречаются только два русских узувальных обозначения: *слесарь* (давно обрусевший германизм *Schlosser*), токарь, которые, впрочем, тут же конкретизируются французским соответствием (либо однословным термином, либо аналитической дескрипцией); в отличие от адаптированного в русском языке метрополии наименования *фрезеровщик*, в эмигрантском узусе оно встречается как чистое заимствование *фрезер*¹⁵. Все прочие названия – транслитерация французских терминов-профессионализмов, более знакомых, узнаваемых эмигрантами именно в иноязычной форме. Газета ориентируется на языковую компетенцию, запросы своих читателей и прибегает к такой усложненной (транслитерированной) системе записи понятий и реалий. Иноязычные названия дают читателю газеты более точную

¹³ РОВС – Русский общевоинский союз.

¹⁴ Французские прототипы: *charpentier en fer* – арматурщик; *ébéniste* – 1) краснодеревщик, 2) столяр; *régleur* – наладчик; *ajusteur* – наладчик; *raboteur* – строгальщик; *tourneur* – токарь; *fraiseur* – фрезеровщик; *outilleur* – наладчик, механик; *fondeur* – литейщик; *colleur* – наклейщик, расклейщик; *rectifier* – шлифовщик; *régleur* – наладчик; *perceur* – сверловщик; *monteur* – монтажник, сборщик; *manœuvre* – разнорабочий, подручный.

¹⁵ В СУ *фрезер* дается как полный вариант слова *фреза* только для обозначения технической детали: одушевленного существительного (*nomen agentis*), в отличие от эмигрантского узуса, не отмечается.

информацию о профессии, нежели русские наименования. Таким образом, семантические лакуны (в частности, при наименовании профессий), заполняемые варваризмами, – одна из наиболее вероятных зон, через которую проникали иноязычные лексические элементы в русский эмигрантский узус. Ср.:

Эмигранты работают в Шанхае на самых разнообразных поприщах, начиная от «вочманов» (вооруженных сторожей при конторах и банках) и «бодигаров» (телохранителей богатых китайцев) и кончая служащими иностранной полиции и даже военными «волонтерами», образующими русскую роту шанхайского волонтерского корпуса, предназначенного для охраны города (Сегодня. 1930. 7 янв. № 7).

Те названия профессий, которые приходят в Европу из других частей мирового рассеяния русских, обычно сопровождаются текстовыми ремарками: *бодигар* (англ. *body-guard* «личная охрана, телохранитель»), *вочман* (англ. *watchman* «ночной сторож»). Использование иноязычных профессиональных наименований, имеющих русские лексические эквиваленты, в европейской газете чаще выполняло стилистическую и прагматическую функцию, маркируя необычные для европейского дискурса референты. Таким образом, одно и то же заимствование в языковой практике одних эмигрантов могло оказываться варваризмом, инкорпорированным в узус, у других – региональным (локальным) экзотизмом, не включенным в речевую ткань. В этом и заключается сложность квалификации заимствований и деление их на варваризмы и экзотизмы в языке диаспоры.

2. Лексические варваризмы, обозначающие общественно-политические, социальные, экономические реалии. В одних случаях варваризмы выполняют номинативную функцию, называя какие-либо территориально-государственные, конституционные термины, принятые в стране пребывания русских эмигрантов: *билль* (англ. *bill* «законопроект»), *гетто* (нем. *Getto*), *дискреционная власть* (ср. нем. *diskretionäre Gewalt* «дискреционная власть»¹⁶); *конвент* (в буржуазной Эстонии – объединение, союз, совет), *кресы*, *кресовый* (польск. *kresy* «окраинные восточные польские земли; часть территории Западной Украины и Белоруссии, относившаяся к Польше»), *ландсвер* «ополчение балтийских немцев и латышей-добровольцев»), *пресс-бюро* (нем. *Pressebüro*), *сетльмент*¹⁷ (англ. *settlement* «колония, поселение»), *староство* (польск. *starostwo* «административная единица в Польше»), *эзекутива* (вероятно, непосредственно из польск. *egzekutywa* «исполнительный комитет, исполнительная власть», хотя источник во франц. *exécutif* «исполнительный; исполнительная власть, исполнительный орган, комитет»), *юнион*, *юнионизированный* (англ. *union* «объединение, профсоюз»; *unionized* «объединенный»).

Ассистент садоводства и пчеловодства при Ирбоском сельскохозяйственном конвенте живет на станции Ирбоска (Вести дня. 1940. 13 февр. № 36);

...установлен следующий порядок выдачи нансеновских паспортов: бесподданные иностранцы в порядке известной постепенности будут вызываться в уездные и городские староства... (Руль. 1930. 25 марта. № 2836);

...губернатор Морфи заявил, что обе стороны – Дженерал Моторс¹⁸ и юниона – склонны к уступкам и находятся на пути к достижению соглашения (Рассвет. 1937. 11 февр. № 35);

¹⁶ Предоставленное законом главе государства, правительства или иному высшему должностному лицу право действовать по собственному усмотрению в определенных условиях (например, при чрезвычайном положении).

¹⁷ Есть в СУ с ярким идеологическим толкованием: *Сеттльмент* (сэ, мэ), -а, м. (полит., геогр.). В нек[ото]рых крупных городах Китая – часть территории, управляющаяся, в силу неравноправных империалистических договоров, независимо от китайских законов и властей.

¹⁸ Примечательно, что имя собственное сохраняет форму оригинала, оставаясь неизменяемым аналитическим словосочетанием, в то время как имя нарицательное юнион легко включается в русскую морфологическую систему.

Мы не говорим уже о той шумихе в левой печати как иностранной, так и, к стыду нашему, русской, которая поднята за последнее время вокруг вопроса о Балтийском *ландсвере* (Призыв. 1919. 5 (23) сент. № 46);

...Тибор Самули – чахоточный садист и грабитель из подонков венгерского *гетто*... (Сигнал. 1938. 15 сент. № 39);

...русские эмигранты хорошо себя зарекомендовали и на иностранном *сетльменте*, находящемся в руках англичан и американцев (Сегодня. 1930. 7 янв. № 7);

Партия конгресса объявила, что она будет бороться против новой конституции. Местные парламенты не согласились образовать местных правительств для отдельных провинций, требуя, чтобы английские губернаторы отказались добровольно от своей *дискреционной власти* (Меч. 1937. 11 апр. № 14);

«Работник» в № 356 помещает интервью с вице-премьером Тугуттом о *кресовых* делах. Положение на *кресах* – по мнению министра – особенно в отношении безопасности улучшилось... (За свободу. 1925. 1 янв. № 1 (1405));

Исполнительный комитет (*эксекютива*) III Интернационала требует немедленно специальных ассигнований для того, чтобы обеспечить за собой влияние на французские выборы 1928 года (Возрождение. 1927. 4 окт. № 854);

Член сионистской *эксекютивы* профессор З. Бродецкий приезжает в Ригу сегодня утром в 7 часов утра. В 10 часов утра у него состоится прием представителей сионистских партий и президиумов студенческих корпораций (Сегодня. 1930. 1 янв. № 1).

Другой тип заимствований – варваризмы с характеризующей интенцией, передающие специфические понятия, рожденные в том или ином языке и получившие широкое хождение в международной печати благодаря своему обобщенному, метафорическому значению: *унтерменши* (нем. *Untermensch* «неполноценный человек») ¹⁹, *аншлюс* (нем. *Anschluss* «присоединение: здесь – аннексия Австрии гитлеровской Германией»), *дуче* (итал. *duce* «вождь»), *фюрер* (нем. *Führer* «вождь, руководитель»), *наци* (нем. *Nazi* «нацист; фашист»). В перечне языков – поставщиков варваризмов, быстро проникавших в интернациональный публицистический лексикон 20–30-х годов, – первое место принадлежит немецкому и итальянскому, в которых появилось много новых понятий и обозначений референтов фашистской идеологии. Часть русских эмигрантов с тревогой и осуждением следила за развитием фашистского движения, часть – с надеждой сотрудничества и чаяниями общей борьбы с советским большевизмом. Отсюда и разный модус оценки фашистских понятий и терминов в политических группировках русской диаспоры.

Большевизм – это ставка на то худшее, что имеется в какой-то степени в душе каждого человека и каждого народа. Ставка, как метко выразился Гитлер, на «*унтерменши*»'а (Сигнал. 1938. 15 сент. № 39);

Под водительством *Дуче* Италия преодолевает, достигает, добивается, – одним словом, работает для своего лучшего национального будущего (Сигнал. 1938. 1 сент. № 38);

...русские эмигранты с радостной искренностью слили свои голоса с кликами народных толп, приветствовавших совместное появление *Фюрера* и *Дуче* [sic]... (Сигнал. 1938. 15 сент. № 39).

¹⁹ Это понятие было актуальным и широко распространенным в европейском дискурсе с конца 20-х – первой половины 30-х годов в связи с приходом к власти фашистов, в жаргоне которых термин *Untermensch* обозначал «неариец, представитель низшей расы; “недочеловек”».

Из французского языка пришла группа общественно-политических номинаций, имеющих во французских прототипах финаль *-tion* и в русском языке традиционно передаваемых словами на *-ция*: *коммунализация* (< франц. *communalisation* «общинность, общественное управление»), *атомизация* (< франц. *atomisation*; перен. «раздробление, расчленение»), *валоризация* (< франц. *valorisation* «установление новой системы цен»), *канализация* (< франц. *canalisation*; перен. «направление; концентрация»), *руссификация* (влияние франц. *russification* вместо уже принятого в русском языке метрополии *русификация*). Неузואальный характер многих варваризмов сигнализируют кавычки.

Отсутствие общинной жизни все сильнее чувствуется в Америке. Сама жизнь подсказывает целесообразность и неизбежность коммунальных объединений. <...> Может быть, путь к анархическому коммунизму, в широком смысле, лежит именно в направлении *коммунализации* (Анархич. вестник. 1924. № 7);

...националисты [в Германии. – А.З.] провели всю избирательную кампанию под лозунгом «*валоризации* ценностей». Этот лозунг был чрезвычайно выигрышным, так как огромные массы населения совершенно разорены полным обесценением разного рода бумаг довоенного времени (Дни. 1925. 30 янв. № 678);

Но власть понимает также, что для нее удобнее эта легализованная Церковь, эта «*канализация*» религиозного бытия России, чем новое загнание всей Церкви в подполье (Возрождение. 1937. 20 нояб. № 4107);

Наступает конец «*атомизации*» Европы, т.е. состояния разрозненности, при котором каждое государство стремится идти своими путями (Младоросская искра. 1933. 25 февр. № 36);

...если великодержавной политикой рижская газета называет политику агрессивного империализма, аннексии или насильственной *руссификации* – то такую политику младороссы категорически отрицают (Младоросская искра. 1933. 25 февр. № 36).

Оба варианта *руссификация/русификация* широко использовались эмигрантами (конечно, прагматические оценки могли меняться и варьироваться от издания к изданию): в русском языке СССР понятие имело негативную коннотацию²⁰.

Абстрактных имен существительных (кроме уже упомянутых) в данной тематической группе немного: *солидаризм* (франц. *solidarisme* «единомыслие; концепция согласия всех сил общества»), *абсентизм* (франц. *absentéisme* «неявка, прогул»)²¹, *паллиатив* (франц. *palliatif* «полумера, временное средство»)²², *маффия*²³ (итал. *mafia*), представля-

²⁰ Приведем толкование, содержащее обширные, явственно эксплицированные прагматические и социально-политические компоненты данной лингвоидеологемы, из СУ: «*Русификация*, -и, мн. нет, ж. (книжн. полит.). В царской России – насильственное подавление местной национальной культуры, внедрение среди национальных меньшинств, населявших царскую Россию, православия, русского языка с целью их ассимиляции. Русификация была самым характерным проявлением антинародной, великодержавной национальной политики царского правительства». В этой дефиниции собственно семантические компоненты содержательной структуры понятия перекрываются прагматическими (партийно-идеологическими) наслоениями, бытовавшими в советском дискурсе той эпохи.

²¹ Актуализировано в эмигрантском узусе; первые упоминания в русском языке – начало XX в. [Лексика 1981: 221].

²² Зафиксировано в СУ.

²³ Очевидно, произошло вторичное заимствование, совершившееся уже в период эмиграции; впервые слово *мафия* = *мифия* отмечается в начале XX в. как итальянский экзотизм [Лексика 1981: 221]. В пользу вторичного заимствования говорит и прототипическая (итальянская) графическая форма, и кавычки как показатель новизны понятия. Об освоении (графическом, семантическом, словообразовательном) данного слова и понятия в русском языке метрополии подробнее см. [Зеленин, Михайлова 1993].

ющих частотные элементы публицистического лексикона. Все эти обозначения позднее вошли и в русский язык метрополии, однако непосредственный контакт русского языка значительно облегчил инкорпорирование данных варваризмов-терминов в эмигрантский узус (или, по крайней мере, в газетно-публицистический стиль).

Два пути лежат перед людьми: прогресс или регресс, гибель или спасение – *солидаризм* или обе его противоположности, имеющие тем не менее одинаковую основу: капитализм или коммунизм (Младоросская искра. 1933. 10 июля. № 31);

Венерические заболевания – явление обычное и тем более трагическое, что лекарства отсутствуют и врачи вынуждены прибегать к *паллиативам* (Голос России. 1932. июль № 12);

Выборы отличались очень сильным *абсентизмом*. Процент голосовавших редко превышал 50, в нескольких местах он опускался до 30 (Дни. 1925. 27 янв. № 675);

...состоялась лекция г. Гайшмана о деятельности «*маффи*», которая организовалась в самом начале войны (Огни. 1924. 11 февр. № 6).

Из английского (американского) языка в русскую эмигрантскую печать проникли англицизмы (американизмы) *ракитир* = *рэкеттер* (англ. *racketeer* «вымогатель»; перен.: человек, пользующийся нечестными, незаконными приемами для достижения своих целей)²⁴, *киднэппер* (англ. *kidnapper* «похититель (людей, особ. детей)») ²⁵, *гангстер* = *гэнгстер*²⁶ (англ. *gangster* «бандит»). Эти слова входили в публицистический лексикон многих стран; эмигрантская пресса намного раньше освоила эти варваризмы, нежели советская публицистика.

Возобновление сессии Конгресса [США. – А.З.] в начале будущего года может ознаменовать первую серию политических ходов против Рузвельта. Еще до того могут определиться явные и тайные ходы Уолл-Стрита. Наконец, в любой момент возможно «непосредственное действие» – ходы *гэнгстеров* и их эпигонов «*киднэпперов*» и «*рэкеттеров*» (Младоросская искра 1933. 15 авг. № 32).

Доминирует, как и следовало ожидать, номинативная субстантивная лексика; в нашем корпусе встретился единичный глагол *арбитраживать* (нем. *arbitrieren* «оценивать, давать заключение»), который является «чистым» заимствованием из немецкого публицистического лексикона:

[Король Альберт. – А.З.] отнюдь не был королем-мещанином, подлаживающимся под средний вкус. Он не заискивал: он *арбитраживал* (Младоросская искра. 1933. 25 февр. № 36).

3. Сфера культуры, развлечений, образования. В этой группе прежде всего следует назвать варваризмы, связанные с номинацией реалий кинематографического мира: *экстерьер* (франц. *extérieur* «натурные съёмки»), *интерьер* (франц. *intérieur* «съёмка внутри помещения»), *трюкаж* (франц. *triquage* «трюковая киносъёмка; комбинированные съёмки; трюк»). Появление лексических заимствований в речевой практике эмигрантов объясняется референциальными лакунами в области бурно развивающейся киноиндустрии.

²⁴ Подробнее об истории освоения данного слова и понятия в русском языке см. [Зелени 1991].

²⁵ Л.П. Крысин фиксирует употребление слова *киднэппинг* в русском языке метрополии только в середине 1960-х годов [Крысин 1968: 171].

²⁶ В русском языке метрополии слово *гангстер*, по мнению Л.П. Крысина, было впервые употреблено И. Эренбургом в памфлете «Гангстеры» (М., 1941) [Крысин 1968: 145].

Люди устраивали развлекательные мероприятия, *фатинги* (очевидно, искаженная форма от франц. *fête* «праздник, гулянье» или англ. *fete*; возможно допустить семантические влияния южнонем. *Fasching* «масленица, карнавал»), *тэ-дансаны* (франц. *thé dansant* «вечеринка с танцами»), ходили на *матинэ* (франц. *matinée* «утренний, дневной спектакль»), танцевали в *танцбарах* (нем. *Tanzbar*) и *дансингах* (из англ. через франц. *dancing* «танцевальный зал»), посещали *ресторан-бары* (нем. *Restoran-bar*) или *мюзик-холлы* (англ. *music hall*)²⁷, смотрели *оперетки-ревю* (франц. *opérette-revue*) с участием *герлс* (= *гэрл* = *герльс*; англ. *girl*)²⁸, слушали *джаз* (англ. *jazz*)²⁹, участвовали в *лотереях-аллегри* (итал. *allegri* «веселы/веселые» (множ. число) от начальной формы *allegro*³⁰) и *лотереях-концертах*, играли в *хальму* (нем. *Halma* «уголки» (вид восточной игры)):

Рижское Ремесленное Общество 25 января и 1 февраля 1930 – грандиозные *фатинги* (Сегодня. 1930. 1 янв. № 1);

27-го января в 11 часов утра... состоится *матинэ* арий и романса артистки Мариинской оперы Зинаиды Юрьевской (Огни. 1924. 21 янв. № 3);

9 июля... состоится *тэ-дансан* с 17 до 24 ч. для отправки на летние каникулы русских девочек. В концертном отделении примут участие известная пианистка Маргарита Саальберг, певица Ирина Кедрова, К. Балашев и др. Интересная лотерея. *Джаз*. Буфет [объявление] (Возрождение. 1939. 7 июля. № 4191);

Директор парижских и провинциальных театров, кинематографов, цирков и *дансингов*, драматурги и сценаристы, кинорежиссеры, большие и малые актеры, даже театральные критики единодушны в вопросе упразднения зрелища на все время, пока будет существовать нынешний, непомерно высокий налог на зрелища (Сегодня. 1930. 14 янв. № 14);

Танц-бар «3 Musketicre» (Руль. 1930. 4 янв. № 2768);

...Губерт Маришка, даже американцев изумляющий умопомрачительными тратами, и теперь, для своей новой *оперетки-ревю*, ухлопал... около двухсот тысяч шиллингов! (Сегодня. 1930. 11 янв. № 11);

Этот маленький деспот, светловолосая хищница, вампир с невинным лицом, в теле «*гэрл*» *мюзик-холля* [sic], желающий пробить дорогу на подмостках... (Возрождение. 1935. 15 марта. № 3572).

В 20–30-е годы XX в. для перифрастического обозначения (кино)звезды, а также популярного, выдающегося мастера, деятеля русские эмигранты использовали галлицизм *ведетта* (франц. *vedette*; перен.: «знаменитый/ая актёр/актриса; знаменитость, звезда»),

²⁷ Есть в СУ (Дополнения. Т. 4) в форме *мюзик-холл* как ориентация на графический облик иноязычного слова. Очевидно, эмигранты произносили (или слышали) средневропейское [l] как мягкий звук [л'], графическая форма (буквосочетание *ль*) подтверждает это. С этим связано, кстати, и окончание *-и*, а не *-ы*.

²⁸ Это английское слово было известно европейцам чаще всего в специализированном, «музыкально-театральном», значении «танцовщица мюзик-холла», которое распространилось в европейском культурном лексиконе, очевидно, через французское посредство (сфера кабаре), где и была осуществлена эта семантическая специализация англицизма. В русский советский узус оно попало, скорее всего, непосредственно из американского английского, минуя европейские языковые посредники.

²⁹ В СУ: *Джаз*, *-и* и *джаз-банд*, *джаз-банда*, м. В эмигрантской прессе нам встретилась только сокращенная форма, полной формы (*джаз-банд*; англ. *jazz-band*) в нашем корпусе не содержится. Очевидно, эмигранты ориентировались на европейский устный (речевой) узус, а не на письменную форму.

³⁰ *Лотерея-аллегри* – лотерея с результатом, который становится известным сразу после приобретения лотерейного билета.

семантически идентифицировав его с русским *звезда* и, на основании этого, осуществив последующую морфологическую субституцию: франц. (*vedette*) → русск. (*звезд*)*a*. Американизм *стар* (англ. *star* «кинозвезда; выдающаяся личность») европейцам в те времена был еще неведом, поэтому они именуют заимствованным галлицизмом любую, в том числе и американскую кинозвезду:

Известная американская *ведетта* Виль Роже, выступавшая перед микрофоном одной станции в Нью-Йорке, получила за каждую минуту своего выступления круглую сумму в <...> 25 тысяч франков. Правда, к чести *ведетты* нужно сказать, что весь гонорар был пожертвован на благотворительные цели (Возрождение. 1935. 1 янв. № 3499):

...каждый из них [летчиков эскадры «Бальбо», – А.З.] не меньший орел, не меньшая «*ведетта*», чем все индивидуальные рекордсмены [sic] и чемпионы (Младоросская искра. 1933. 15 авг. № 32).

Пестрый национально-этнический состав эмиграции и стремление сохранения национальных традиций, обрядов инспирировал «выброс» на страницы печатных органов некоторых регионализмов, обозначавших те или иные национальные реалии. Отсюда использование таких варваризмов (экзотизмов, в собственном смысле термина), как *кеманча* (кяманча «3–4-х струнно-смычковый музыкальный инструмент, распространенный в Закавказье»), *тара* «кавказский струнный музыкальный инструмент»:

Впервые в Праге был устроен вечер кавказцев, организованный обществом кавказоведения. <...> Вечер закончился танцами под кавказский квартет (квартет? видимо, описка в газете. – А.З.): *тару*, *кеманчу*, *тэп*³¹ и *типилитонгон*³² (Дни. 1926. 20 нояб. № 1164).

Из области педагогики, воспитания отметим два варваризма: чехизм (богсмизм) *кураториум* «опекунский совет» и галлицизм *креши* (франц. *crèche* «детские ясли»).

Во главе управления курсами стоял *кураториум* во главе с председателем Земледельческой Едноты³³ Прокупекем (Огни. 1924. 25 февр. № 8);

Национальный Фашистский Институт <...> делит свои заботы между матерью и ребенком и весь период его кормления молоком и сосредоточивает свои заботы исключительно на ребенке после этого периода, организуя *креши*, детские сады, пункты детского питания и т.п. (Сигнал. 1938. 15 сент. № 39).

Итак, заимствования новых лексических номинаций в сфере культуры, развлечений и нашем корпусе эмигрантских газет составляют довольно значительную часть общего объема варваризмов. Это объясняется двумя причинами: а) наличием референциальных лакун при номинации новых денотатов; б) стремлением сохранить исходное обозначение языка-донора с целью точной идентификации реалии.

4. Область спорта. Это наиболее открытая заимствованиям номинативная сфера, что объясняется необходимостью наименования спортивных реалий, названия которых часто отсутствовали в русском языке в момент эмиграции людей из России. В этой группе варваризмов, несомненно, лидируют англицизмы; уже в то время очень многие из них быстро становились интернационализмами и свободно мигрировали из языка в язык (от английских спортивных терминах и их трансплантации в разные языки см. [Dauzat 1929; Ott 1935; Amsler 1952; Benson 1958; Крысин 1968; Becker 1970; Pasqualini 1974; Schneide 1974; Vierek 1980; Новикова 1992; Попов 2003] и др.). Заимствования могут обозначать:

³¹ Англ. *tap dance* (*tap-dance*) «чечетка».

³² Нам не удалось выяснить значение и происхождение данного термина.

³³ Чеш. *jednota* «единство».

• Виды спорта, составные части спортивного матча: *волей-бол*³⁴ (англ. *volley-ball*), *рестлинг* (англ. *wrestling* «борьба, бой»), *ватер-поло*³⁵ (англ. *water polo* «водное поло»), *гейм* (англ. *game* «игра, матч»), *сервис* (англ. *service* «подача мяча»), *сингл* (возможно, из английского через французское посредство *single* «партия (в теннисе, гольфе), в которой участвуют только два противника»), *корнер* (англ. *corner* «угловой удар»), *хав-тайм* (англ. *half time* «первая половина игрового времени»), *эвент* (англ. *event* «этап, период (в соревновании)»). Очевидна графическая зависимость наименований видов спорта от облика прототипов в языке-доноре: *дебль*³⁶ (англ. *double* «парная игра (в теннис)»).

Первый *гейм* прошел с большим напряжением и закончился в пользу «Руси» со счетом 15 на 9 (Возрождение. 1932. 2 янв. № 2405);

...Боротра уже был чемпионом Франции, Англии и Америки на закрытых площадках. Единственно, что мешает безусловно предсказать победу Боротра, это то, что в настоящее время у него хромает *сервис* (Возрождение. 1932. 3 янв. № 2406);

В смешанном *дебле* Швыковская и Финберг выиграли у Озолинь и Котовича в трех сетах (Сегодня. 1930. 12 янв. № 12);

Победитель прошлого турнира Ошин проиграл в мужском *сингле* А-группы Розенталю П. в двух сетах 15:21, 18:21 (Сегодня. 1930. 12 янв. № 12);

Перед самым концом *хав-тайма* французам удастся отправить в сетку русских ворот один мяч, отбить который русскому голкиперу Туманову было абсолютно невозможно (Дни. 1926. 18 нояб. № 1162);

Дождливая погода несколько омрачила этот замечательный спортивный праздник. Перепадавшие ливни тормозили розыгрыши отдельных *эвентов* (Возрождение. 1939. 14 июля. № 4192).

Семантическая близость между англицизмом *рестлинг* и русским аналитическим обозначением *вольная борьба* прсодлевалась не элиминацией варваризма, не их семантическим уравниванием, а его семантизацией и закреплением в лексической системе эмигрантского узуса, возможно, благодаря семе «борьба без правил», отсутствующей в русском обозначении; *рестлинг* – это не просто (и не только) спортивная борьба, но с нарочито жесткими, рассчитанными на театральность приёмами, борьба с элементами шоу. Наличие дифференциальной семы было решающим фактом заимствования однословной номинации-варваризма (*рестлинг*).

Вместе с просьбой передать новогодние поздравления русским спортсменам Парижа мы получили от К.А. Пожелло из Кливленда (штат Охайо) ворох программ, афиш и номеров журнала «Рестлинг» (Борьба) и «Рестлер» (Борец), свидетельствующих о кипучей и успешной деятельности б.[ывшего] чемпиона России в роли борца и организатора матчей вольной борьбы (Возрождение. 1935. 2 янв. № 3500).

• Наименования организаторов, спонсоров спортивных матчей, спортсменов, игроков команды: *промотер* (англ. *promoter* «покровитель, спонсор»), *бек* (англ. *back* «защитник (в футболе)»), *голкипер* (англ. *goalkeeper* «вратарь»), *инсайд* (англ. *inside* «полусредний нападающий»), *катчмен* (англ. *catchman* «борец в стиле американской борьбы, кетча»³⁷), *рестлер* (англ. *wrestler* «борец»), *хав-бек* (англ. *half-back* «полузащитник»), *центр*

³⁴ В СУ в форме волейбол.

³⁵ Есть в СУ.

³⁶ Возможно, опечатка вместо более ожидаемого *дабль/дабл*. Примечательно, что этот варваризм эмигранты относили к существительным мужского рода.

³⁷ Кетч (англ. *catch* «хватать») – вид профессиональной борьбы, разрешающей разнообразные приемы.

(англ. *centre* «центральный игрок, центровой»), *центр-форвард* (англ. *centre forward* «центральный нападающий»).

В своей новой роли «промотера» К.А. Пожелло успел создать себе отличное реноме. Под его опытным руководством матчи борцов вольного стиля пользуются исключительным успехом у избалованной американской публики. На арене Кливленда ему удалось организовать выступления изумительного итальянского «катчмена» Савольди... (Возрождение. 1935. 2 янв. № 3500);

Из русских игроков большой похвалы заслуживают: Туманов, впервые в Париже выступавший в роли *голкипера*, вся линия *хав-беков* (Алексеев, А. Федоров и Грюнберг, левый край Путьянин, *центр* Воврашевич и в особенности правый *инсайд* Краубнер). Очень много пришлось поработать обоим *бекам* Плавскину и М. Вешке, спасавшим неоднократно свои ворота от почти неминуемых мячей (Дни. 1926. 18 нояб. № 1162).

В нашем корпусе отмечен только один галлицизм, характеризующий эмоционально-психологическое состояние игры: *брио* (франц. *brio* «живость, оживление»); его использование, на первый взгляд, никак не мотивируется семантически, поскольку русские эквиваленты *азарт*, *страсть*, *кураж* (обрусевший галлицизм: < *courage* «храбрость, мужество») вполне ему адекватны, однако варваризм в русском тексте – след французского спортивного языка, автоматически, по языковой инерции, или – напротив – сознательно оставленный в газетной колонке автором репортажа на спортивную тему.

Третий гол был вбит из «толкучки» центр форвардом [sic] Воврашевичем, игравшим со свойственным ему «брио» (Дни. 1926. 18 нояб. № 1162).

Такое обилие спортивных варваризмов на страницах русской эмигрантской прессы объясняется стремлением точной трансляции лексических элементов спортивного профессионального языка (жаргона), понятного всем (или многим) говорящим ввиду интернационального характера данных понятий.

5. Сфера технических наименований. Эта группа немногочисленна, она характеризует эмигрантский узус с двух сторон: а) сохранение в речевом обиходе устаревших и вышедших из употребления в русском языке метрополии 20–30-х годов лексических номинаций; б) активное заимствование новых иноязычных технических обозначений.

а. Примером первой тенденции может служить следующий терминологический ряд: *биоскоп* – *кинематограф* – *кино* – *синема*. Слово *биоскоп* (нем. *Bioscop* = *Bioskop*³⁸; из греческих элементов) встречается в эмигрантской прессе наряду с более новыми словами *кинематограф* (франц. *cinématographe*, но на русской языковой почве трансформированное по немецкой орфоэпической модели, более близкой к древнегреческому этимону) и *кино* (нем. *Kino*)³⁹. Слово *биоскоп* в нашем корпусе отмечено в газете самого конца 30-х годов, что позволяет сделать вывод о том, что в эмигрантском узусе данная номинация сохранялась, в то время как в русском языке метрополии она уже давно вышла из употребления⁴⁰. Ср. пример из нашего корпуса, где слово *биоскоп* имеет значение «кинотеатр»:

³⁸ В ноябре 1895 г., приблизительно за месяц до демонстрации первого фильма братьями Люмьер, М. и Э. Складановские в Берлине представили публике свой *Bioscop* (*Bioskop*) «кинопроектор». Однако биоскоп Складановских не стал общераспространенным киноаппаратом из-за его массивности, тяжеловесности; в отличие от быстро исчезнувшей реалии, термин все же использовался некоторое время. Впервые техническое значение в слове *биоскоп* отмечено в словаре Webster (1913 г.): «An animated picture machine for screen projection; a cinematograph (which see); an archaic term replaced by movie projector».

³⁹ Рассмотрение тематического ряда *биограф* – *биоскоп* – *иллюзион* – *кинемат* – *кинематограф* – *кинемо* – *кинетоскоп* – *кино* – *синематограф* – *синема* – *электричка* – *электротеатр* дано (с последующей библиографией) в [Lehikoinen 1990: 140–142]; см. также [Крысин 1968].

⁴⁰ СУ не отмечает данного понятия даже как историзма, очевидно, ввиду краткосрочности его языковой жизни.

Вследствие громадного интереса продолжен в обоих *биоскопах* грандиознейший фильм под режис.[сурой] гениального Сесилия Б. дэ-Миля «Царь Царей». Жизнь и страдания Бого-Человека [sic] (Рус. голос. 1939. 9 апр. № 418).

Слово *кино* в эмигрантском узусе использовалось в двух значениях: 1) кинотеатр; 2) кинофильм, кинопредставление.

«Течение времени». *Кино* «Пари-суар» (Возрождение. 1937. 10 апр. № 4073);

[В Пасхальную ночь. – А.З.] все церкви были повсюду переполнены. Тщетно красные власти всю эту ночь зазывали на всякие безбожные театральные зрелища и кино, тщетно хулиганы из «безбожных союзов» устраивали перед церквями на улицах маскарадные шествия... (Голос России. 1931. 2 авг. № 1);

После телеграфа и телефона звуковые кинематография и кино открыли безпредельные [sic] возможности осведомления человека (Младоросская искра. 1933. № 36. 25 февр.).

Однако намного чаще, чем усеченная форма *кино* (нем. *Kino*), в эмигрантском языке употреблялось обозначение *кинематограф* и его производное *кинематографический*. Слово *кинематограф* использовалось, судя по материалам в нашем корпусе, в значении «кинотеатр», однако в адъективном деривате *кинематографический* явно видна мотивированность как предметным («здание»), так и отвлеченным существительным «киноиндустрия, кинопромышленность; кинематография», ср. следующие примеры:

• *Кинематограф* «помещение, здание» (в связи с этим примечателен также конкретизирующий синоним *киноздание* – явное свидетельство реакции узуса на необходимость устранения омонимии, затрудняющей точность коммуникации).

Директор парижских и провинциальных театров, *кинематографов*, цирков и дансингов, драматурги и сценаристы, кинорежиссеры, большие и малые актеры, даже театральные критики единодушны в вопросе упразднения зрелища на все время, пока будет существовать нынешний, непомерно высокий налог на зрелища (Сегодня. 1930. 14 янв. № 14);

Дом, в котором помещается известный *кинематограф* того же названия, подвергся основательной переделке и представляет в настоящее время образец приятной соразмерности... (Руль. 1930. 1 янв. № 2766);

Обещанное к праздникам Рождества *кино-здание* [sic] <...> стоит без окон и дверей и даже без крыши, несмотря на «американский» темп хода постройки: морозы и снега приостановили работы (Вести дня. 1939. 28 дек. № 295).

• *Кинематографический* как «связанный с показом фильмов»:

Они ничему не научились, совершенно не раскаялись, остались теми же политическими изуверами, упорно продолжают свою киновою работу – думалось мне, смотря на *кинематографическом* экране несомненно инспирированную эс-эрами картину «Der Tanz auf dem Vulkan» (Призыв. 1920. 12 (28.2) марта. № 61);

Накануне Нового года в городе Пазлей после обеда происходило *кинематографическое* представление для детей. Внезапно в будке демонстратора возник пожар <...> Когда через 2 минуты после подачи тревоги примчались пожарные команды, весь *кинематограф* уже горел как свеча (Руль. 1930. 2 янв. № 2767).

• *Кинематографический* «связанный с киноиндустрией, производством фильмов»:

Вчера после обеда у калифорнийских берегов в воздухе на высоте 700 метров столкнулись два аэроплана, принадлежавшие *кинематографическому* обществу «Фокс-фильм» <...> С аэро-

планами погибли 10 человек, в том числе директор «Фокс-фильма» Хаукс, муж *кинематографической артистки* Мэри Астор и его брат... (Руль. 1930. 4 янв. № 2768).

Более ранний вариант *синематограф* (во французской фонетической оболочке) был вытеснен германизированной формой *кинематограф* еще в дореволюционном узусе по двум причинам: 1) благодаря аналогическому выравниванию с немецкими словами *кино*, *кинемо*; 2) под влиянием греческой протоформы [Лексика 1981: 229–230]. В эмигрантской прессе *синематограф* уже не встречается.

Термин *синема* (франц. *cinéma*) получил заметную активизацию в русской прессе, выходящей во Франции, по вполне понятной причине – повсеместности этого слова во французском языке. Однако преобладания этой формы в русском эмигрантском узусе не наблюдается; напротив, можно говорить о дистрибуции обеих форм: лексема *кино* в 20–30-е годы уже стала интернационализмом, *синема* оставалась регионализмом (галлицизмом). Последнее слово сохраняет, согласно французской морфологии, родовую принадлежность к мужскому роду и в русской речевой практике:

[Матросу. – А.З.] приходится уйти с толпой зрителей из зала, и тут к ужасу своему в дверях он сталкивается с механиком, партийным начальством и несколькими матросами с того же корабля, зашедшими от безделья по случайности в тот же *синема* (Возрождение. 1937. 3 апр. № 4072);

«Потерянные горизонты». *Синема* «Шан-з-элизе». «Потерянные горизонты» идут с пятницы в *синема* «Шан-з-элизе» (Возрождение. 1937. 10 апр. № 4073).

Представим приведенные выше лексические материалы в виде таблицы.

Таблица 1

Лексема	Значение «помещение»	Значение «фильм»
<i>биоскоп</i>	+	–
<i>кино</i>	+	+
<i>кинематограф</i>	+	+
<i>синема*</i>	+	–

* Хотя во французском языке слово имеет два значения: 1. «здание»; 2. «кинопредставление», в нашем корпусе встретилось только первое значение, но это отнюдь не значит отсутствие второго значения в русском эмигрантском узусе.

Итак, можно говорить о доминировании слова *кинематограф* и его производного в эмигрантской прессе, лексема *синема* скорее встречается только во французской русской прессе. В русском языке 20–30-х годов лексема *кинематограф* (и производное *кинематографический*) «суживается и по значению, и по сфере употребления» [Lchikoiper 1990: 142] и замещается новой усеченной формой *кино*. В эмигрантском узусе лексемы *кино* и *биоскоп* оставались несколько на периферии по отношению к основному слову *кинематограф*.

б. Примером второй тенденции являются новые заимствования: *акцидентный* (нем. *Akzidenz* «бланки, извещения, рекламные проспекты»), *вапоризация*, *вапоризованный* (< франц. *vaporisation* «распаривание; обработка паром») ⁴¹, *камион* (франц. *camion* «грузовая машина; грузовик»), *конвейер-система* = *конвеер-система*

⁴¹ Это понятие было хорошо знакомо особенно эмигрантам, живущим во Франции – стране с развитой традицией косметологии; термин стал популярен в 20–30-е годы.

(англ. *conveyer system*), *монитор* (англ. *monitor* «тяжелый военный корабль»), *телевизия* (франц. *télévision* «телевидение») ⁴², *телевизионировать* (франц. *téléviser*, англ. *televise* «передавать по телевизионному аппарату»), *трафик* (франц. *trafic* в специализированном, суженном значении «незаконная торговля, спекуляция» из английского *traffic* «транспорт; перевозка»), *холдинг* (англ. *holding company*, франц. *holding* «холдинговая компания»), *циклокар* (франц. *cyclocar* «автомобиль мотоциклетного типа»; в русском языке это заимствование было адаптировано как *циклокар* в результате морфемного выравнивания слов с уже усвоенным первым компонентом *цикло-*). Их использование в эмигрантском узусе объясняется или появлением новых технических реалий и понятий, отсутствовавших в дореволюционном языке, или замещением варваризмами тех номинаций, которые в русском языке до 1917 г. находились на лексической периферии ввиду их новизны или принадлежности специальной терминологии; например, аналитическое словосочетание *грузовая машина* было известно в русском языке и до 1917 г., однако семантическое стяжение *грузовик* – это уже факт советского времени, неизвестный эмигрантам. Разумеется, вытеснение старых технических номинаций обуславливалось и тенденцией к замене аналитических терминов однословными (*тяжелый военный корабль* → *монитор*).

Порт почти свободен от льда. Один британский *монитор* уже поднимался вверх по течению Двины (Голос Родины. 1919. 8 мая. № 259);

Общее количество автомобилей, мотоциклеток, моторных лодок и пр. составляло во Франции 977 315 с суммированной их мощностью в 8 421 950 лошадиных сил; распределение их по категориям было таково: автомобилей – 541 438 шт., *камионов* – 267 470; *циклокаров* – 27 541; мотоциклетов – 137 979 и моторных лодок – 1 887 (Возрождение. 1927. 4 окт. № 854);

Телевизия на Парижской выставке [название заметки. – А.З.];

Как известно, в павильоне радиофония на парижской выставке ежедневно происходят публичные телевизионные передачи. На днях этот павильон посетил французский министр ПТИ ⁴³, в последнее время особенно интересующийся *телевизией*. Он позволил себя *«телевизионировать»* во время своего интервью, так что присутствовавшая в павильоне публика могла видеть министра на экране в то время, как он давал интервью относительно *телевизии* (Возрождение. 1937. 20 нояб. № 4107);

Аппарат В 2, с регулятором *вапоризации* на 4 степени 150, 225, 300 и 400 градусов, франко с перевозкой и упаковкой в деревянном ящике (Младоросская искра. 1933. 5 янв. № 26);

Акционерное общество стремится наложить руку на другие общества. Для этого достаточно приобрести «контрольный пакет», т.е. столько акций, сколько нужно, чтобы распоряжаться обществом. <...> Это и есть *«холдинг»* – узаконенный грабеж (Младоросская искра. 1932. 20 авг. № 21);

Например: сшить одну скроенную штанину, считая приклад, нужно полчаса. Другую тоже полчаса. Прикроенную жилетку сшить на машине – полчаса. <...> Считая на закройку, сборку и утюжку еще два, два с половиной часа – вся работа значит будет готова в три часа. Это вот и есть *конвейер-система* (Руль. 1930. 1 янв. № 2766).

Итак, технические варваризмы в нашем материале характеризуются следующими признаками: с одной стороны, сохранением и консервацией старых технических обозначений, бытовавших в дореволюционном языке, с другой стороны – проникновением в ре-

⁴² Зафиксировано также в устной речи русских во Франции [РЯЗ 2001: 53] и США [ЯРЗ 2001: 151].

⁴³ Транслитерированная аббревиатура для обозначения почты Франции (РТТ): *Poste. Téléphone. Télégraphe*.

чевую практику заимствованных слов, обозначающих новые, появившиеся в 20–30-е годы, технические реалии и понятия.

6. Сфера бытовых обозначений. Парадоксально, но данная группа варваризмов, вопреки ожидаемому, оказалась в нашем корпусе довольно ограниченной. Новые заимствования касаются:

- типа билетов, проездных документов: *шифскарта* (нем. *Schiffskarte* «билет на корабль»):

Продажа *шифскарт* во все страны мира и на морские увеселительные поездки (Руль. 1930. 1 янв. № 2766).

- украшений, предметов туалета, одежды: *батик* (франц. *batik* из малайского «рисунок на ткани»), *вулкан-фабр*⁴⁴ (нем. *Vulkanfiber* «вулканизированная фибра (ткань)»), *канотье* (франц. *canotier* «соломенная шляпка»), *клипс(а)* (англ. *clip* «брошь»), *комбинэ* (сокращение от франц. *combinaison de femme* > *combine* «комбинация (нижнее женское белье)», англ. *combination*), *комбинешен* (англ. *combination* «комбинезон»), *ламэ* (франц. *lamé* «парча; ткань с люрексом»), *пешуар* (возможно, опечатка вместо ожидаемого *пошуар* от франц. *pochoir* «трафарет, шаблон (для рисования, вышивки, выкройки)»), *пуловер*⁴⁵ (англ. *pull-over* «вязаная кофта без застежек; свитер»), *туид* (англ. *tweed* «вид шерстяной ткани»), *шлюпфер* = *шлипфер* (нем. *Schlüpfen* «трико (дамское)»):

На пароход [при бегстве из Крыма. – А.З.] я сел – у меня багажу было всего одна иголка в лацкане, а в городе Константинополе носильщик снес за мной на берег чемодан *вулкан-фабр* и плед с подушкой (Руль. 1930. 1 янв. № 2766);

Золото на черном – очень красивое и эффектное сочетание, и иногда вся отделка заключается в золотых ювелирных украшениях: булавка на шляпе, крупных «*клипс*» у декольте, пряжки на поясе, сережек и т.д. Черное пальто, отделанное барашком, теперь не выглядит мрачно и даже несколько траурно, как это было раньше, потому что вокруг шеи всегда повязан хотя бы маленький шарф из простроченного *ламэ* или из шелка самых неожиданных ярких тонов, например, фиолетового с красным, зеленого с оранжевым (Возрождение. 1935. 1 янв. № 3499);

Техника прикладн.[ого] искусства – раскраска материй. *пешуар*, *батик*, пентюр люминес, выжиганис. [объявление. – А.З.] (Возрождение. 1927. 6 нояб. № 887);

«*Канотье*» всяких сортов, всяких тонов, всяких размеров царит среди летних моделей. <...> Хорошо выбранная, купленная в хорошем доме шляпа, может изменить всю внешность наряда, сразу придать любому платью модный и элегантный вид. А кроме того, дорогая шляпа не так скоро выйдет из моды. Лучше иметь одним платьем меньше, но не пожалеть денег на хорошее «*канотье*» (Возрождение. 1939. 14 июля. № 4192).

- обозначений национальных особенностей кухни, приема пищи: *супэ* (франц. *souper* «ужин, вечерний обед»⁴⁶), *гриль* (франц. *gril* «жаровня», англ. *grill*), *плум-пудинг*⁴⁷ (англ. *plum-pudding* «запеканка, пирог (с приправами, пряностями)»), *брекфест* = *брэкфест*: (англ. *breakfast* «завтрак»; этот англицизм в 20–30-е годы часто упоминался в европейской русской прессе):

Ресторан имеет собственную пекарню, *гриль* и пр. (Руль. 1930. 1 янв. № 2766);

⁴⁴ В СУ: *фибр* – *фибра* (чаще).

⁴⁵ В СУ дано с ограничительной пометой *снец.[иальное]*, что свидетельствует о неузловом характере варваризма. В эмигрантском лексиконе это слово использовалось широко.

⁴⁶ Едва ли русский эквивалент был хуже или семантически бледнее, однако референциальный каркас понятия был иным: *souper* – это именно «поздний ужин» (после спектакля, во время вечеринки).

⁴⁷ В СУ зафиксировано слово *пудинг*.

...у большинства англичан в настоящее время развязался язык и... они перестали довольствоваться бифштексами и *плум-пудингами*... (Руль. 1930. 4 янв. № 2768);

Герцог никогда не завтракает и ограничивается только «*брэakfastом*», пятичасовым чаем и обедом. Герцогиня завтракает с друзьями или дома, или в ресторане (Возрождение. 1939. 14 июля. № 4192);

Если Вы хотите счастливо и весело встретить Новый год, то приходите в новогоднюю ночь хоть на 5 минут к Н. Гриневскому. <...> Готовится что-то необычайное. *Супэ* 5 мар.[ок] (Руль. 1930. 1 янв. № 2766).

Итак, в русский эмигрантский узус быстрее и естественнее всего попадали наименования сферы моды, театра; у «европейских» русских (преимущественно в Германии и Франции) интерес вызывали английские понятия, связанные с особенностями бытового поведения этого народа.

СПОСОБЫ ВВОДА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Прежде всего, надо отметить наличие значительного числа вариантов (орфографических, морфологических, лексико-семантических), содержащихся в нашем корпусе. В принципе, это не уникальная ситуация при вхождении заимствованной лексики в структуру языка-реципиента; любопытно, что и в русскоязычной прессе, находящейся в иноязычном окружении, и в языке метрополии исследователи отмечают высокую степень вариативности как одну из ярких особенностей начального этапа освоения заимствований [Крысин 1968: 79; Протасова 2004: 120 и сл.]. В нашем корпусе представлены следующие типы варьирования.

1. Графико-орфографические варианты. Они имеют несколько подтипов.

• вариативность, вызванная заимствованием слова из разных языков, где оно имеет разное оформление: *комбинешен* «женское нижнее белье» (англ. *combination*) – *комбинэ* (франц. сокращение *combiné* «грация; род корсета для женщин: эластичный широкий пояс, охватывающий торс»); *ракитир* = *рэкеттер* (англ. *racketeer*; в первом случае ориентация на фонетику и графику английского прототипа, во втором – на французскую форму *racketter, racketteur*):

Инвентурная распродажа начнется во вторник: чулки, носки, перчатки, <...> рейтузы, *комбинэ*, нижнее платье, ручные сумочки (Сегодня. 1930. 5 янв. № 5);

Денные рубашки. *Комбинешен*. Юбки-принцес (Дни. 1925. 1 февр. № 680).

• вариативность, вызванная стремлением к сохранению графического или фонетического прототипа: *джаз* (англ. *jazz* [dʒæz]; ориентация на фонетику) = *джац* (ориентация на графику), *гангстер* = *гэнгстер* (англ. *gangster*; в первом случае ориентация на графику всего слова, во втором – на фонетику гласного звука); *люмпен-пролетариат* = *лумпен-пролетариат* (нем. *Lumpenproletariat*; ориентация либо на графику, либо на фонетику):

Возобновление сессии Конгресса [США] в начале будущего года может ознаменовать первую серию политических ходов против Рузвельта. Еще до того могут определиться явные и тайные ходы Уолл-Стрита. Наконец, в любой момент возможно «непосредственное действие» – ходы *гэнгстеров* и их эпигонов «киднэпперов» и «рэкеттеров» (Младоросская искра. 1933. 15 авг. № 32);

Берлинские газеты единодушно сообщают, что коммунистические отряды, пытавшиеся сорвать организованную социал-демократами грандиозную манифестацию протеста против реакции, были набраны среди самых темных элементов берлинского *лумпен-пролетариата* (Дни. 1925. 31 янв. № 679).

• графическая вариативность (кириллица и/или латиница), обусловленная либо новизной варваризма, либо трудностью адекватной передачи слова кириллической графикой: *weekend* = *уикэнд* = *викэнд* = *викенд*, либо сосуществованием разных способов включения слова в русский язык: *Entente* (иноязычное вкрапление) = *Антанта*⁴⁸ (транслитерация) = *Согласие* (семантическая калька):

Американские автомобильные фирмы изобрели совершенно новый способ продажи своих машин. Он предоставляет молодым девушкам, независимо от их социального положения, совершенно новые автомобили последней модели и бесплатное пользование на каждый «уикэнд» в течение 4 месяцев (Возрождение. 1939. 7 июля. № 4191);

Многие англичане за последние годы приняли за правило проводить свой пресловутый *Weekend* [sic; с заглавной буквы] на материке (Руль. 1930. 4 янв. № 2768);

Далее Троцкий прохаживается насчет империализации *entente*, которую он считает копированием методов Гогенцоллернов и находит союз с Германией возможным и желательным (Возрождение. 1919. 9 июля. № 3);

Телеграфное агентство принесло известие о том, что по решению конференции в Aix-les-Bains отдельные державы могут вести переговоры с Россией «лишь в том случае, если они не противоречат интересам всей *Антанты*» (Воля России. 1920. 18 сент. № 6);

Несомненно <...>, что мы вовлечены в очень опасный конфликт, куда ходом вещей будут втянуты и германское правительство и правительства стран *согласия* (Возрождение. 1919. 12 окт. № 86).

2. Вариантность морфологических форм. Выделяются следующие подтипы морфологического варьирования:

• сосуществованием в эмигрантском узусе двух морфологических форм, разговорной и литературной, получивших отражение в письменной практике: *кельнерá*, *шлюпферá* (с ударным разговорным окончанием *-á*) и *кельнеры*, *шлюпферы* (с литературно-нормативным безударным окончанием *-ы*), *пулловера* = *pull-over'ы* (особенно интересно то, что в русифицированной форме используется разговорный морфологический вариант, в письменной же – стилистически нейтральное окончание множественного числа существительных мужского рода с основой на твердый согласный).

Шлюпферы (дамское белье) (Дни. 1925. 1 февр. № 680);

[Распродажа:] кофты, *пулловера*, костюмы, *шлюпфера* (шерст.[яные], шелк.[овые]) (Сегодня. 1930. 12 янв. № 12).

• родовая вариативность, существовавшая в дореволюционном языке: *фильм* (муж. рода) = *фильма* (жен. рода). И в русском языке метрополии 20–30-х годов это слово имело колебания в роде [Карцевский 2000: 234; Крысин 1968: 81; Lehikoinen 1990: 135].

На колебание морфологической формы варваризмов существенное влияние оказывало взаимодействие ранее заимствованного иноязычного слова со своим прототипом. Обычно иноязычное слово заимствуется в какой-либо одной грамматической форме, даже если в языке-доноре оно обладает иными грамматическими конфигурациями; морфолого-синтаксическая и семантическая модификация совершается уже в языке-реципиенте [Новиков 1963]. В эмигрантской прессе мы находим, в частности, такое воздействие грамматических категорий прототипов на заимствованные ранее в русский язык иноязычные лексемы:

⁴⁸ А. Мазон отмечал даже *Антант* (муж. рода) [Мазон 1920: 16]. В нашем корпусе эта форма не встречается.

• категория числа. Иноязычные заимствования *реальность*⁴⁹, *трикотаж*⁵⁰ в кодифицированном русском языке используются как *singularia tantum*, однако возможность использования их в форме множеств. числа в языке-доноре переносится и в русский эмигрантский узус: франц. ед. *réalité* – множ. *réalités*; ед. *tricotage* – множ. *tricotages*. М.Я. Гловинская относит такие случаи к «нарушениям идиоматического правила в морфологии», так как распределение имен существительных по классам *singularia* и *pluralia tantum* «специфично для разных языков, а внутри одного языка достаточно лексикализовано». Нарушения в кодифицированных нормах использования категории числа в результате иноязычного влияния М.Я. Гловинская, в рамках разрабатываемой ей концепции неустойчивых зон языка, квалифицирует, в частности, как «ошибки на “идиоматических” участках» ([Гловинская 2001: 44]; там же приведены примеры из речевой практики разных волн эмиграции). Приведем несколько цитат из нашего корпуса:

Дело представляли так: те, кто, утверждая, что вот-вот начнется разоружение и будет обеспечен вечный мир, – те человеколюбы и хотят мира; а те – кто не верил в эту словесность и предупредил о тысяче противодействующих *реальностях* [sic; правильно: реальностей], – те милитаристы, империалисты и вообще злодеи человечества (Руль. 1930. 25 марта. № 2836);

[Распродажа:] ...верхние *сорочки-трикотажки*, галстухи [sic], кашно (Сегодня. 1930. 12 янв. № 12).

• категория рода: *Марсель* (название города) в русском языке склоняется как существительное мужского рода по опорному слову «город», однако под французским влиянием род может изменяться – *Marseille* (женск. род); возможно, повлияла и финаль имени собственного – мягкий согласный, которым также могут характеризоваться существительные женского рода мягкого типа склонения:

Социалистический конгресс в *Марсели* [sic]... (Огни. 1924. 11 февр. № 6).

3. Лексико-семантическая вариативность – варьирование плана выражения (русское и/или иноязычное слово) при общности (близости) плана содержания. Смысловое освоение иностранных лексем сопряжено с поиском лексико-семантических эквивалентов в русской лексической системе. Наличие в нашем корпусе варваризмов, имеющих почти идентичные или очень близкие русские лексические эквиваленты, связано со спецификой процессов заимствования в языке диаспоры, обычно усиливающих семантико-прагматический «вес» иностранного обозначения. Варваризмы используются для именования вполне привычных понятий и реалий, которые, будучи помещенными в иноязычный и инокультурный контекст, приобретают в языковом сознании эмигрантов прагматические «приращения» (многочисленные примеры приведены, например, в [Andrews 1999; ЯРЗ 2001; РЯЗ 2001; Протасова 2000; 2004]). В первую очередь это касается специальных наименований; причины проникновения такого рода варваризмов в эмигрантский узус – следование иноязычному прототипу, стремление к точному дефинированию иностранной реалии (прежде всего производственных, профессиональных понятий и отношений): *аксидан* (франц. *accident* «несчастный случай») ⁵¹, *волонтер* (франц. *volontaire* «доброволец») ⁵², *дискретные расследования* (нем. *diskrete Untersuchung* «секретное, тайное детективное расследование»), *жирант* (нем. *Girant* из франц. *gérant* «жирант, индоссант; лицо, делающее на векселе передаточную надпись»), *комбатант* (франц. *combattant* «фронтвик, непосредственный участник боевых действий»), *коинтр-*

⁴⁹ В СУ: *Реальность*, -и, мн. нет, ж. (книжн.).

⁵⁰ В СУ: *Трикотаж*, -а, мн. нет, м.

⁵¹ Зафиксировано также в устной речи русских во Франции [РЯЗ 2001: 53].

⁵² Старое заимствование, восходящее к началу XVIII в., но активизированное в русском эмигрантском узусе.

метр (франц. *contremaitre* «мастер, бригадир, прораб»), *шупо* (нем. *Schupo* < *Schutzpolizist* «немецкий полицейский (до 1945 г.)», *принцесс-рояль* (англ. *princess royal* «старшая дочь английского короля»):

На металлургическом заводе в Лотарингии русский, работавший при доменной печи в числе двенадцати человек, также русских, отказался подняться вторично на смену наверх. *Контр-метр* сообщил в бюро, что он, рабочий, не хочет работать – и рабочего уволили (Дни. 1926. 20 нояб. № 1164);

Тринадцать лет в Германии существовала 4-миллионная организация *комбатантов*, в кою входили бывшие офицеры и солдаты, принадлежавшие ко всем классам общества. Тринадцать лет длилась в Германии разруха и беспорядки [sic], и эта организация много говорила и ничего не делала (Сигнал. 1938. 1 сент. № 38);

Эмигранты работают в Шанхае <...> даже военными «*волонтерами*», образующими русскую роту шанхайского волонтерского корпуса, предназначенного для охраны города (Сегодня. 1930. 7 янв. № 7);

Судебная палата заслушала вчера дело 25-летнего Карла Берзиня, который обвиняется в подлоге векселя в 108 латов. На векселе Берзинь совершил подлог подписи *жиранта* Карла Тилита, передав означенный вексель с подложной передаточной надписью дальше, за свои личные денежные обязательства (Сегодня. 1930. 12 янв. № 12);

Детектив Bonstedt. *Дискретные* расследования, наблюдения, справки, адреса (Руль. 1930. 1 янв. № 2766).

Подтолкования (при помощи русских синонимов или близкочужбных слов) возможны, но не обязательны; всё зависит от редакционной позиции или представления издателей газеты о степени освоенности того или иного варваризма в узусе эмигрантов: некоторые газеты ориентируются на потенциальных читателей во многих странах (в этом случае подтолкования обычны), другие издания – на региональные колонии русских беженцев (в этом случае подтолкования встречаются спорадически; предполагается общая апперцепционная база беженцев, живших в одной стране).

Принцесса Мэри, графиня Хервусская, по случаю Нового года пожалована титулом королевской принцессы – («*принцесс-рояль*»)⁵³ (Возрождение. 1932. 2 янв. № 2405);

Национальный Фашистский Институт по борьбе с несчастными случаями во время работы (*аксиданы*) и с профессиональными болезнями (Сигнал. 1938. 15 сент. № 39);

3 и 4 февраля произошли [в Данциге. – А.З.] коммунистические выступления. Небольшие группы подонков организовали шествие к Сенату. Ярко бросались в глаза алые знамена с надписью «Долой социал-демократию», «Смерть лжецам социал-демократии», «Да здравствует III Интернационал». А по бокам этой шумной и хулиганящей толпы шли чинно, в ногу, в такт звукам «Интернационала» данцигские <...> «*шупо*» (полицейские) (Дни. 1925. 11 февр. № 688).

Интересную семантическую трансформацию испытало понятие «официант», которое репрезентируется в нашем корпусе следующим лексическим рядом: *лакей* – *гарсон* – *кельнер* – *garçon*. Русские эмигранты обычно использовали два варваризма: *гарсон* и *кельнер/кельнерша*.

Гарсоны приглашаются на собеседование о своих насущных нуждах в ресторан «Пти Эрмитаж» (Последн. новости. 1940. 1 янв. № 6853).

⁵³ В газете опечатка; должно быть *принцесс рояль*.

Денотативное размежевание старого русского слова *лакей* и варваризма *гарсон* происходило по пути вытеснения первого (гиперонима) и узуализации второго (гипонима); конкретное по значению иноязычное заимствование имело более узкий объем понятия «работник ресторана, бара» в отличие от экстенсионала слова *лакей* «тот, кто состоит в прислуге».

Лакей (garçon), кельнерша и посудомойник с многолетней практикой <...> ищут постоянную работу в русских ресторанах [объявление. – А.З.] (Дни. 1926. 17 нояб. № 1161).

Варваризм *кельнер/кельнерша* используется эмигрантами для номинации профессии официантов не только в Германии, но и в Англии (собственные обозначения *waiter/waitress*), и в Советской России. Примечательно, что даже во Франции для наименования женщины-официанта было принято слово *кельнерша* [РЯЗ 2001: 56]. Несколько примеров из нашего корпуса:

Особенно бросается в глаза назойливое и настойчивое ухаживание за иностранцами [находящимися в СССР. – А.З.] прислуживающих им *кельнеров*. Все *кельнера*, конечно, являются агентами ГПУ (Сегодня. 1930. 1 янв. № 1);

...на одной из дорог близ Эпсома [в Англии. – А.З.], в канаве была найдена мертвой <...> молодая очень красивая девушка Ангела Кесон, служащая *кельнершей* в одном из чайных ресторанов Лондона (Руль. 1930. 20 июня. № 2906).

Таким образом, в эмигрантском узусе самым общим словом для обозначения официанта/официантки в ресторане был германизм *кельнер/кельнерша*, который практически вытеснил русское *лакей*. Галлицизм *гарсон*, судя по нашим материалам и данным других работ по языку русской эмиграции, являлся регионализмом.

По ходу изложения мы уже упоминали о фактах более раннего проникновения в эмигрантский узус некоторых слов, которые в русском языке метрополии оказались заимствованными позднее. Причина этого кроется как в собственно лингвистической плоскости (непосредственное контактирование языков, конечно, заметно облегчает процессы заимствования), так и в идеологической области (в советский дискурс некоторые буржуазные понятия проникали с трудом или цензурировались или вовсе запрещались, а старые варваризмы изгонялись из него). Приведем таблицу некоторых слов-варваризмов из нашего корпуса в сопоставлении с датой первой лексикографической фиксации лексемы в русском языке метрополии (см. таблицу 2).

Таблица 2

Слово в эмигрантской прессе	Первая фиксация слова в русском языке метрополии
<i>абсентизм</i>	начало XX в. [Лексика 1981: 307]
<i>ажюстер</i>	конец XIX–нач. XX в. [Лексика 1981]
<i>гангстер</i>	начало 40-х годов XX в. [Крысин 1968]
<i>герл</i>	<i>гёрлс</i> : И-79
<i>дискофил</i>	СЭС
<i>дуче</i>	И-64
<i>инсайд</i>	40–50-е годы [Крысин 1968]
<i>канотье</i>	Орф-74

Слово в эмигрантской прессе	Первая фиксация слова в русском языке метрополии
<i>киднэппер</i>	середина 60-х годов (<i>киднэппинг</i>) [Крысин 1968]
<i>клипс(а)</i>	начало 70-х годов: Ож-73
<i>комбатант</i>	И-64
<i>Луна-парк</i>	СУ: <i>доревол.</i> [юционное] и <i>загр.</i> [аничнос]
<i>наци</i>	40-е годы: БАС-1
<i>промотер</i>	<i>промотор</i> : И-64
<i>ракитир = ракеттер</i>	МАС-1
<i>рестлинг</i>	<i>реслинг</i> : НС
<i>солидаризм</i>	70-е годы [БСЭ-2]
<i>туид</i>	<i>твид</i> : Орф-74
<i>уикэнд</i>	середина 60-х годов [Крысин 1968]
<i>функционер</i>	СУ: <i>нов.</i> [ое] <i>загр.</i> [аничное]; ср. актуализацию: ТСРЯ 1998: 655–656

ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ

Влияние первого языка на второй обычно называют трансфером, который может быть квалифицирован либо как позитивный трансфер (перенос сходных элементов из одного языка в другой), либо как негативный (необоснованное перенесение лексического элемента в другой язык⁵⁴). Одним из проявлений этих двух типов трансфера являются так называемые «ложные друзья» (франц. *faux-amis*, англ. *false friends*, *boundary misplacement*) – лексемы в двух (и более) языках, близкие в фонологическом и даже графическом отношении, но различающиеся объемом значений⁵⁵. Таким образом, перенос оказывается обоюдоострым лингвистическим оружием для говорящего: он может помочь в освоении языка, но также может и заманить в языковую ловушку. Такая двойственная природа близких слов стала объектом изучения уже в 1920-е годы [Koessler, Dégosquiny 1928], в теории билингвизма в 1950-е годы (У. Вайнрайх, Э. Хауген, Р. Ладло). В настоящее время «ложные друзья» широко изучаются как на материале устной [Hutz 2004], так и письменной речи [Kramsch, Thome 2001]. Исследователи сходятся во мнении, что «ложные друзья» в речевой практике билингвов – это проявление языковой коррозии. Это относится не только к устному использованию языка, когда спонтанность, быстрота речевой реакции снижают контроль индивида за своей речью, но и к письмен-

⁵⁴ Ср. следующее высказывание: «[“Ложные друзья”] часто ассоциированы с исторически и культурно соотносительными языками, как английский, немецкий и французский, но фактически “ложные друзья” (*false friends*) имеются в большом количестве также в совершенно несоотносительных языках, как английский, японский и русский» [Baker 1992: 25].

⁵⁵ Ср. следующее определение понятия в теории «переводоведения», где эта проблема «ложных друзей» стоит особенно остро: «Слова, полностью или частично совпадающие по звуковой или графической форме с иноязычными словами при наличии полной этимологической общности между ними, но имеющие другое значение при известной смысловой близости (отнесенности к одной общей сфере применения)» [Федоров 1983: 140]. Зарубежная литература, рассматривающая данную проблематику, весьма обширна, укажем несколько последних работ [Partington 1998; Armstrong 2005; Ringbom 2006].

ной практике. Встреча когда-то уже заимствованного в русский язык слова со своим прототипом, обладающим в языке-доноре более широким набором значений, оказывает существенное влияние на речевую практику эмигрантов и приводит к развитию в эмигрантском (некодифицированном и кодифицированном) узусе двух взаимосвязанных процессов:

1) активизация или появление слов, схожих в графическом или звуковом облике, но в русском нормативном языке различающихся семантически: *императорская фамилия*⁵⁶ (ранняя калька с нем. *Kaiserliche Familie*), эта калька активизировалась в эмиграции, хотя было возможно и параллельное использование словосочетания *царская семья*:

...знавшие значение воплощенной в *Царской Семье* угрозы, большевики попытались истребить всех членов ее (Младоросская искра. 1933. 5 янв. № 26);

Государь с Государыней стояли вблизи аналая, а дочери Их – Наследник отсутствовал – как и *Императорская Фамилия*, бывшая почти в полном составе, стояли поодаль. По окончании молебна, во время чтения диаконом Высочайшего Манифеста об объявлении войны, послышались рыдания – то плакали некоторые из членов *Императорской Фамилии* (Рус. голос. 1934. 29 июля. № 173).

Происходит и неоправданное расширение семантического объема русских слов и смешение синонимичных лексем под влиянием какого-либо иноязычного понятия, семантика которого безразлична к смысловым тонкостям русских эквивалентов; наблюдается так называемая ложная синонимизация. Рассмотрим несколько примеров:

– *красивая* выставка (франц. *beau* «прекрасный, превосходный, отличный»; ср. *très beau* «очень красивый»):

Очень *красивая* выставка открылась вчера в 2 часа дня в доме № 9 рю Дюрок. <...> Здесь выставлены игрушечные крепости, деревни, куклы, выпуклые лото, хальма и т. д. (Дни. 1926. 19 нояб. № 1163).

– *примитивные* права человека вместо правильного *элементарные* права; смешение на основе общей семы «простой, базовый, основной, изначальный»; ср. англ. *primitive, elemental*, франц. *primitif* (masc.), *élémentaire*, в семантической структуре обоих слов есть общие, пересекающиеся семантические компоненты, которые могли подтолкнуть пишущего к неправильному выбору слова:

Один за одним мы читаем горячие протесты против большевистской деспотии со стороны меньшевиков, соц.[иалистов]-революционеров, в том числе и левых. В этих протестах не только перечислены все преступления большевиков не только против социализма и демократии, но и против *примитивнейших* прав человека. Все партии и группы, социалистические и несоциалистические, жаждут ухода, исчезновения общего врага – большевиков (Возрождение. 1919. 15 окт. № 88).

– *даровать* звание (ср. франц. *décerner des grades universitaires* «присвоить, присудить ученую степень»; очевидно, произошло смешение, вернее – семантическая нейтрализация в языковом сознании пишущего глаголов *присуждать, присваивать* и *даровать* (французский глагол *décerner* может быть переведен каждым из этих глаголов в зависимости от конституции); смешение можно объяснить их стилистической принадлежностью к книжной лексике. В нижеследующем примере, однако, тематика пропозиции

⁵⁶ Этот лексический трансфер (*фамилия* вместо *семья* при наличии в русском языке лексемы *фамилия* в значении «родовое, семейное наименование») часто встречается у иностранцев, изучающих русский (особенно это касается лиц, владеющих европейскими языками). Отмечена она и в устной речи эмигрантов: [Pfundl 1997: 373–394 (цит. по: ЯРЗ 2001: 455)].

требует использования русского глагола *даровать*, так как речь идет о королевской особе):

Сенат Лейденского университета *даровал* почетное звание доктора философии наследнице престола принцессе Юлиане, которая в течение нескольких семестров изучала в университете государство и международное право, а также историю (Руль. 1930. 4 янв. № 2768).

2) семантическое расширение ранних заимствований под давлением прототипа. У индивида формируется лингвоассоциативная цепная реакция: внешнее (формальное, звуковое, графическое) сходство слов → семантическая идентичность давно адаптированного в русском языке заимствования и его прототипа. Назовем этот процесс лексической и семантической аппликацией: наложением нового, калькированного, значения на закрепленное, кодифицированное в русском языке значение, при сохранении формального облика слова. Семантическая аппликация была весьма частотна в эмигрантской прессе и нередко не замечалась говорящими (пишущими). Приведем несколько примеров:

– *аудиенция* (нем. *Audienz* «беседа, прием»; ср. русск. *аудиенция* «официальный прием у какого-либо высокопоставленного лица»):

Парижская радиостанция передала *аудиенцию*, специально посвященную Достоевскому. Вступительное слово произнес Б.Ф. Шлецер, критический очерк – Лев Шестов. Затем были прочтены отрывки из произведений писателя (Меч. 1937. 11 апр. № 14);

– *унитарный* (очевидная калька с франц. *fraction élémentaire* «первичное подразделение»; возможно допустить смешение с *unitaire* «единичный, унитарный»; ср. русск. *унитарный* «объединяющий, единый»):

Технике организации взаимодействия огня и движения невозможно научить даже самой талантливой беседой. Этого умения можно достичь только путем многократной тренировки в работе *унитарного* отделения на реальной местности (Голос России. 1932. сент.-окт. № 13–14);

– *санитарный* (англ. *sanitary* «очистительный, гигиенический»; ср. русск. *санитарный* «связанный с санитарией; удовлетворяющий требованиям санитарии»):

...в РОВС-е всякое высокое назначение сопряжено с пожизненной индульгенцией на прощение грехов. Поэтому мы и надеяться не можем, чтобы *санитарные* мероприятия добрались до высоких «функционеров»... (Сигнал. 1938. 1 окт. № 40);

– *практика* (франц. *pratique* «опыт, навык»; ср. русск. *практика* «деятельность врача или юриста»):

Лаксей (garçon), кельнерша и посудомойник с многолетней *практикой* <...> ищут постоянную работу в русских ресторанах [объявление] (Дни. 1926. 17 нояб. № 1161);

– *универсальный* (франц. *universel* «общий»; ср. русск. *универсальный* «разносторонний, охватывающий многое; пригодный для многого, с разнообразными функциями»):

...жестоким чисткам подвергся аппарат и великорусских центров. Особенно пострадали здесь те группы коммунистов, которые были связаны с той или иной областью идеологической работы. <...> Эта *универсальная* чистка не оставила незатронутой и самую верхушку партийной пирамиды: Политбюро (Меч. 1937. 4 апр. № 13);

– *бенефис* (франц. *bénéfice* «барыш, прибыль, доход»; ср. русск. *бенефис* «спектакль в пользу одного из участвующих»; здесь – праздник, радость по поводу хорошего барыша, часвых):

Шоферы, извозчики и ночные сторожа справляли [в новогоднюю ночь. – А.З.] настоящий *бенефис* (Сегодня. 1930. 2 янв. № 2);

– *камера* (франц. *chambre* «отделение суда»; ср. русск. *камера* – одно из значений в СУ таково: «собрание народных представителей в конституционных государствах, палата депутатов (устар.)»). В русском языке метрополии эта лексема вышла из узуса как неактуальная, в эмигрантском же узусе ее существование подкреплялось прототипической формой:

В 1-й *камере* гражданского трибунала деп.[артамента] Сены разбиралось на днях не лишнее дело (Возрождение. 1939. 14 июля. № 4192);

– *импозантный* (франц. *imposant* «величественный, внушительный, представительный»; ср. русск. *импозантный* «производящий впечатление (о внешности, поведении)»):

Польское население Варшавы, Кракова и Познани организуется с помощью многочисленных комитетов для защиты Верхней Силезии. Движение приняло *импозантный* характер (Призыв. 1919. 5(23) сент. № 46);

– *фронтальная*⁵⁷ комната (очевидно, из польск. *frontowa* «фасадная, передняя», куда из франц. *front* «фасад», т.е. комната, окна которой выходят на фасад дома; ср. русск. *фронтальной* «находящийся в первой шеренге; находящийся на передовой линии боя»):

Комната *фронтальная* на Маршалковской с полным пансионом... (За свободу. 1925. 4 янв. № 3 (1407)).

Итак, «ложные друзья» – это конкретное проявление интерференции в языковой практике эмигрантов, возникающее и функционирующее не только в устной речи, но проникающее и на страницы печатной продукции. Смещение ранее заимствованных слов с прототипами в языке-доноре обусловлено несовпадением лексико-семантической структуры сходных (в формальном, графическом отношении) лексем в разных языках и переносом одного из значений иноязычного прототипа. Так появляется семантически модифицированное, рожденное в результате языковой коррозии слово в речевой практике индивидов. Основная морфологическая зона «ложных друзей» – имена существительные и прилагательные. Можно ли только эмигрантов упрекать за смешение близкозвучных слов, относящихся к разным языковым системам? Конечно, нет, так как аналогичные процессы могут происходить и в языковой практике индивидов, живущих в метрополии и использующих различные регистры литературного и разговорного языков. Однако в эмиграции языковой «иммунитет» к такого рода смешению снижается, и в речевой практике не одного или нескольких индивидов, а в массовом количестве, практически в речи всех без исключения эмигрантов, появляются «ложные друзья». С психолингвистической позиции это легко объяснимо: сходство плана выражения слова в русской и иноязычной лексической системе в лингвосознании и речевом поведении говорящего/говорящей вызывает чаще всего не повышенную языковую осторожность, а напротив – психоментальное облегчение: хорошо, что не нужно лишней раз «напрягаться», потому что и «у них» какое-либо слово такое же, как «у нас». Это и служит психологической основой первоначальной идентификации и в дальнейшем субституции двух похожих слов. Возможность же различия в плане содержания близкозвучных лексем отодвигается в лингвосознании подавляющего большинства индивидов на задний план и, как правило, игнорируется. Очевидно, такой психолингвистический процесс,

⁵⁷ В устной речи разница проявляется в ударении: в польском слове ударение на втором слоге, в русском языке прилагательное *фронтальной* имеет ударение на конечном слоге. В письменном тексте эта разница нивелируется.

происходящий в речевом сознании индивида/индивидов, мотивируется и регламентируется так называемым «законом экономии речевых усилий»⁵⁸.

ВЫВОДЫ

1. Тематическая классификация лексических варваризмов позволяет установить наиболее проницаемые зоны для заимствования. Тематика заимствований, представленная в нашем материале, близка к классификации Д. Эндрюса, предложившего семантическую типологию варваризмов/заимствований в речи третьей волны эмиграции (в США). Практически совпадающие семантические типы лексических варваризмов в нашей работе и монографии Д. Эндрюса – свидетельство языковых универсалий в сфере заимствований, независимо от периода (волны) эмиграции.

2. Проникновение варваризмов в русскую эмигрантскую публицистику осуществлялось в следующих тематических зонах: а) профессиональные номинации (преимущественно рабочие профессии, занятия; ресторанное обслуживание); б) общественно-политическая лексика (особенно активно инкорпорировались понятия фашистской идеологии; оценка их была зачастую диаметрально противоположна в разных эмигрантских группах); в) сфера развлечений, культуры; г) спортивная область (преобладают, как и следовало ожидать, английские заимствования, что было связано с интернационализацией английской спортивной терминологии); д) технические номинации немногочисленны, но показательны и свидетельствуют о сосуществовании двух тенденций: сохранении старых, дореволюционных, номинаций и проникновении новых (радио, кино, телевидение); е) бытовые обозначения (прежде всего из французского языка).

3. Вариативность – неотъемлемое свойство, сопровождающее процесс заимствования на графико-орфографическом, морфологическом, лексико-семантическом уровне. Заметно иноязычное влияние (категория числа, рода), вызывающее грамматическую трансформацию старых заимствований.

4. Непосредственное языковое контактирование, отсутствие идеологических лингвоселективных факторов, сдерживающих проникновение иноязычной лексики в русский язык СССР в 20–30-е годы, способствовали более раннему появлению и использованию некоторых иноязычных лексических элементов в эмигрантском узусе, чем в русском языке метрополии.

5. «Ложные друзья» – практически неизбежный спутник билингвальных индивидов, сопровождающий их лингворечевое поведение не только в устной коммуникации, но даже проникающее и в письменные (кодифицированные и лингвоотрефлексированные) жанры и стили. Это происходит вследствие ослабления дистинктивных семантических связей близких лексем в разных языковых системах (русской и иноязычной) и попыток «выравнивания» («подравнивания») значений под один общий графико-фонетический «знаменатель».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арапова 1989 – *И.С. Арапова*. Варваризмы как этап в освоении иноязычного слова // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1989. № 4.
- Аристова 1978 – *В.М. Аристова*. Англо-русские языковые контакты (англицизмы в русском языке). Л., 1978.
- БАС-1 – Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.: Л., 1948–1965.
- Баш 1989 – *Л.А. Баш*. Дифференциация термина «заимствование»: хронологический и этимологический аспекты // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1989. № 4.
- Брагина 1981 – *А.А. Брагина*. Чужое – всё-таки чужое: О стилистической роли заимствований // Рр. 1981. № 4.

⁵⁸ В этой связи приведем парадоксалистское утверждение Е.Д. Поливанова: «Причина эволюции – лень» [Поливанов 1968: 81].

- БСЭ-2 – Большая советская энциклопедия. Т. 1–30. М., 1969–1978.
- Вайнрайх 1979 – У. Вайнрайх. Языковые контакты: (Состояние и проблемы исследования). Киев, 1979.
- Васянина 2001 – Е. Васянина. Наброски к лингвистическому портрету русских американцев // РЯЗР. 2001. № 2.
- Габинский 1961 – М. Габинский. Проблема лексического заимствования и единый критерий // Уч. зап. Ин-та языка и лит-ры АН МССР. Т. 10. 1961.
- Гловинская 2001 – М.Я. Гловинская. Язык эмиграции как свидетельство о неустойчивых участках языка метрополии (на материале русского языка) // Жизнь языка: Сб. ст. к 80-летию М.В. Панова. М., 2001.
- Грановская 1978 – Л.М. Грановская. О некоторых семантических изменениях в русской литературной лексике последней трети XIX – нач. XX в. // Экскурсы в историю русской лексики. М., 1978.
- Грановская 1983 – Л.М. Грановская. Некоторые особенности развития словарного состава русского языка в 20-е годы и проблема нормы // Литературная норма в лексике и фразеологии. М., 1983.
- Егорова 1983 – Г.М. Егорова. Понятие и классификация заимствованных слов // Проблемы современной русской лексикологии. Калинин, 1983.
- Жанр 2004 – Особенности русской устной речи в Финляндии и Санкт-Петербурге / М. Лейнонен (ред.). Tampere: Slavica Tampereensia VI. Tampere, 2004.
- Зеленин 1991 – А.В. Зеленин. Рэкет и рэкетирь // Рр. 1991. № 3.
- Зеленин, Михайлова 1993 – А.В. Зеленин, Н.Е. Михайлова. Мафия и мафиози // Рр. 1993. № 5.
- И-64 – Словарь иностранных слов. М., 1964.
- И-79 – Словарь иностранных слов. М., 1979.
- Карцевский 2000 – С.И. Карцевский. Язык, война и революция // С.И. Карцевский. Из лингвистического наследия / Сост., вступит. ст. и коммент. И.И. Фужерон. М., 2000.
- Кимягарова 1989 – Р.С. Кимягарова. Типы и виды адаптаций заимствованной лексики в русском языке нового времени (XVIII–XX вв.) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1989. № 6.
- КСЛТ 1995 – Краткий словарь лингвистических терминов / Н.В. Васильева, В.А. Виноградов, А.М. Шахнарович (ред.). М., 1995.
- Крысин 1968 – Л.П. Крысин. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968.
- Лексика 1981 – Лексика русского литературного языка XIX – начала XX века / Ф.П. Филин (ред.). М., 1981.
- Мартине 1999 – А. Мартине. Распространение языка и структурная лингвистика // Зарубежная лингвистика. III / В.Ю. Розенцвейг, В.А. Звезгинцев, Б.Ю. Городецкий (общ. ред.). М., 1999.
- МАС-1 – Словарь русского языка: В 4 т. М., 1957–1961.
- Мечковская 2004 – Н.Б. Мечковская. Чем интересен русский язык в рассеянье? Рец. на: Е.А. Земская (отв.ред.). Язык русского зарубежья: Общие вопросы и речевые портреты (= Studia philologica, Wiener Slavistischer Almanach, Sonderband 53). М.; Вена 2001 // R Ling. 2004. V. 28.
- Найдич 2002 – Л. Найдич. Русский язык в Израиле // Русский язык в диаспоре: проблемы сохранения и преподавания. М., 2002.
- Новиков 1963 – Л.А. Новиков. О семантическом переоформлении заимствованных слов в русском языке // РЯШ. 1963. № 3.
- Новикова 1992 – Н.В. Новикова. Звонкое иноязычие // Рр. 1992. № 4.
- НС – Новые слова и значения: Словарь-справочник (по материалам прессы и литературы 60-х годов) / Н.З. Котелова, Ю.С. Сорокин (ред.). М., 1971.
- Оглезнева 2004 – Е.А. Оглезнева. Русский язык Зарубежья: восточная ветвь // ИАН СЛЯ. 2004. Т. 63. № 2.
- Ож-73 – С.И. Ожегов. Словарь русского языка / Н.Ю. Шведова (ред.). М., 1973.
- Орф-74 – Орфографический словарь русского языка. М., 1974.
- Поливанов 1968 – Е.Д. Поливанов. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
- Попов 2003 – Р.В. Попов. Этносоциальные особенности спортивных терминов-американизмов в русском языке // Проблемы сохранения вербальной и невербальной традиции этносов. Кемерово, 2003.
- Протасова 2000 – Е.Ю. Протасова. Лексические особенности русскоязычной прессы в Германии // ИАН СЛЯ. 2000. № 4.
- Протасова 2004 – Е.Ю. Протасова. Феннороссы: жизнь и употребление языка. СПб., 2004.

- Пфандль 1994 – Х. Пфандль. О языке русской эмиграции // Рр. 1994. № 3.
- РЯЗ 2001 – Русский язык зарубежья / Е.В. Красильникова (ред.). М., 2001.
- Сепир 1993 – Э. Сепир. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- СУ – Толковый словарь русского языка / Д.Н. Ушаков (ред.). Т. 1–4. М., 1935–1940.
- СЭС – Советский энциклопедический словарь. М., 1979.
- ТСРЯ – Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / Г.Н. Складеревская (ред.). СПб., 1998.
- Шахрай 1961 – О.Б. Шахрай. К проблеме классификации заимствованной лексики // ВЯ. 1961. № 2.
- Федоров 1983 – А.В. Федоров. Основы общей теории перевода. М., 1983.
- ЯРЗ 2001 – Язык русского зарубежья: Общие процессы и речевые портреты / Е.А. Земская (ред.). М.: Вена, 2001.
- Amsler 1952 – J. Amsler. Comment parlent les sportifs. La langue du football // Vie et langage. Paris, 1952. № 1.
- Andrews 1999 – D.R. Andrews. Sociocultural perspectives on language change in diaspora: Soviet immigrants in the United States. Amsterdam; Philadelphia, 1999 (= Studies in language and society. V. 5).
- Armstrong 2005 – N. Armstrong. Translation, linguistics, culture: A French-English handbook. Multilingual Matters. 2005.
- Baker 1988 – M.C. Baker. Incorporation. A theory of grammatical function changing. Chicago, 1988.
- Baker 1992 – M.C. Baker. In other words: A coursebook on translation. London; New York, 1992.
- Baker 2003 – M.C. Baker. Lexical categories: verbs, nouns and adjectives. West Nyack (New York), 2003.
- Becker 1970 – K. Becker. Sportanglizismen im modernen Französisch. Meisenheim am Glan, 1970.
- Benson 1957 – M. Benson. American influence on the immigrant Russian press // American Speech. V. XXXII. 1957. № 4.
- Benson 1958 – M. Benson. English loanwords in Russian sports terminology // American Speech. V. XXXII. 1958. № 4.
- Blanc 2000 – M. Blanc. Bilinguality and Bilingualism. Port Chester (New York), 2000.
- Bybee et al. 1994 – J.L. Bybee, R.D. Perkins, W. Pagliuca. The evolution of grammar: tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago, 1994.
- Cummins 1979 – J. Cummins. Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children // Review of educational research. 1979. № 49.
- Dauzat 1929 – A. Dauzat. Le langage des sports // A. Dauzat. La vie du langage. Paris, 1929.
- Field 2002 – F.W. Field. Linguistic borrowing in bilingual contexts. Foreword by B. Comrie. Philadelphia, 2002.
- Fishman 1985 – J.A. Fishman. Positive bilingualism: some overlooked rationales and forefathers // J.A. Fishman, M.H. Gertner, E.G. Lowry, W.G. Milán. The rise and fall of the ethnic revival: perspectives on language and ethnicity. Berlin, 1985.
- Haugen 1953 – E. Haugen. The Norwegian language in America. A study in bilingual behaviour. Philadelphia, 1953.
- Heien 1984 – L.G. Heien. Loanword recognition in Russian // RLing. V. XXXVIII. 1984. 13 (1).
- Hutz 2004 – M. Hutz. Is there a natural process of decay? A longitudinal study of language attrition // M.S. Schmid (ed.). First language attrition. Interdisciplinary perspectives on methodological issues. Philadelphia, 2004.
- Jaspaert, Kroon 1992 – K. Jaspaert, S. Kroon. From the typewriter of A. L.: A case study in language loss // W. Fase, K. Jaspaert, S. Kroon (eds.). Maintenance and loss of minority languages. Amsterdam; Philadelphia, 1992.
- Jessner 2003 – U. Jessner. A dynamic approach to language attrition in multilingual systems // V.J. Cook (ed.). Second language acquisition, 3. Effects of the second language on the first. Clevedon, 2003.
- Koessler, Derocquiny 1928 – M. Koessler, J. Derocquiny. Les faux amis: ou, les trahisons du vocabulaire anglais. Paris, 1928.
- Kramersch, Thorne 2001 – C.L. Kramersch, S.L. Thorne. Foreign language learning as global communicative practice // D. Block (ed.). Globalization and language teaching. London, 2001.
- Lehikoinen 1990 – R. Lehikoinen. Словарь революции – революция в словаре? Аббревиатуры и иноязычная лексика в русском языке первого послереволюционного десятилетия: Дис. ... докт. филол. наук. Helsinki, 1990. Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 32.
- Lehman 1962 – W. Lehman. Historical linguistics: an introduction. New York, 1962.
- Mazon 1920 – A. Mazon. Lexique de la guerre et de la revolution en Russie. 1914–1919. Paris, 1920.

- Meechan, Poplack 1985 – *M. Meechan, Sh. Poplack*. Orphan categories in bilingual discourse: Adjectivization strategies in Wolof-French and Fongbe-French bilingual discourse // *Language variation and change*. 1985. № 7.
- Muysken 2000 – *P. Muysken*. Bilingual speech: a typology of code-mixing. Port Chester; New York, 2000.
- Myers-Scotton 1993 – *C. Myers-Scotton*. Duelling languages. Grammatical structure in codeswitching. Oxford, 1993.
- Myers-Scotton 2002 – *C. Myers-Scotton*. Contact linguistics. Bilingual encounters and grammatical outcomes. Oxford, 2002.
- Naiditch 2004 – *L. Naiditch*. Russian immigrants of the last wave in Israel. Patterns and characteristics of language usage // *Wiener Slawistischer Almanach*. Bd. 53. Wien, 2004.
- Odlin 1989 – *T. Odlin*. Language transfer: cross-linguistic influence in language learning. Cambridge, 1989.
- Olmsted 1986 – *H. Olmsted*. American interference in the Russian language of the third-wave emigration: Preliminary notes // *Folia Slavica*. V. 8. 1986. № 1.
- Orr 1935 – *J. Orr*. Les anglicismes du vocabulaire sportif // *Le français moderne*. 1935. № 3.
- Pasqualini 1974 – *F. Pasqualini*. Sport et langue anglaise // *Vie et langage Paris*. 1974. № 269.
- Partington 1998 – *A. Partington*. Patterns and meanings: using corpora for English language research and teaching. Amsterdam, 1998.
- Pfandl 1997 – *H. Pfandl*. Normabweichungen und Regelverstöße bei Emigrant(inn)en mit russischer Erstsprache und Lernenden des Russischen als Fremdsprache: Unterschiede und Gemeinsamkeit // *Ars transferendi. Sprache, Übersetzung, Interkulturalität* / D. Huber, E. Wörbs (Hrsg.). Frankfurt-am-Main u.a. 1997.
- Poplack et al. 1988 – *Sh. Poplack, D. Sankoff, Ch. Miller*. The cosial correlatives and linguistic processes of lexical borrowing and assimilation // *Linguistics*. 1988. № 26.
- Poplack, Meechan 1998 – *S. Poplack, M. Meechan*. How languages fit together in codemixing // *International journal of bilingualism*. V. 2. 1998. № 2.
- Ringbom 2006 – *H. Ringbom*. Cross-linguistic similarity in foreign language learning. (Second language acquisition). 2006.
- Sankoff et al. 1990 – *D. Sankoff, Sh. Poplack, S. Vanniarajan*. The case of the nonce loan in Tamil // *Language variation and change*. 1990. № 2.
- Schneider 1974 – *P. Schneider*. Die Sprache des Sports. Düsseldorf, 1974.
- Thomason, Kaufman 1988 – *S.G. Thomason, T. Kaufman*. Language contact, creolization and genetic linguistic. Berkeley, 1988.
- Vierek 1980 – *W. Vierek*. Studien zum Einfluss der englischen Sprache auf das Deutsche. Tübingen, 1980.
- Weinreich 1953 – *U. Weinreich*. Languages in contact. The Hague, 1953.

ИСТОЧНИКИ

- Анархич. вестник** – Анархический вестник. Орган объединенной анархистской организации (в США и Германии). Берлин, 1923–1924. № 1–7.
- Вести дня** – Вести дня. Независимая беспартийная русская газета. Таллинн, 1927–1934 (газета демократического направления).
- Возрождение** – Возрождение (Renaissance). Беспартийная демократическая газета. Копенгаген, 1919.
- Возрождение** – Возрождение. Ежедневная (1925–1935) и еженедельная (1936–1940) газета. Орган русской национальной мысли. Основатель, главный редактор П.Б. Струве. Париж (право-монархическая газета).
- Воля России** – Воля России. Ежедневная газета. Прага. 1920–1921. № 1–327 (с 1922 – журнал политики и культуры. 1922–1932) (газета стояла на эсеровской и сменовеховской политических платформах; с 1925 г. усиливается литературно-критическое направление издания).
- Голос Родины** – Голос Родины. Общественная и политическая газета. Гаага, 1918–1919.
- Голос России** – Голос России. Орган Дальневосточного отдела РОВС. Редактор М.К. Дитерихс. Шанхай, 1931–1932 (военно-монархическая газета, близкая к позициям А.И. Деникина).
- Дни** – Дни. Dni: Russische Tageszeitung für Politik, Wirtschaft und Literatur [Русская ежедневная газета по вопросам политики, экономики и литературы]. Ежедневная (с сентября 1928 г.

- еженедельная) газета. Редактор А.Ф. Керенский. Берлин; Париж, 1923–1928 (газета стояла на эсеровских позициях).
- Младоросская искра** – Младоросская искра. Орган Союза младороссов во Франции. Париж, 1931–1940 (монархическая, профашистская газета, открыто выражавшая сочувствие большевикам).
- Меч** – Меч. Tygodnik gosyjski. Warszawa / Metch (Le Glaive). Hebdomadaire russe. Соредакторы Д.Ф. Философов (Варшава), Д.С. Мерзжковский (Париж). Варшава, 1934–1939 (либерально-демократическая газета).
- Огни** – Огни. Еженедельная газета культуры, науки, искусства и литературы. Прага, 1924 (газета русской художественной и научной интеллигенции).
- Последн. новости** – Последние новости. Ежедневная газета. Париж, 1920–1940 (одна из самых авторитетных эмигрантских газет; отражала кадетские взгляды).
- Призыв** – Призыв. Издание Союза русских писателей и журналистов в Королевстве С.Х.С. [сербов, хорватов, словенцев. – А.З.]. Белград, 1926. № 1–5 (воснная и монархическая газета).
- Рассвет** – Рассвет. Ежедневный орган Российских рабочих организаций Соединенных Штатов и Канады. Нью-Йорк, 1924–1940.
- Руль** – Руль. Ежедневная газета. Берлин, 1920–1931 (правокадетская и либерально-интеллигентская газета).
- Рус. голос** – Русский голос. Русская зарубежная общественно-политическая и воснная газета. Белград, 1930–1940 г. (монархическая и военная газета).
- Сегодня** – Сегодня. Независимая демократическая газета. Рига, 1919–1940 (либерально-демократическая газета).
- Сигнал** – Сигнал. Орган Русского национального союза участников войны. Париж, 1937–1939 (монархическая и военная газета).

© 2008 г. И. А. СЕРЖАНТ

**ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ХРОНОЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ ПАЛАТАЛИЗАЦИИ
ПРАБАЛТИЙСКИХ *k И *g В ЛАТЫШСКОМ
(ареальная интерпретация)***

Основной целью данной работы является ареальная интерпретация процессов палатализации прабалтийских велярных в пралатышском языке при учете данных относительной хронологии. Выдвигаются предположения, что (а) результаты пралатышских палатализаций (1) прабалт. *k > c и (2) пралатышск. *k > k (среднеязычный звук, близкий по произношению мягким k' и t') совпадают с древнекривичскими континуантами рефлексов 1-й и 2-й палатализаций; что (б) результаты прабалтийские и праславянские *-skj-, *-sk' и *-zgj-, *-zg'- в пралатышском языке и в древнекривичском диалекте произносились одинаково как [ш'т'] и [ж'д'] соответственно. Такое состояние сохраняется в современном латышском литературном языке и в западных латышских говорах вообще. В восточнолатышских же говорах позднее происходит вторая аффрикатизация k > č (после XIV века), являющаяся (в) общим процессом в восточнолитовских (аукштайтских говорах.)

0. ВВЕДЕНИЕ

0.0. В балтистике используется иногда термин «аффрикатизация». Учитывая, что в дальнейшем речь будет идти о сравнении со славянскими 1-й и 2-й палатализациями, мы будем в данной работе для латышского материала применять термин «палатализация».

0.1. Данная статья посвящена относительной хронологии палатализации прабалтийских велярных *k и *g, а также ареальной интерпретации затронутых процессов. Фонетические изменения разделяются на абстрактные этапы и рассматриваются отдельно на каждом из данных этапов.

0.2. В настоящем исследовании не обсуждаются внутренние причины палатализации. Цель данного исследования – сравнение небольших отрезков в относительной хронологии фонетических изменений двух соседних языков. Выявленное в ходе исследования сходство этих отрезков не может быть объяснено как случайное, поскольку одинаковая последовательность и одинаковые результаты фонетических изменений сводят фактор случайности к минимуму. Кроме того, контакты между древнерусскими и древними латышскими племенами засвидетельствованы как исторически (см., например [Назарова 2002]), так и лингвистически [Seržant 2006]. Таким образом, мы приближаемся к установлению «внешних причин» определенного фонетического процесса, являющихся зачастую основным катализатором при выборе среди потенциальных сценариев, к которым язык предрасположен в силу внутренних/системных причин [Чекман 1981]. Как и в любой другой работе по языковой интерференции в области фонетики древнего периода, для языков, засвидетельствованных только в письменных памятниках, мы будем опираться на фонетическую реконструкцию обсуждаемых фонем, вследствие чего их идентичность может быть доказана только теоретически.

Вообще говоря, даже для современных языков исключение случайности сходства определенных фонетических явлений в двух соседних языках, особенно когда речь идет

* Выражаю признательность проф. А. Хольфуту за обсуждение данной статьи и замечания по некоторым вопросам. Я также очень благодарен П.М. Аркадьеву (Москва) за стилистические замечания.

о частых, встречающихся повсеместно («тривиальных») фонетических переходах, может быть очень затруднено или даже невозможно. Как уже было подчеркнуто в [Сержант 2005: 39–40], основным способом устранения возражений о возможной случайности сходства двух определенных фонетических переходов в соседних языках может быть установление относительной хронологии фонетических переходов в этих языках. Если же в этих хронологических цепочках окажутся общие отрезки, т.е. целый ряд переходов, прошедших в одинаковом порядке в обоих языках, то в таком случае, – даже если речь идет о «тривиальных» фонетических переходах, – случайное совпадение становится маловероятным (обратно пропорционально длине/плотности схожих отрезков).

Следуя этой методике мы надеемся доказать **неслучайность сходства рефлексов 1 и 2 палатализаций в древнем кривичском диалекте и пралатышском языке.**

ПОЭТАПНОЕ РАССМОТРЕНИЕ

1 этап (пралатышский):

1.1. Описание этапа

В пралатышском произошел переход прабалт. $*k$ перед гласными переднего ряда, а также перед $*j$ в c ($*g > dz$, аналогично), т.е. $*k + E > *c' > c$, $*k + i > *c' > c^1$. Очевидно, что, по крайней мере, изначально такое $*c'$ должно было быть смягченным. Итак, для пралатышского мы можем установить следующую систему:

Пралатышский $k c'$

Для удобства в данной работе мы будем называть этот процесс Первой латышской палатализацией (1Пл).

1.2. Ареальная интерпретация

Результат данного перехода полностью соответствует 1Пл в древнем западнорусском диалекте кривичей. Не вдаваясь в детали отметим², что, как показывают берестяные грамоты (с XI в.) результаты палатализации перед «первичными» (т.е. исконными, не возникшими в результате монофтонгизации и пр.) палатальными гласными, а также перед $*j$ следует учесть еще переход праслав. $*k > c''$ [ц''] [Зализняк 1995: 34] – некоторое различие лишь в степени мягкости, которая, однако, является результатом теоретических соображений, а не засвидетельствована реально (например, в специальной графеме или в современных псковских говорах). Аналогично, точное фонетическое звучание пралатышского $*c'$ не восстанавливается, т.е. вероятно, что здесь и не было отличий от древнекривичского рефлекса.

2 этап (общелатышский):

2.1. Описание этапа

В ходе дальнейшего развития в пралатышском появляются новые фонемы: в связи с некоторыми фонетическими изменениями, возникновением новой (аналогической) e -степени в корне, например: $*k'ert$ «хватать» из $*-kart$ ($aiz-kārt$ «вешать») по аналогии с синонимичным латышск. $vert$ «держать» [Endzelīns 1951: 186], а также вхождения в пралатышский язык ряда заимствований из литовского, немецкого языков и древнекуршского диалекта; в пралатышском появляются новые смягченные велярные фонемы $*k'_2$ и $*g'_2$ [условно, эти новые $*k'$ и $*g'$ мы будем обозначать с индексом 2, чтобы отличать их от древних, восточнобалтийских $*k'$ и $*g'$, прошедших 1Пл, например c в $celt$ из $*k'$ (см. выше § 1) и $ķ$ в $ķert$ из $*k'_2$]. К этому времени 1Пл фонетически и фонологически уже больше не действует, что видно из того, что эти новые палатализованные $*k'_2$ и $*g'_2$ с

¹ Здесь и далее E – палатальный контекст, т.е. палатальный гласный или $-j-$, A – непалатальный контекст, т.е. не E .

² При этом, не исключается возможность, что и в пралатышском и пракиривичском данный рефлекс был $*c'$, который лишь впоследствии (под влиянием прибалтийскофинских языков?) перешел в $*c' > c$. Ср. сноску 4.

восточнобалтийскими, древними $*k' > c$ и $*g' > dz$ не совпадают (например, ср. *ċelt* и *kērt*), а развиваются совсем иначе.

Хронология	Древние фонемы	Новая фонема
0. Пралатышский: $*k$	$*c'$	$(*k)$
1. Поздний Пралатышский: $*k *c' + E/$ $+ A *c + A$		$*k' > [k' \sim t']$ $+ E (A)$

(звонкие корреляты – аналогично)

2.2. Фонетическая форма фонем $*k'_2$ и $*g'_2$

Итак, как уже отмечалось выше, в пралатышском языке возникают вследствие различных причин новые фонемы $*k'_2$ и $*g'_2$. Для сравнения этих пралатышских фонем с соответствующими древнекривичскими фонемами необходимо рассмотреть данные современных латышских диалектов (верхнелатышского, ливонского и среднелатышского диалектов), чтобы наиболее точно определить их пралатышское произношение.

2.2.1. Данные верхнелатышского диалекта

Данные фонемы отображаются в современном латгальском наречии, относящемся к верхнелатышскому диалекту, как *č* и *dž* соответственно (см. ниже § 4). Как указал П. Аристе [Arište 1978: 121], процесс аффрикатизации $k' > č/g' > dž$ обычно проходит через стадию t' / d' . Таким образом, реконструкция праверхнелатышского произношения свидетельствует в пользу палатализованного веллярного, или палатализованного дентального: $[k' \sim t']$.

2.2.2. Данные среднелатышского и ливонского диалектов

В современных среднелатышском и ливонском диалектах данные фонемы произносятся как средненебные $[k']$ и $[g']$.

Рассмотрения указанных диалектов также свидетельствуют в пользу реконструкции поздне-общелатышского произношения $[t' \sim k'] / [d' \sim g']$ на месте $*k'_2 / *g'_2$. Как представляется, именно на относительно-хронологическом этапе позднего пралатышского языка промежуточная стадия $[t' \sim k'] / [d' \sim g']$ должна была быть достигнута: с одной стороны, в среднелатышских и ливонских говорах сегодня произносится средненебный звук, близкий к дентальному $[t'] / [d']$, а, с другой стороны, этот звук на письме всегда (начиная с текстов немецких пасторов, самые ранние переводы которых на латышский язык восходят к XVI в.) ассоциировался с графемами *k / g*; ср. также современное обозначение латышского литературного языка: *k/g̃*. Его фонетическая особенность объясняется особенностью развития палатализованных согласных в этих диалектах вообще (об этом подробнее см. [Ābele 1940: 218]).

2.2.3. Данные заимствований

В пользу древней стадии, близкой произношению $*t' / *d'$, свидетельствуют заимствования из древнерусских говоров: *suoģis* < др.-русск. соудъи, где др.-русск. *-d'* отображается через фонему *ģ*, аналогично *luģis* (диал.) из др.-русск. лодья [Endzelin 1899: 297], *ģeguots* (диал.) из русск. *деготь* [Endzelin 1899: 299], *ģerit* «reißen, zupfen» из русск. *дер-* (ср. *деру, дерешь*). Ср. также литер. *kūķes*, верхнелатышск. (Kalupe) *kīuķu (vokors)* «предрождественский вечер» из др.-русск. коутиа [Эндзелинь 1899: 306].

2.2.4. Восстанавливаемая фонетическая форма

Обобщая данные современных среднелатышского и ливонского (западных) диалектов (§ 2.2.2), где, на наш взгляд, сохранилось древнее произношение (эти диалекты находились в контакте с языками, для которых чужда аффрикатизация палатализованных согласных, т.е. с ливским и нижненемецким³, данные восточнославянских заимст

³ Аналогичная ситуация, кстати, и в литовском языке, где нижнелитовский (жемайтский) диалект сохранил древние, не претерпевшие аффрикатизацию, мягкие дентальные t' и d' на месте литературных, восточнолитовских (аукштайтских) $č'$ и $dž'$.

ний (§ 2.2.3) указывают на близость данных звуков произношению [t'] / [d']), мы предполагаем древнее произношение данных фонем как звуков, находившихся в диапазоне между $k' \sim t'$ и $g' \sim d'$ соответственно.

2.3. Ареальная интерпретация

2.3.1. Переход фонем $*k'_2$ и $*g'_2$ в звуки, находящиеся между звуками [k'] (древнее) и [t'] (позднее), соответствует результатам «неосуществленной» 2-й славянской палатализации в диалекте древних кривичей. Здесь общеслав. $*k$ и $*g$ перешли в [k'] и [g'] [Зализняк 1995: 37]. Произношение этих фонем в древнекривичском было, по-видимому, близко также и соответствующим мягким дентальным коррелятам, ср. примеры древненовгородского написания -жг- на месте церковнославянского -жд- и -цг- на месте [ш'к'], приведенные ниже в § 2.4. Возможно, что реликты данного произношения ([k' ~ t']) сохраняются в говорах севернее района Пыталово, находим где *рут'и* (вместо *руки*), *палт'и* (вместо *палки*) (ср. [ДАРЯ 1986: 68]).

Само по себе смягчение $*k'_2$ и $*g'_2$, естественно, еще не может однозначно указывать на общность данных процессов в пралатышском языке и кривичском диалекте. Доказательным аргументом, на наш взгляд, является относительная хронология:

- (i) в обоих языках возникают палатализации велярных перед палатальными гласными, при этом их результаты совпадают: $*k' + E > c' / c''$, при этом данный переход является в обоих языках одним из древнейших среди всех фонетических переходов⁴;
- (ii) в обоих языках возникает новая последовательность $*k$ и $*g$ перед палатальным гласным, не относящаяся к последовательности (i);
- (iii) в обоих языках эта новая последовательность дает опять одинаковый в обоих языках результат, но отличный от (i), т.е. $*k' + E > k' \sim t'$, $*g' + E > g' \sim d'$.

Позднее в обоих языках данная фонема в ее фонетическом облике (iii) сохранилась, практически, не изменившись, с той только разницей, что в пространстве русского языка она оказалась в диалектной зоне (в говорах псковской группы), а в Латвии в зоне среднелатышского диалекта, т.е. в зоне диалекта, легшего в основу литературного языка. В связи с этим в современных северо-западных русских говорах лексемы с [k] на месте 2-й палатализации не имеют регулярного характера⁵, а в литературном латышском языке данная фонема представлена, естественно, во всех этимологических позициях в обозначении *ķ*. Специфика произношения данного звука (среднеязычный, между $t \sim k$) определяется развитием палатализованных согласных в этом диалекте [Ābele 1940: 218].

Различие кривичского и пралатышского хронологических отрезков (i)–(iii) в развитии фонемы [k] состоит только в том, что само условие для второй палатализации (ii) возникало различными путями: в латышском это связано с введением новых фонем [k'_2] (а также [g'_2]), в славянских же языках – с появлением новых палатальных гласных из праславянского дифтонга $*oi$ ($* < и.-е. *ai, *oi, *āi, *ōi$). Кроме того, важно отметить, что

⁴ Известно, что общеславянская I палатализация дала во всех славянских языках *č*. Поскольку кривичский диалект является генетически диалектом древнерусского языка, т.е. разделяющим с древнерусским языком целый ряд исключительно восточнославянских инноваций (утрата носовых, полногласие и др., а также ряда морфологических инноваций, ср., например, список в [Крысько 1998: 82–83]), представляется более вероятным предположение не древнего отличия ($*k > c^{(1)}$) от общеславянского рефлекса палатализации $*k > c^{(2)}$, а более позднее изменение общеслав. $*č$ в $*c'$, прошедшее уже после распада восточнославянского единства. Именно в этом контексте следует рассматривать сходство пралатышского с кривичским диалектом в (i).

⁵ Ср. некоторые примеры: *кеп* «цепь», *кевь*, *кевка* «цевка», «шпилька», *кедить* «цедить» и др. [Зализняк 1995: 37].

рефлексы 1-й палатализации в пралатышском языке и др.-кривичском диалекте совпадают только для глухой фонемы: в пралатышском – звонкий и глухой велярные $*k' > c$, $*g' > dz$ (латышск. *celt*, *dzimt*: ср. лит. *kelti*, *gimti*) развились одинаково, в кривичском же диалекте только праслав. $*k > *č' > c$ (1 Пл), при праслав. $*g > ž$ (1 Пл).

2.3.2. Представленная здесь схема развития (i–iii) не может претендовать на полную точность в фонетическом определении данных фонем (в пралатышском) или аллофонов фонемы [k] (в кривичском диалекте) для каждого реконструируемого этапа. Эта схема сходства не запрещает, например, принятия для обоих языков первоначального рефлекса $*č'$ (как и в остальных славянских языках) для 1-й палатализации и c' для 2-й палатализации, изменившихся затем под влиянием прибалтийско-финского субстрата в засвидетельствованные в памятниках и берестяных грамотах c'' и k' соответственно. Мало того, именно такой вариант нам представляется наиболее вероятным (ср. сн. 4). Общее развитие в древнем кривичском диалекте и в пралатышском связано с общим для этих языков прибалтийско-финским субстратом (ср. [Лыткин 1961: 81 и сл.]). Данные фонетические изоглоссы (наряду с рядом заимствований X–XII вв., см. [Seržant 2006]) должны рассматриваться как свидетельство древних контактов в восточнобалтийском ареале⁶.

2.4. Появление сочетаний: псковск.-новг. [ж'д'], [ш'т'] и латышск. *š̥k*, *ž̥g* на месте $*zgj$, $*zg'$, $*sk'$, $*skj$

Среди псковско-новгородских инноваций В.Б. Крысько [Крысько 1994: 33] отмечает возникновение произношения [ж'д'] на месте праслав. $*zgj$, $*zg'$, $*zdj$ и, аналогично, [ш'т'] на месте праслав. $*skj$, $*sk'$, $*stj$ (подробнее см. [Зализняк 1995: 39–40]), обозначавшиеся на письме новгородско-псковских памятников как жг и щ соответственно [Крысько 1994: 34, 36]⁷. В латышском языке пралатышские группы $*-sk-$ и $*-zg-$ перед палатальными гласными переходят регулярно в *š̥k* и *ž̥g* соответственно, ср. латышск. *režģis* и литовск. диал. *rēzģis*, латышск. *š̥kelt* и литовск. *skelti*. Данные *š̥k* и *ž̥g* произносятся сегодня с твердой первой составляющей и среднеязычной, близкой [k'] и [t'] (звонкий коррелят – аналогично) второй составляющей: [š̥k' ~ š̥t'] и [ž̥g' ~ ž̥d']; при этом представляется неоспоримым, что отверждение составляющих [š̥-] и [ž̥-] вторично. Для пралатышского можно предположить звуки, аналогичные псковско-новгородским [ж'д'] и [ш'т'].

Отождествив пралатышские сочетания *š̥k* и *ž̥g* с древнекривичскими [ж'д'] и [ш'т'] с точки зрения их фонетической формы, следует показать, что и в относительной хронологии обоих языков ничто не препятствует их окончательному отождествлению.

Как в пралатышских, так и праславянских сочетаниях $*sk'$, $*skj$, $*zg'$, $*zgj$ велярный $*-k'$, $*-kj$, $*-g'$, $*-gj$ находится в позиции 1-й славянской resp. «1-й пралатышской» палатализации. Принимая «интеграционное» объяснение кривичских рефлексов палатализаций (как и в § 2.3.1, сн. 4), предполагаем одинаковый рефлекс 1-й палатализации для отдельно стоящих $*k'$, $*kj$, $*g'$, $*gj$ и для велярных, находящихся в сочетании с $*s-$ [Isačenko 1969: 110; Крысько 1994: 33]. В этом случае псковско-новгородские рефлексы [ж'д'], [ш'т'] могут рассматриваться как непосредственный результат депалатализации [Le Feuvre 1996: 257] или упрощения [Arumaa 1976: 31; Крысько 1994: 35] правосточнослав. $*š'č'$, $*ž'd'ž'$ подобно тому, как это произошло в современном чешском и в некоторых словацких говорах, ср. чешск. *štipatí* наряду с

⁶ Об этой зоне как особой внутри циркумбалтийских («Circum-Baltic languages») языков см. подробнее [Mathiasen 1985].

⁷ О том, что графемы жг (рожьгыгъ < $*-zg'-$) и щ (на дъще = [дъш'к'ё] < [дъск'ё]) обозначали звуки [ж'д'] и [ш'т'], соответственно, свидетельствуют следующие написания: Тимошкѣ (< Тимошкѣ), повѣжгенъ (со старослав. $*-жд-$ < $*-dj-$) [Зализняк 1986: 116–117; 1995: 40; Крысько 1994: 33–36; 1998: 83].

польск. *szczepac*⁸⁻⁹. Таким образом, возникновение самих сочетаний [ж'д'], [ш'т'] должно соотноситься с древнекривичским периодом. В латышских сочетаниях *šk* и *žg* мы также не находим отражение «1-й пралатышской палатализации», т.е. **šc/*sc*, **ždz/*zdz*. Данный факт, теоретически, может объясняться по-разному:

- (a) *šk* и *žg* являются результатом дальнейшего фонетического развития предполагаемых древних **šc / *sc*, **ždz / *zdz*, подобно тому как кривичские [ж'д'], [ш'т'] являются поздним развитием восточнослав. **š'č'*, **ž'd'ž'*;
- (b) прабалт. **sk'*, **zg'* не были затронуты «1-й пралатышской палатализацией», а изменились уже в период возникновения *k* и *g*, когда эти звуки заменили все возникшие заново (после палатализации) **k'* и **g'*.

Учитывая отсутствие каких-либо непосредственных источников данных (пра)латышского языка до XVI века, представляется довольно трудным найти аргументы в пользу большей вероятности варианта (a) или (b). Однако для доказательства взаимного влияния в данном случае между пралатышским языком и кривичским диалектом достаточно, на наш взгляд, имеющихся фактов:

- (i) одинаковое фонетическое звучание как континуантов, так и исходных сочетаний;
- (ii) завершение процесса в обоих языках в пра- или древнекривичский период, или, с точки зрения относительной хронологии, значительно позже 1-й славянской (и латышской) палатализаций.

3 этап (правверхнелатышский):

	(i)	(ii)	(iii)
2. Поздний Пралатышский: <i>*k</i>	<i>*c' + E /</i>	<i>*c' + E /</i>	<i>*k' > *t'</i>
+ A	<i>*c + A</i>	<i>*c + A</i>	+ E (A)

3.1. Фонема (iii)

Сюда же, вероятно, относится и заимствование *griķi* (из которого далее диал., под влиянием ливского и/или эстонского языков возникла *kriķi*, и диссимилированное *driķi*). Данная лексема, как показала в своей статье В. Рукс-Дравина [Rūķe-Draviņa 1964], в которой основательно разобрано ее распространение в восточной Европе с привлечением, кроме лингвистических¹⁰, также археологических и исторических данных была заимствована в латышские говоры именно из древнерусского, около XI–XII вв. [Rūķe-Draviņa 1964: 125]. В русском языке она известна лишь с основой на аффрикату: *греча*, *гречка*, *гречуха*, *гречи́ха*. Данная аффриката в древнепсковском (кривичском) диалекте должна была произноситься как мягкое [с''] [Зализняк 1995: 34], т.е. **grьc''*-, которое было передано правверхнелатышскому *k*, видимо, к тому времени, когда здесь уже начиналась аффрикатизация, которая впоследствии дала [č' / č]. Таким образом, данное заимствование доказывает стадию правверхнелатышского звука на месте **k₂'* как [t'] и [с'' = ts']¹¹.

⁸ За типологическую параллель я благодарен Акселю Хольфуту (Axel Holvoet, Вильнюс – Варшава).

⁹ Нам кажется вариант, предложенный К. Лёфёвр [Le Feuvre 1996], т.е. депалатализации, а не упрощение типологически более обоснованным, т.к. аффрикатизация велярных в языках мира проходит именно через стадию *t'*, *d'*, и лишь завершающим этапом аффрикатизации являются [т'ш'], [д'ж'], ср. лат. *g' >* общероманск. *d'* (после VI в. на территории Галлии), затем *g' > dž*: *gentem > jente > d'ente > džent* [Серебрянников 1974: 132]. Именно на такую хронологию указывает и П. Аристе [Ariste 1978: 121].

¹⁰ Так, например, очень важное указание на то, что польская форма *gryka* не может быть древней, так как в ней отсутствует палатализация, ср. *krzyształ* (< *kristal*) [Rūķe-Draviņa 1964: 126], а следовательно, не могла быть источником распространения данного слова в Прибалтике.

¹¹ Вокализм объясняется заимствованием из говора, в котором редуцированные еще сохраняли свое праслав. качество, т.е. ударенное *-i-* еще не перешло в *-é-*.

Следовательно, начало второй аффрикатизации в праверхнелатышском, т.е. $*k_2' > *t' > *ts'$

($*g_2' > *dz'$ аналогично) может быть датировано, примерно, XII веком.

Итак, в праверхнелатышском началась аффрикатизация $*t' > *ts'$. На этом, древнем этапе развития праверхнелатышского, видимо, и произошло совпадение $*c'$ (фонема (ii)) и данного аффрикатизированного $*ts'$ (фонема (iii)) в некоторых лексемах в латышских говорах, вероятно, под влиянием соседних славянских говоров [Семенова 1959: 600], где появляется современный феномен цоканья, т.е. совпадение рефлексов 1-й и 2-й славянских палатализаций (а также 3-й, что здесь несущественно) в единой фонеме $[c'] / [c]$, распространенный в той или иной форме (т.е. как $[c']$ или $[c]$), практически, на всей русской территории, прилегающей к Латвии, за исключением южной части границы (ср. [ДАРЯ 1986: 45]). На такое совпадение указывают сохранившиеся по сегодняшний день пары, свидетельствующие как бы о «латышском цоканье» с c на месте латгальского $č$ (/ гиперкорр. k' : фонемы iii и iv) или литерат. $ķ$: ср. $č$ на месте среднелатышск. c : $ķiba$ в Alūksne, Stāmeriene, Litene, Beļava (с гиперкорректным $ķ$ вместо латгал. $čiba$) (засвидетельствовано в [Endzelīns 1951: 188]) и, с другой стороны, стандартное среднелатышское / литер. $ciba$; $ķeiplas$ вместо $cīpsla$ Aknīste, $couška$ вместо $čūška$ Arukālns [Brencis 1914: 131]; ср. также произношение города «Печеры» псковской области недалеко от границы с Латвией в Alūksne₄₆₅ $Peķeras$ [Peč'eras], в Arukālns_{385, 384, 386, 387} $Peceras$ [Brencis 1914: 131], ср. другие примеры в работе [Семенова 1959: 600], впервые указавшей на взаимосвязь данного феномена в латышских говорах с аналогичным явлением в соседних русских (а также некоторых белорусских) говорах.

4 этап

4.0. Далее происходил переход $*t^s' > č'$. Вероятно, что аффрикатизация была распространена только в Латгалии [Сержант 2005: 83], т.е. не являлась общим верхнелатышским переходом:

Фонема (iii) ($*k_2' > *t' >$)

3. Верхнелатышский/Латгальский $č' + E$
 $č' + A$

4.1. Фонема (iii)

Данное состояние, при котором во всех случаях $k > č / ģ > dž$, сохранилось, например, в Līvāni [Latkovskis 1940: 139], Slate [Āboliņa 1927: 139]. На северо-востоке $č$, $č'$ и $dž$, $dž'$ произносятся как $[t']$ и $[d']$ соответственно, т.е. как сильно палатализованные t и d [Ābele 1940: 213]. В описаниях данной группы говоров эти звуки поэтому часто обозначаются через графемы $ķ$, $ģ$ (так в [Brencis 1914: 131]). Принимая во внимание указание Аристе [Ariste 1978: 121], что переход $k' > č$ обычно проходит через стадию t' , можно предположить, что в группе говоров Alūksne, Arukālns мы имеем переходную стадию. Интересно отметить, что в небольшой группе русских говоров Псковской группы, граничащих именно с данным районом верхнелатышских говоров (т.е. с северо-востоком Латвии и, частично, с юго-западом Эстонии) присутствует мягкое цоканье, т.е. звук c' (кирил. $ц'$) на месте литер. $ч'$ и $ц$, восходящих в свою очередь также к праслав. мягкому $*k'$ (ср. [ДАРЯ 1986: 64 (II)], где $ц' ай$, $улиц' а$ на месте $чай$, $улица$).

Отверждение фонем $č' / dž'$ перед непалатальным гласным ($č' + A > č + A$), видимо, весьма поздний процесс и, вероятно, был обусловлен влиянием литературного (среднелатышского) произношения, собственно, как и ретроградное развитие $č > k'$. В таких говорах палатализованные k' и g' приобретают фонемный статус [Брейдак 1981: 87–88]. Отверждение наблюдается в центрально-восточной части Латгалии (Kaunata, Ezernieki, Dagda, Kārsava, Mērdzene, Cibla и др.) [Брейдак 1981: 86–87; 1994: 158–161].

Поскольку $č$ из $ķ$ и $č$ из $*c_j$ совпали в $č$ в латгальских говорах, то здесь под влиянием литературного произношения происходит смешение. Имитируя литературное произношение, латгалец не может определить, на месте каких именно $č$ он должен произносить

литературное *k* (которое он произносит как [k']), ср. *kaumala* вместо литер. *čaumala* (Elkšņi), *kukērs* вместо литер. *kučeris* (Ābeļi) [Endzelīns 1951: 188].

4.2. Ареальная интерпретация

Как представляется, данный процесс аффрикатизации $*t' > č$, $*d' > dž$ был общим с литовским аукштайтским процессом аффрикатизации, где прабалт. $*t' > č$, $*d' > dž$. О том, что данный процесс относительно поздний в истории литовского языка свидетельствует тот факт, что он не охватывает всей территории литовского языка, а только лишь его аукштайтские говоры. Так, Зинкявичюс [Зинкявичюс 1981: 94; 1987: 69] предполагает на основе данных литовской ономастики в иноязычных летописях, что данный переход в говорах литовского языка прошел не ранее XIV–XV вв. Кроме того в пользу данного утверждения свидетельствуют некоторые заимствования из восточнославянских говоров, которые как в верхнелатышский (аукшземниекский) так и в верхнелитовский (аукштайтский) диалекты попали до процесса аффрикатизации в этих диалектах:

- очень важным аргументом в пользу общего процесса $*t' > č$, $*d' > dž$ представляет собой заимствование из др.-русск. *соудъи, соудья*, которое дало в среднелатышском (литер.) *suog̃is* (что соответствовало бы стандарт. верхнелатышскому $*sūdž(i)s$) где др.-русск. $-d'$ отображается в латышск. литер. *suog̃is*, а в литовском аукшт. *sūdžā* «idem», возникшим, естественно, из $*sūd'(j)a$; аналогично латышск. *kuoki, kūki* соответствуют лит. аукшт. *kūčios* из русск. *кутья* [Būga 1961: 98];
- относительно позднее заимствование из русск. / белорусск. (ном. sg. *молодецъ*) gen. sg. *молодца* [molots'a] в лит. *malāčius* (засвидетельствовано в Dus., [Būga 1925: 36]), латышск. литер. *malacis* с обобщением основы косвенных падежей [molots'-]. В основе заимствованного слова было скорее всего мягкое *ц'*, которое еще не отвердело как в современных псковских и западных белорусских говорах. Заимствование произошло к периоду после вост.-славянского полногласия ($*mald- > molod-$), а также после падения редуцированных гласных (т.е. др.-русск. $*\text{молодьца} > \text{молодца}$), т.е. не ранее, чем во второй половине XII века (ср. [Kiparsky 1963: 98]), что объясняет глухость звука в латышском и литовском языках. Сюда же *čerčius* из белорусск. gen. sg. *чеца* [Būga 1925: 53].

ВЫВОДЫ

Суммируя вышеизложенные выводы, процессы палатализации/аффрикатизации в пралатышском языке и (позднее) в верхнелатышском диалекте можно представить на следующей таблице:

	Общий с др. кривичским диал.		Общий с литовск. Общий с литовским аукштайтским диал.
доисторич.	$*k' > c'$ (1 Пл)		
до XIII в.		$*k' > k'$ (2 Пл)	
XIII–XIV вв.			$k' > *t' > č$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Брейдак 1981 – А.Б. Брейдак. Некоторые особенности фонематической подсистемы согласных в глубинных говорах Латгалии // Вяч.Вс. Иванов (ред.). Балто-славянские исследования. Москва, 1981.
- Брейдак 1994 – А.Б. Брейдак. Фонематическая подсистема согласных глубоких говоров Латгалии: Центрально-Восточный вариант // Baltistica XXIX. 2. 1994.

- ДАРЯ 1986 – Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. 1–3. М., 1986.
- Зализняк 1986 – А.А. Зализняк. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // В.Л. Янин, А.А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.). М., 1986.
- Зализняк 1995 – А.А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Зинкявичюс 1981 – З.П. Зинкявичюс. К вопросу о генезисе литовских диалектов // Проблема этногенеза и этнической истории балтов. Тезисы докл. Март, 1981. Вильнюс, 1981.
- Крысько 1994 – В.Б. Крысько. Заметки о древненовгородском диалекте (II. *Varia*) // ВЯ. 1994. № 6.
- Крысько 1998 – В.Б. Крысько. Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне // ВЯ. 1998. № 3.
- Лыткин 1961 – В.И. Лыткин – ИАН ОЛЯ. 1961. № 1: Рец.: В.Г. Орлова. История аффрикат в русском языке в связи с образованием русских народных говоров. М., 1959.
- Назарова 2002 – Е.Л. Назарова. Псков и Ливония в 40–90 гг. XIII в. // *Civitas et Castrum ad Mare Balticum, Baltijas arheoloģijas un vēstures problēmas dzelzs laikmetā un viduslaikos. Rakstu krājums, veltījums LZA īstenajam loceklim Prof. Dr. habil. hist. Andrim Caunem 65 gadu dzīves jubilejā.* Rīga, 2002.
- Семенова 1959 – М.Ф. Семенова. По поводу двух фонетических явлений русских и латышских говоров Латгале // *Rakstu Krājums, Veltījums Akadēmiķim Profesoram Dr. Jānim Endzelīnam viņa 85 dzīves un 65 darba gadu atcerei.* Rīga, 1959.
- Серебренников 1974 – В.А. Серебренников. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
- Сержапт 2005 – И.А. Сержапт. Относительная хронология основных фонетических изменений в истории верхнелатышского диалекта // *Acta Linguistica Lithuanica.* LIII. 2005.
- Чекман 1981 – В. Чекман. О лингвогеографических аспектах диахронических изменений в фонетике // *Baltistica* XVII. № 2. 1981.
- Эндзелин 1899 – Эндзелин. Латышскія заимствованія изъ славянскихъ языковъ // *Живая Старина. Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре.* 3. 1899.
- Арумаа 1976 – P. Arumaa. *Urslavische Grammatik.* Bd. II. Heidelberg, 1976.
- Аристе 1978 – P. Ariste. Gibt es ein wotisches Sprachsubstrat im Ostlettischen? // *Baltistica.* XIV. 2. 1978.
- Ābele 1940 – A. Ābele. Slavismi (?) mūsu augšzemnieku konsonantismā // *Filoloģu biedrības raksti.* XX. 1940.
- Ābloiņa 1927 – O. Ābloiņa. Susējas pagasta izloksne // *Filoloģu biedrības raksti.* VII. 1927.
- Бренчис 1914 – E. Brenčis. Nuovėruojumi nuo alūksniešu izluoknes // *Rakstu krājums.* 17. 1914.
- Бўга 1925 – K. Būga. Die litauisch-weißrussischen Beziehungen und ihr Alter // *Zeitschrift für Slavische Philologie.* Bd. I. 1925.
- Бўга 1961 – K. Būga. Lietuvių tauta ir kalba bei jos artimieji giminaičiai // *Rinktinai raštai.* T. III. 1961.
- Endzelīns 1951 – J. Endzelīns. *Latviešu valodas gramatika.* Rīga, 1951.
- Исаченко 1969 – V.A. Isačenko. The development of the clusters *sk', *zg' etc. in Russian // *Scando-Slavica.* V. XV. 1969.
- Кипарский 1952 – V. Kiparsky. The earliest contacts of the Russians with the Finns and Balts // *Oxford Slavonic Papers.* V. III. 1952.
- Кипарский 1963 – V. Kiparsky. *Russische historische Grammatik.* Bd. I: Die Entwicklung des Lautsystems. Heidelberg, 1963.
- Латковскис 1940 – L. Latkovskis. Līvānu izloksne // *Filoloģu biedrības raksti.* 1940.
- Le Feuvre 1996 – C. Le Feuvre. La seconde palatalisation des vélaires en slave oriental : le cas particulier des vélaires en groupe // *BSLP.* V. XCI. Fasc. 1. 1996.
- Маттиассен 1985 – T. Mathiassen. A discussion of the notion «Sprachbund» and its application in the case of the languages in the eastern Baltic area // *International journal of Slavic philology.* 21–22. 1985.
- Рўке-Дравиņa 1964 – V. Rūķe-Draviņa. Die Expansion der russischen Buchweizenbenennungen nach Westen // *Scando-Slavica.* X. 1964.
- Сержапт 2006 – I.A. Seržant. Die Vermittlungsrolle des Hochlettischen bei den altrussischen und litauischen Entlehnungen im Lettischen // *Acta Linguistica Lithuanica.* V. LV. Vilnius, 2006.

© 2008 г. С. В. ИВАНОВ

КТО ОТВЕДАЛ ЖИЗНИ И НЕ УВИДИТ СМЕРТИ?

(Замечания об одном формульном выражении в среднеирландском)

В статье исследуется происхождение одного формульного выражения, которое может пролить определенный свет на представления о смерти в кельтских культурах.

В среднеирландском тексте «Две печали Царства Небесного» содержится следующий отрывок:

(1): Int Éle iarom 7 int Enóc as-berar sund emaidit-side ar cind a m-marbtha 7 a m-martra do chomailliud fástine in chomdéd at-rubairt tria gin ind fátha: quis est homo qui uiuit 7 non uidébit mortem .i. Cia ro-blais bethaid na faicfe bás [DBFN, 1900: 385–386]. «Илия же и Енох, как говорится здесь, ожидают своей смерти и мученичества во исполнение пророчества Господа, которое он изрек устами пророка: quis est homo qui vivit et non uidébit mortem, то есть, кто отведал жизни и не увидит смерти?» Нас будет интересовать последнее предложение этого отрывка: *Cia ro-blais bethaid na faicfe bás*. Текст «Две печали Царства Небесного» содержится в следующих рукописях: Lebor na hUidre (LU); Lebor Laignech (LL); Yellow Book of Lecan, (YBL); Paris, Bibliothèque Nationale de France, Fonds Celtique, MS. I (P); Book of Fermoy (F); Liber Flavus Fergusiorum (LFF). Издатель текста, Ж. Доттен, принимает во второй части предложения чтение *faicfe*, но приводит разночтения по рукописям, которые кажутся нам достаточно интересными, чтобы указать их здесь:

Cia ro-blais bethaib na blasfe bás (LU).

Cia ro-blais bethaid 7 na faicfe éc (LL).

Cia ro-blais beathaid na blaisfī ec (YBL).

Cia ro-blais bethaid 7 na faicfe eg (P).

Cia ro-blais bethaidh na blafe bas (F).

Как легко можно убедиться, при полном совпадении первой части предложения, вторая представлена в нескольких вариантах. В двух случаях мы находим глагол *ad-cí* «видит», возможно, под влиянием предшествующей латинской цитаты (*uidébit*), в трех – глагол *blaisid* «вкушает», т.е. тот же глагол, что и в первой части предложения. Слово *bás* «смерть» в трех рукописях соответствует синоним *éc* «то же». В общем, в разных списках одного и того же текста отмечаются все возможные сочетания четырех форм, кроме одного: *faicfe bás*. Важно отметить, что простой латинский глагол *uiuit* переводится выражением *ro-blais bethaid*, что дает нам повод увидеть в нем формульный характер.

В словаре [DIL 1983: B-113] у глагола *blaisid* выделяются два значения: (1) *tastes* – вкушает (пищу, питье); (2) переносное *tastes (of); savours; has experience of* – отвеживает, испытывает. Сочетания со словами *bás* и *bethaid*, естественно, относятся ко второй группе значений. Тем не менее, если рассмотреть примеры, приводимые к первому значению *blaisid*, можно увидеть весьма прочную связь с интересующим нас формульным выражением. Так, к этой группе отнесены два случая фиксации глагола в трактате «Tenge Bithna». Если принять в рассмотрение более полный контекст, то эти цитаты выглядят следующим образом:

(2): *cach aen rot-blaisi nocho tainic tor na bron menman, 7 ní ro gath ar bass*. «каждый, кто отведал из него (из источника Сиона), – тому не пришло ни грусти, ни печали ума, и не был он отдан смерти» [TB 1905: § 39].

(3): Crann Bethaid i parrdus Adhaimh, nach beoil rodm-blaisiset a thorad noco ndeochaid bas iarum, conid fobith in chraind sin ro loingsigedh Adam 7 Eua a Pardus, ar dia mblaistis torad an crainn sin nis-taidlibeat bás in nech aimsir, acht roptis bí tre bithu. «Древо Жизни в раю Адама, чьи бы губы ни вкусили его плода, тот не изведет затем смерти, так что из-за этого Древа были изгнаны Адам и Ева из рая, ибо если бы отведали они плод этого Древа, не пришла бы к ним смерть ни в какое время, но были бы они живы вовеки» [TB 1905: § 51].

Как видим, в обоих отрывках *blaisid* связывается и со смертью, и с жизнью, но не напрямую, а опосредованно, через чудесный напиток или чудесный плод, дарующий вечную жизнь. То же самое относится и к следующему примеру, также приведенному в DIL под первым значением *blaisid*:

(4): со m-blaisind ní do thorud chroind bethad. (Mac Carthy 58.14, 15.) «чтобы отведал я плода с Древа Жизни».

В этих трех случаях было бы соблазнительно видеть источник дальнейшего развития у глагола *blaisid* переносного значения, метонимически распространенного с чудесных предметов, дарующих вечную жизнь, на саму вечную жизнь: вкусить (отведать) плодов жизни → вкусить (отведать) жизни.

Следует также отметить, что само выражение *blaisid bás / bethaid* фиксируется по большей части в текстах, относящихся к духовной литературе и, как мы видели, тесно связанных с библейскими сюжетами. Впрочем, оно встречается и в сагах, ср.:

(5): Aton-comnaic dib linaib, air cach beoil blasid bethaid blaisid ec.

«Постигла она (смерть) нас обоих, ибо все губы, что вкушают жизнь, вкушают и смерть» [Two Tales 1941: 324].

В примерах (3) и (5) мы наблюдаем вариант формулы, напрашивающийся на сопоставление с другим известным формульным выражением, а именно *atbélat a béoil* «помертвляют его губы», т.е. «он умрет». В самом деле, нельзя пройти мимо очевидного сходства этого типичного для среднеирландских текстов обозначения «умирания» с выражениями *nach beoil rodm-blaisiset a thorad noco ndeochaid bas iarum u cach beoil blasid bethaid blaisid ec*.

Рассматривая формулу *atbélat a béoil*, Т.А. Михайлова отмечает, что «данное выражение встречается обычно в текстах саг и, видимо, может быть соотнесено с архаическими кельтскими представлениями о том, что мертвые теряют способность разговаривать» [Михайлова 2002: 24]. С другой стороны, исследовательница обращает внимание на то, что здесь возможна контаминация с другим рядом образов, проистекающих из другой возможной этимологии, связывающей *at-baill* со значением «испускать, исторгать», и указывает, что «традиционное сочетание данного глагола со словом “губы”, возможно, может служить косвенным подтверждением данного предположения» [Там же: 34].

Здесь же можно вспомнить и о том, что В. Майнд сопоставлял др.-ирл. *at-baill* и связанные с ним коннотации с лат. *animam efflare* «die Seele aushauchen» и предлагал буквальный перевод выражения *atbailet a beóil* «“ее рот выдыхает это”, где под “это”, без сомнения, следует понимать “душу”» [Meid 1960: 149] (с другой стороны, ср. возражения в [Рокому 1962]).

Можно предположить, что связь двух синонимичных выражений – *blaisid bás* и *at-baill* – посредством сочетаемости обоих с *beóil* «губы» свидетельствует о неких древних кельтских представлениях о смерти как событии, связанном с некоей сущностью, выходящей через рот в момент умирания («душа», «жизнь» и т.п.), или же с метафорическим образом «напитка смерти», «мертвой воды», ср. [Николаева 2002].

С другой стороны, если мы вновь обратимся к непосредственному контексту, в котором встречается формула *blaisid bás / bethaid*, то, как мы уже отмечали выше, нельзя пройти мимо соотнесенности этих контекстов прежде всего с духовной литературой, и в этом отношении весьма показателен пример

(6): *acht ma blaistí bás* (= nisi mortem gustaveritis), (Lat. Lives 27.2).

Можно было бы подумать, что в данном случае перед нами калька с ирландского, если бы все не было ровно наоборот. В тексте Вульгаты встречается множество примеров устойчивого сочетания *gusto mortem* «вкушать смерть», ср.:

(7): *Sunt quidam de hic stantibus qui non gustabunt mortem donec videant Filium* «есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого» (Mat. 16: 28, сюда же Mark 8: 39; Luc. 9: 27).

(8): *et tu dicis si quis sermonem meum servaverit non gustabit mortem in aeternum* «а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек» (Ioa 8: 52).

(9): *videmus Iesum propter passionem mortis gloria et honore coronatum ut gratia Dei pro omnibus gustaret mortem* «видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» (Heb. 2: 9).

Нам кажется вполне естественным видеть в ирл. *blaisid bás* кальку с латинского *gusto mortem*, особенно учитывая уже упоминавшийся характер текстов, в которых это выражение появляется чаще всего.

Отмеченный фразеологизм «вкусил жизни» входит в состав глоссы к 88 псалму (в русской традиции – 89), полный текст которого выглядит (по переводу Вульгаты, бывшей для древнеирландской ученой традиции основным) как *quis est homo qui vivet et non videbit mortem eruet animam suam inferi*. Ирландский глоссатор меняет форму исходного глагола: вместо *vivet* (fut.) – *vivit* (pres.). Можно с некоторой осторожностью предположить, что форма *vivit* могла ему представляться претеритной (вместо *vixit*), что подтверждается ирландским соответствием *ro-blais* (perfect). Возможно, однако, что употребленный *ro*-аугмент может носить характер обозначения потенциального действия и тогда его перевод будет максимально близок к русскому *может вкусить жизнь*. В любом случае будущее время оригинала оказывается интерпретатором утраченным. Отметим далее, что при переводе латинского глагола *vivere* интерпретатор неизбежно должен был столкнуться с проблемой отсутствия соответствующего эквивалента в самом древнеирландском языке. Действительно, для передачи глагола «жить» в ирландском, как правило, не употребляется финитный глагол, но используются разные семантические нюансы этого многозначного понятия – «жить как проживать, обитать», «жить как находиться в живом состоянии» и др. При этом даже самой идеи «жить как существовать» (ср. *Кто жил и мыслил...*) в древнеирландском еще не было. Наиболее близкий к этому глагол *maraid* «пробывает, остается, существует» стал употребляться в значении «живет» только в среднеирландский период (изначально – в отрицательных построениях). Таким образом, поставленный перед необходимостью передать латинский оригинал «живет» глоссатор неизбежно должен был изобрести какой-то метафорический оборот, которым и стал описываемый здесь «вкусил жизнь».

Отметим, впрочем, что в новозаветных текстах встречается лишь выражение *gusto mortem*, но не *gusto vitam*. В таком случае, мы должны несколько скорректировать выдвигавшиеся нами ранее предположения. Представляется вполне вероятным, что выражение *blaisid bethaid* возникло под влиянием *blaisid bás*, соответствующего латинскому *gusto mortem*. В возникновении устойчивого сочетания *blaisid bethaid / bás*, вероятно сыграли свою роль несколько факторов. Во-первых, это тесная связь с библейскими сюжетами, относящимися к плодам с Древа Жизни (еще один источник развития *blaisic bás* → *blaisid bethaid*). Во-вторых, это аллитерационная схема, в которую прекрасно вписывается глагол *blaisid*, образуя аллитерационные связи со всеми остальными лексемами, входящими в выражение: *blaisid, bél, bás, bethu*. И, в-третьих, это наложение семантических импликаций, заложенных в выражении, на привычное ирландское обозначение «умирания» *athélat a béoil*. В этой связи интересен пример из *Saltair na Rann*, в котором непосредственно соседствуют друг с другом *at-baill* и *blaisid*:

(10): *athélat ec etlaide / cachmil beo roblais bethaid* «умрут внезапной (?) смертью все животные, вкусившие жизни» [SR 1883: 8183–8184].

В этом поэтическом отрывке, на наш взгляд, можно видеть интересную параллель: выражению, послужившему отправной точкой наших рассуждений. Как мы помним среди разночтений к тексту «Двух Печалей» присутствовал и вариант *Cia ro-blais bethaid na faicfe éc*. По-видимому, вполне оправданно предположить, что с заменой глагола *ac cí* (*faicfe*) «видеть» на глагол *at-baill* «умирать» и с устранением отрицания строки *Salta*

na Rann соответствуют выражению из «Двух Печалей». Исходный смысл остается прежним – «кто вкусил жизни, – (не) умрет».

Возвращаясь к основной теме, хотелось бы подчеркнуть, что, даже если наши предположения неверны, и *blaisid bás* является не калькой с латинского выражения, а параллельным образованием, очевидно, что семантические импликация этой формулы, связывающие смерть с «губами», «яствами» и т.п., ни в коем случае не являются собственно кельтскими. В межкультурном контексте, определяемом знакомством с латинской церковной культурой, они могут накладываться на сходные формулы и переплетаться с ними, образуя некий литературный штамп, не привязанный к отдельным локальным традициям.

В качестве типологической параллели можно привести соответствующие места из готского перевода Библии [Streitberg 1950]:

(11): Лк 9: 27: *sind sumai þize her standandane, þaiei ni kausjand dauþau (oï ou mē γεύσονται θανάτου), unte gasailvand þiudinassau gudis;*

(12): Ин 8:52: *jabai luas mein waurd fastai, ni kausjai dauþau (ou mē γεύσηται θανάτου) aiwa dage.*

В обоих случаях греческое γεύομαι θανάτου, соответствующее латинскому *gusto mortem*, переводится на готский словосочетанием *kausjan dauþau*, в котором используется глагол с тем же значением «вкусать, пробовать (на вкус)» *kausjan*, этимологически родственный и латинскому *gusto*, и греческому γεύομαι [Feist 1939]. Тем не менее, ввиду очевидной вторичности переводного выражения, в нем нельзя увидеть свидетельств бытования у германцев представлений о смерти, связанных со вкушением тех или иных медиаторов (напитков, яств и т.п.), ср. подробный разбор номинаций смерти в германских языках в [Голорова 2002], где не выделяется подобный концепт.

Нам кажется, что пример выражения *blaisid bás* весьма показателен в том смысле, что заимствованию могут подвергаться не только те или иные сюжеты, но и отдельные формульные сочетания, и в связи с этим нам хотелось бы подчеркнуть осторожность, с которой, по нашему мнению, стоит подходить к оценке «кельтскости» тех или иных образов и представлений, имплицитных на уровне формул, так как вполне может оказаться, что эти формулы, используемые в литературных текстах, входят в общий литературный фонд образованных (*literati*) слоев и никоим образом не могут свидетельствовать о древности или исконности скрывающихся за ними смыслов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Михайлова 2002 – Т.А. Михайлова. Отношение к смерти у кельтов: Номинация умирания в гойдельских языках // Т.А. Михайлова (ред.). Представления о смерти и локализация Иного у древних кельтов и германцев. М., 2002.
- Николаева 2002 – Н.А. Николаева. Питье смерти // Т.А. Михайлова (ред.). Представления о смерти и локализация Иного у древних кельтов и германцев. М., 2002.
- Топорова 2002 – Т.В. Топорова. Древнегерманские представления об ином мире // Т.А. Михайлова (ред.). Представления о смерти и локализация Иного у древних кельтов и германцев. М., 2002.
- DBFN – Deux chagrins du Royaume du Ciel [Da brón Flatha Nime] / G. Dottin (éd.). // *Revue celtique*. V. 21. Paris. 1900.
- DIL – Dictionary of the Irish language / E.G. Quin (ed.). Dublin, 1983.
- Feist 1939 – S. Feist. Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden, 1939.
- Meid 1960 – W. Meid. *Air. at-baill* // *Die Sprache*. Bd. 2. Hf. 2. 1960.
- Pokorny 1962 – J. Pokorny. Nochmals *air. at-baill* «stirbt» // *Die Sprache*. Bd. 8. 1962.
- SR – The Saltair na rann: a collection of early Middle Irish poems edited from MS. Rawlinson B 502 in the Bodleian Library / W. Stokes (ed.). Oxford, 1883.
- Streitberg 1950 – Die Gotische Bibel / W. Streitberg (Hrsg.). 1–2. Heidelberg, 1950.
- TB – The evernew tongue / W. Stokes (ed.) // *Ériu*. 2. 1905.
- Two Tales – Two Tales about Find / V. Hull (ed.) // *Speculum*. 16. 1941.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2008 г. Е. А. ЗЕМСКАЯ

МОИ УЧИТЕЛЯ: ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ФИЛОЛОГА

В этой статье я хочу рассказать о тех университетских учителях, которые больше всего повлияли на мою жизнь.

Я поступила в Московский университет в 1944 г., а закончила его в 1949 г.

Отец мой – Андрей Михайлович Земский – был лингвистом. Я росла в доме, где постоянно шли разговоры о каких-то суффиксах, частях речи, где писали учебники и так далее. Вероятно, все это на меня подсознательно действовало. В десятом классе я еще колебалась, идти ли мне на мехмат или на филфак, и только после того, как мой любимый учитель математики сказал: «Иди на филфак», – я поняла, что все-таки, наверное, это моя дорога. И пошла туда. У меня был аттестат отличницы, поэтому надо было только проходить собеседование. Я помню, что мне задали вопрос: а сколько есть писателей Толстых? Не сложный был вопрос, но такой, на который, может быть, не все отвечали. В общем, меня приняли, но у меня были еще долгие раздумья, на какое идти отделение. Очень хотелось идти или на славянское или на «западное», как тогда говорили. Но тут опять на меня повлиял отец, который сказал так: «Доченька (или “девочка” – как он меня называл), знаешь, ты можешь, конечно, изучать другие языки, но только в русском языке ты сможешь понимать все до конца. То, что ты увидишь в русском языке, в других языках ты не увидишь». И я его послушалась. Даже не знаю, жалеть мне или нет. Нет, наверное, не стоит жалеть. Хотя могу сказать, что у меня все время есть такое чувство, что все-таки никакого другого языка, кроме русского, я хорошо не знаю. То есть я читаю, могу объясниться, например, по-французски, по-немецки и по-английски, но все эти языки (и славянские языки тоже) я знаю очень средне. Хорошо, по-настоящему, я знаю только русский.

Отец для меня был человек почти идеальный – то, что называют «русский интеллигент» в хорошем смысле слова. Скромный, застенчивый, добрый, умный, хорошо образованный. Жизнь у него сложилась тяжелая. В 1916 году он закончил Московский университет, шла война и еще до революции он был призван в царскую армию. Начал солдатом в пехоте, некоторое время служил на Кавказе, а потом поступил в артиллерийское училище в Киеве. После окончания училища отец получил чин прапорщика, служил в Царском Селе, куда перевели его артиллерийский батальон. А оттуда их переслали на Волгу – куда-то в район Саратова. Прапорщик был самый низший офицерский чин, но за этот офицерский чин он потом и пострадал.

Отца арестовали в 1931 году. Посадили в Бутырки. Приговорили к пяти годам ссылки. Его сослали сначала в Сибирь, потом в Казахстан (в Алма-Ату, а позднее – в маленький городок Кзыл-Орда, на реке Аму-Дарья). Он был переведен из Сибири, так как был родом с Кавказа и ему были очень тяжелы сибирские морозы.

Мои родители неоднократно просили о пересмотре папиного дела и, как это ни удивительно, в 1934 г. маме удалось выхлопотать этот пересмотр. Отец был возвращен в Москву в декабре 1934 г. Ему разрешили преподавать в МГПИ им. Ленина на должности и.о. доцента. Арест, ссылка, война, тяжелая болезнь рано прервали его жизнь. Он умер в 1946 году 54 лет отроду, так и не защитив даже кандидатскую диссертацию, хотя много над ней работал. Отец читал лекции, писал учебники русского языка. Наиболее известен его учебник «Русский язык» для педучилищ (в двух томах) под ред. В.В. Виноградова. Его соавторами были С.Е. Крючков и М.В. Светласв. Этот учебник пользуется успехом, продолжает жить до сих пор. В 2003 г. в издательстве «Дрофа» вышло его 13-е издание в серии «Классические учебники».

Отец был очень предан филологии и, наверное, это повлияло на меня. Он был русист, окончил историко-филологический факультет МГУ, учился у Д.Н. Ушакова, так же как и моя мать, Надежда Афанасьевна, тоже филолог. Познакомились они еще студентами: мама училась на Московских Высших женских курсах, а отец – в Университете. В 1917 году они поженились.

Во время моей учебы в Университете я с первого курса начала слушать Виктора Владимировича Виноградова: ходила на все его спецсеминары, спецкурсы. У него же писала курсовые работы, потом диплом, диссертацию. Это мой первый Учитель в самом настоящем смысле слова. Но у меня было три учителя. Второй мой учитель – Михаил Николаевич Петерсон, которого я очень любила. С первого курса стала заниматься санскритом и занималась упорно три с половиной года. Он даже уговорил меня писать диплом по санскриту: тема – о сложных словах в санскрите (тип: *бахуврихи*). Мой третий учитель – Василий Константинович Чичагов, с которым я ездила в экспедиции в Рязанскую область, и, наверное, ему и обязана тем, что стала изучать живую речь – это меня всегда привлекало и интересовало. Когда наступило время выбирать тему диплома, я очень волновалась и, почти как поступает невеста, положила под подушку две записочки с именами: Виноградов и Петерсон. Чичагова не положила. Вытащила записку с именем Петерсона, но пошла писать диплом к Виноградову.

Я очень любила санскрит и с удовольствием занималась им. И могу сказать, что эти занятия для меня очень много значили, а нежное чувство к Петерсону осталось на всю жизнь. Он очень хорошо преподавал, своеобразно. Мы просто начинали читать текст. Брали что-нибудь из «Махабхараты» и прямо разбирали по слову. То есть отдельно никакой грамматики, фонетики не было. И это правильно – синтез, язык как он живет. И задания на дом Петерсон нам давал соответственно. Предположим, мы должны были дома разобрать пять слов. У меня был огромный словарь «Санскритско-немецкий», потому что санскритско-русских тогда не было. Шел 1944-й год. Группа состояла из четырех человек: Серебренников (аспирант в то время), который потом стал академиком, историк Ильин и Вера Александровна Кочергина. Среди них я была самая юная. Санскрит не стал моей основной специальностью, но считаю, что эти занятия были очень полезными. Михаил Николаевич преподавал систематически и последовательно. Он говорил всегда, что язык требует ежедневных занятий: хоть 15 минут в день, но занимайтесь. Знаю, что Михаил Николаевич очень хорошо играл в теннис. Он производил впечатление английского джентльмена, ходил в высоком котелке, был невероятно вежлив, всех называл только по имени-отчеству и... поразил однажды Татьяну Григорьевну Винокур. Как-то Петерсон встретил ее и спросил: «А как поживает Григорий Сергеевич?». Она задумалась и только через несколько минут поняла, что речь идет о ее новорожденном сыне. Конечно, меня он называл только Елена Андреевна, никогда никаких «Лен» быть не могло.

На русском отделении Университета из крупных фигур на меня произвели впечатление Михаил Николаевич Петерсон и Виктор Владимирович Виноградов. Старославянский язык читала нам Варвара Георгиевна Орлова. Читала, по-моему, великолепно: последовательно, красиво и логично. И еще у нас преподавала Евгения Самсоновна Истрина. Это было в конце войны. Мне нравилось, как она читала фонетику из курса «Современный русский язык» – очень интеллигентно, интересно и культурно.

Так шли мои занятия. Меня оставили в аспирантуре. И вдруг, когда я еще училась, получаю письмо, которое содержит такой текст: «Глубокоуважаемая Елена Андреевна! Прошу Вас прийти в Институт русского языка», и дальше – дата и время. Подпись: «Н. Шведова». Я очень удивилась и, трепеща, пошла. Думаю: зачем? Оказалось, что Наталья Юльевна решила, что я уже кончаю аспирантуру. Она сказала: «У нас есть место, ставка в институте, в секторе. Это бывает очень редко. Мы решили Вас пригласить». Я говорю: «А мне еще год учиться». «Ну, что ж, учиться... Не знаю, будет ли ставка через год, скорее всего не будет. Ну, а диссертацию Вы и так напишете, а вот поступите ли Вы к нам через год – еще не известно». Это был пятидесятый год. В сорок девятом я окончила университет, значит, год я проучилась в аспирантуре, и вот получила такое приглашение. Я подумала и согласилась. Так я оказалась в Секторе под эгидой Натальи Юльевны.

Формально возглавлял Сектор тогда Виноградов, но фактически им руководила Наталья Юльевна Шведова. Мы работали в шестнадцатой комнате, окна которой тогда смотрели прямо на бассейн, а сейчас – на храм Христа Спасителя. Мне сразу же поручили (почти мгновенно) написать по синтаксису три раздела (сочетание глаголов с инфинитивом, изменения в порядке слов и согласование сказуемого с подлежащим) в «Граматику», которая вышла в 1952-м году. На мои слова, что я никогда не занималась синтаксисом, а дипломная работа была по словообразованию, Наталья Юльевна ответила: «Ну что ж, Вы синтаксисом и займетесь». В панике я спросила: «А что мне делать?» – «Собирайте примеры, думайте, читайте литературу». Вот так и появилась моя первая работа. Причем разделы были в соавторстве с Евдокией Михайловной Галкиной-Федорук, так как она уже написала эти главы, но Шведовой не понравилось и Шведова предложила их как-то еще доделать. Все прошло мирно: мы с Евдокией Михайловной не ссорились, я что-то еще писала, доделывала и так далее...

Среди моих университетских учителей был еще Петр Саввич Кузнецов, у которого я слушала курс «История русского глагола». Мы его любили, слушали всегда с интересом. Но основным моим учителем был В.В. Виноградов – человек, преданный науке и сильно пострадавший, так как шел по «делу славистов», как теперь известно. Он был дважды арестован, во время войны выслан из Москвы. В общем, жизнь у него была очень непростая. В нем было много хороших человеческих черт. Он, по-моему, был человек добрый, но любил острые слова и выражения. Про него можно сказать, что «ради красного словца не пожалеет родного отца». Его язвительные выражения были справедливыми, а иногда и нет. Он мог сказать про какую-нибудь сотрудницу Института: «Эта – заведующая столовой», или «этот – разбойник с большой дороги» – такие выражения у него часто бывали. И хотя он ко мне относился очень хорошо, но временами даже я плакала от него. Но все это, в общем-то, скорее поверхностное.

Перескакивая хронологически, могу сказать, что была я одно время при нем замдиректора Института. Виноградов меня попросил, а я, как любящая ученица, хотя мне совсем этого не хотелось, согласилась. В должности замдиректора (три года) я очень много работала с Виноградовым (планы, проверки, нагрузки). Но от него никто не пострадал. Он мог обидеть словесно, но не было случая, чтобы он кого-нибудь уволил из Института, Виноградов очень многих **взял в Институт**: Левина, Панова, – всю плеяду, которая во время IV съезда славистов пришла в Институт. Это все его заслуги. И хотя он, например, не любил и не признавал структурализма, но никогда не мешал ни одному структуралисту. У него были очень хорошие отношения с моим отцом. Так случилось, что когда началась война, они одновременно пошли в народное ополчение. ...И у нас есть такие семейные воспоминания: отец мой считал безобразием, что Виноградов (такой крупный ученый) служит в армии, и хлопотал за него, ходил по инстанциям. Надежда Матвеевна, жена Виноградова, говорила, что Андрей Михайлович «отхлопотал Виктора Владимировича» от армии. Его демобилизовали или отпустили – не знаю, как уж точно сказать, а уходя, он оставил папе одеяло, «виноградовское одеяло», которое еще после войны у нас долго жило.

Руководитель он был справедливый. Стиль его отличался тем, что несправедливых вещей он не делал. Как редактор журнала «Вопросы языкознания» Виноградов выделялся широтой и как директор Института тоже. Он разрешал заниматься темами, которые интересовали сотрудников. Был очень вежлив, особенно с людьми, ниже его по положению, например, с секретарями, уборщицами и так далее. Он был демократичен и, я бы даже сказала, особенно как-то вежлив. Так же, как и Михаил Николаевич Петерсон, называл детей по имени-отчеству. Я помню его у нас в гостях, моей дочке тогда было семь лет, и Виктор Владимирович назвал ее по имени-отчеству. Это была особая манера поведения. Без юмора и с чем-то большим. С Надеждой Матвеевной они всегда были, во всяком случае на людях, на Вы. И говорили: «Виктор Владимирович», «Надежда Матвеевна», «Вы» и так далее.

Среди моих учителей следует назвать Василия Константиновича Чичагова. Это фигура колоритная, самобытная, интересная. Он тоже был очень предан науке. Нам он читал курс диалектологии. Читал очень хорошо: логично, ясно, интересно. Ездил с нами в экспедиции в Рязанскую область. Записывал старообрядцев и рассказывал так: «Мне приходилось, когда я стоял... записывать тайком в кармане. Потому что они бы не потерпели, чтоб я "записывал"». Я помню еще такой случай: Чичагов пришел в какую-то деревню и понял, что там все больны сифилисом, но если все из общей миски, «и я», – говорит, – «тоже ел». Ради науки он был способен на такие, можно сказать, жертвы. Я с ним ездила в экспедиции после первого и второго курса; он был заботливый и действительно внимательный руководитель... Мне он очень нравился.

Из лекторов мне запомнился Радциг. Радциг «пел» стихи, действительно пел.

Я, к сожалению, слышала только одну лекцию Г.О. Винокура, хотя по времени, вроде бы, могла и больше слушать, но так не вышло. На том курсе, на котором я училась, он читал всего одну вводную лекцию. Называлась она «Введение в филологию». Читал ее очень красиво. Я помню, что первая фраза была такая: «Филология – это искусство медленного чтения». Дальше он развивал эту мысль: филология – это единая наука, которая состоит из разных ветвей. «Медленное» чтение должно быть таким, чтобы человек проникал в самую суть явлений... И так далее.

Фольклор у нас читала Померанцева; мы ее с удовольствием слушали. Могу добавить, что Петерсон преподавал еще литовский язык. И я к нему ходила не только на санскрит, но и на литовский. У него сложилась своя метода: он брал текст, и мы его разбирали. Помню, что мы читали такую сказку «Кот и воробей» («Kātinās ir Žvirblis»). Я долго помнила начало этой сказки наизусть, потому что слово за словом разбирали, все соответствия фонетические, лексические...

На третьем курсе я узнала, что Петерсон читает курс сравнительной грамматики индоевропейских языков, о котором даже вообще до этого и подумать было невозможно. Курса не было в расписании, это происходило тайно; мы слушали с большим интересом, записывали. Из тех, кого я помню, туда ходил еще Кома (Вяч. Вс. Иванов), он был моложе меня курса на два, наверное. Вот такое событие было в нашей университетской жизни.

О дальнейшем я могу сказать кратко. Когда я поступила в аспирантуру, у нас вел семинар Чемоданов. Это, наверное, единственный случай, когда мы были обязаны читать Марра и что-то излагать. Но буквально через полгода или год появилась дискуссия о языке и статья Сталина. До этого был еще один эпизод для меня очень важный. Шел, наверное, 48-й год... Это было перед появлением статьи Сталина, когда новое учение о языке начало набирать силу. Еще студенткой я иногда ходила в Институт русского языка на Волхонке. И вот я появилась на каком-то большом собрании, где громили моих учителей. Помню, что я, как девчонка, ужасно переживала, а они себя вели очень смело и достойно. Михаил Николаевич Петерсон вышел и сказал, что он всю жизнь был сторонником индоевропейского языкознания, это его специальность, и он не собирается менять свои взгляды. Виктор Владимирович Виноградов (да, тогда же еще появилась статья в «Литературной газете» Бориса Агапова и Корнелия Зелинского «Нет, это не русский язык») вышел на кафедру и очень остроумно и язвительно ответил по суще-

ству, а потом сказал: «Ну, я кончу такими стихами Минаева: “Свежим воздухом дыши, не имей больших претензий. Если глуп – так не пиши, А особенно рецензий”». И сошел с кафедры. В зале было гробовое молчание. А я в ужасе думала: «Ну, арестуют, арестуют». Не арестовали, а вот Сергея Игнатьевича Бернштейна изгнали из Университета, в общем, все это было очень мрачно... Очень нехорошо и агрессивно выступали две германистки: Гухман и... другая (фамилия выскочила из головы), которые были маститыми докторами наук. Они яростно выступали в защиту нового учения о языке и клеймили моих учителей. Полагаю, я, вообще, человек довольно выдержанный, но хочу вспомнить такой эпизод. Я была в Красновидове, в университетском Доме отдыха и там были знакомые ребята, математики. В это время как раз появилась статья Агапова и Зелинского. Вот о ней они стали говорить: «Раз пишут в газете, значит – правда». Помню, что я жутко разозлилась, стала с ними спорить, а потом встала на стол, где лежали какие-то учебники, и начала швырять книги! Это было один раз в моей жизни. В защиту Виноградова. Пробрало. Они были ошарашены.

Марра, как человека, лично я не знала. Могу только судить о его четырех элементах: *сал, бен, йон, рош*. Мифология, мифология. Все это было бы не так тяжело, если бы не несчастные люди, которые из-за них пострадали. Их выгоняли с работы. Я все это видела. Видела, как ходили униженные ученые, как их прогоняли с работы, не давали писать или, наоборот, заставляли писать то, чего они не думают.

Кафедру русского языка, по-моему, не трогали, поскольку она не связана была ни с какой идеологией. Кафедра тихо жила, а уже потом начались проработки. Собрание, о котором я говорила, было первое. Я его запомнила на всю жизнь, хотя сколько уже лет прошло, а я до сих пор это помню. Это, действительно, было очень страшно. И люди себя вели тоже очень по-разному. А вообще я оказалась в очень хорошей атмосфере, потому что в Институте русского языка, в нашем Секторе, были прекрасные люди, очень хорошие ученые: в «Словаре языка Пушкина» работали В.Н. Сидоров, В.Д. Левин, А.Д. Григорьева, И.С. Ильинская.

Реформатский не относится к числу моих учителей, он учитель моих друзей, так я могла бы сказать. Я к нему относилась хорошо, но не как к своему учителю. Вот для меня мои Учителя – те, кого я назвала, а это другая школа, и, наверно, поэтому у меня может быть, какая-то даже некоторая внутренняя отстраненность, сдержанность. Потому что Виноградов и Реформатский не родные братья. Это разные школы. Это не мое, это не моя семья. У меня есть такое чувство школы и своих.

Три человека, о которых я говорила выше, действительно, для меня очень много значили. Их я считаю своими учителями, они остались ими на всю мою жизнь.

Не могу не вспомнить Дмитрия Сергеевича Лихачева. С ним я познакомилась, когда Виктору Владимировичу должно было исполниться 60 лет. Это был 55-й год, и меня ввели в юбилейный комитет в качестве секретаря, как его ученицу. Я первый раз участвовала в таком юбилейном комитете, надо было рассылать какие-то оповещения, приглашения, массу делать всяких бюрократических дел, чтобы состоялся, действительно, настоящий, торжественный юбилей. Приехал Дмитрий Сергеевич Лихачев из Ленинграда. Он сразу все взял в свои руки, и мы с ним начали вдвоем работать. Он никогда не говорил: «подождем», «успеем», наоборот, очень деловито и вместе с тем весело и интересно говорил – как и что. И вот с тех пор мы с ним в довольно хороших отношениях. Д.С. Лихачев оказался прекрасный организатор. Для меня это было неожиданно, потому что я знала, что Лихачев хороший ученый, знала, чем он занимается. И однажды я получила от него письмо, где он похвалил наш «Русский язык конца XX столетия», и написал: «Помните, как мы с Вами познакомились во время юбилея Виноградова? Помните, как мы с Вами там вместе действовали?..». Вообще, Дмитрий Сергеевич был человек очень трогательный. Могу сказать, что он, кроме того, что организатор и прекрасный ученый, он еще очень отзывчивый и добрый человек. Он очень многим помогал. Это не всем известно. Я просто знаю, потому что по поводу многих людей он ко мне даже обращался, говорил: не можете ли Вы такому-то помочь? С работой, куда-то там обратиться, похлопотать за кого-то.

Могу сказать, что хорошо знала Виноградова. И я хорошо знала М.В. Панова. Это уже люди других поколений. Панов был не только фонетист, но и специалист по общему языкознанию. Его любимая идея – одно из основных понятий теории грамматики и вообще теории строения языка – это понятие **позиции**. Он считал, что это понятие применимо ко всем уровням языка. Панов написал замечательную книгу «Позиционная морфология» (1999 г.), над которой долго думал и работал.

Он, действительно, был богатырь. Панов был младшим или средним представителем Московской фонологической школы, у него много учеников. Он обладал большим чувством юмора и любил писать весело. Но я бы не сказала, что в характеристике фонетики все эти периоды – оранжевый, фиолетовый и др. – от юмора. Мне кажется, он не хотел быть занудой. Панов думал, что если каждый раз упорно говорить «фонетика первой половины XVIII века» или «первой половины XIX-го» – это скучно. Ему нравилось играть, шутить. Я знаю, что некоторых это раздражало, казалось, что он иногда перегибает палку. Конечно, фигура Михаила Викторовича Панова своеобразная. Действительно, это глыба: человек негибемый, очень твердый, который не поступался своими убеждениями – ни научными, ни гражданскими.

Был замечательный период в жизни Института русского языка, когда Виктор Владимирович был директором. В Институт были приглашены Апресян, Бабицкий, очень много хороших людей. У нас братья Ягломы читали лекции по теории вероятности... Мне тогда довелось быть заместителем директора, и мы немного разрядили обстановку.

Потом я ушла в 66-м году. Еще в 66-м году все было более или менее спокойно, просто мне очень тяжела была эта работа и действовала на нервы. У меня началась гипертония. Я умолила Виноградова меня отпустить, а он мне сказал такие слова: «Елена Андреевна, Вы губите свою карьеру». Я сказала: «Ничего, Виктор Владимирович, я как-нибудь проживу без этой карьеры». Он меня отпустил.

Но вернемся к тому времени, когда в Институт пришла целая группа молодых ученых-структуралистов. Виноградовым были приглашены И.П. Мучник и Панов, которого Виктор Владимирович сам вычислил по его публикациям. В Институте повеяло свежим ветром...

Это было сразу после IV Московского съезда славистов в 1958 году. В этот период писалось очень много научных трудов. Виктор Владимирович пригласил Панова в качестве руководителя темы «Русский язык и советское общество». В результате был создан четырехтомник, который в 1968-м году был опубликован. Книга давно была в плане, ее надо было делать, но никто не знал, как написать, чтобы не получилась вульгарная социология, чтобы это было научно, грамотно, интересно и так далее. И Михаил Викторович огромным усилием своего интеллекта, характера, воли объединил сотрудников в коллектив. Книга до сих пор считается очень хорошей, содержащей массу полезного. Более капитальной, пожалуй, и нет. И мы считаем, что как раз с этого времени началась так называемая «Московская школа функциональной социолингвистики», которая разрабатывает проблемы функционирования языка. Для конференции 98-го года мы с Л.П. Крысиным написали доклад об этой школе. Это был юбилей: книга Панова была окончена в 68-м году (когда вышел этот четырехтомник), а в 98-м ей исполнилось 30 лет. Мы решили рассказать, что сделано школой за 30 лет, показать, что написано, какие выдвинуты идеи, и как продолжать работать дальше. У истоков школы стоял Панов, а дальше – Шмелев, Крысин, Земская и многие другие лингвисты (Капанадзе, Ширяев, Китайгородская, Розанова, Ермакова). Короче говоря, в основном сотрудники нашего отдела. В это время я и начала заниматься разговорной речью, к которой у меня был давний интерес. Думаю, что он зародился еще в студенческие годы, когда я начала заниматься диалектологией. Когда я писала кандидатскую диссертацию (защитила в 1952 г.), у меня были материалы из живой разговорной речи, которой я занялась в 60-е годы, действительно, вплотную. Михаил Викторович очень одобрял мои интересы. Он же был тогда нашим заведующим сектором, руководил группой внутри этого сектора. Когда мы кончили четырехтомник, стали думать, что делать дальше. Я предложила

изучать разговорную речь, а Крысин – социальное варьирование в языке. Оттуда все и пошло. А дальше уже началось другое разветвление.

Михаил Викторович Панов был человеком, который служил в армии, воевал, вступил в партию во время войны. Он принципиально не подписывал коллективные письма, но написал лично от себя письмо в ЦК и в нем рассказал о тяжелой обстановке, которая сложилась в Институте после ухода Виноградова из директоров. Пришла комиссия, стали разбирать. И, естественно, сказали, что в письме клевета, ничего плохого в Институте нет. И всё. Создали персональное дело Панова: его исключили из партии, и он ушел. Тогда ему помогли несколько человек, в том числе Никита Ильич Толстой. Панов ушел в институт, который назывался «Институт национальных школ», и там работал в отделе общих вопросов несколько лет, довольно долго. Мягко выражаясь, можно сказать, это было лингвистическое болото. Но Панов все равно писал, в 80-е годы читал в Университете курсы о языке поэзии. А потом он работал в Православном университете, в Открытом университете. Причем, я считаю, нехорошо сделал университет, что они ему не дали профессора и годами не платили вообще никаких денег.

Наше направление мы официально называли «**Московская школа функциональной социолингвистики**». Это название возникло в середине 90-х. Но идеи родились раньше, они зародились постепенно под влиянием М.В. Панова. Так возник **социолингвистический** подход, в центре внимания которого были **проблемы функционирования**. У нас есть двухтомник «Русский язык в его функционировании». И у Д.Н. Шмелева есть книга «Функциональные разновидности русского языка», так что все это, в общем, пло в одном направлении, хотя у каждого были какие-то свои личные интересы.

Среди тех людей, которые встречались на моем пути, особое место занимает Вера Арсеньевна Белошапкова, с которой я познакомилась, когда кончала Университет. Она была аспиранткой Виноградова, и нас сначала объединил общий учитель, а потом взаимная симпатия. Вера Арсеньевна тот человек, который, как мне кажется, много сделал и для Университета, и для языкознания, и для своих учеников.

Я уже застала тот период, когда Вера Арсеньевна кончала аспирантуру у Виноградова, защитила диссертацию и получила назначение в Ригу. Она мне предложила присхать в Ригу и почитать там лекции. Как ни странно, лекции по старославянскому языку. Это был мой педагогический дебют. Потом мы с Верой Арсеньевной уже на всю жизнь подружились, писали вместе одну статью и так, в общем, по-человечески были близки друг к другу, но она в роли учительницы для меня никогда не выступала.

Заканчиваю краткой характеристикой современного состояния языкознания. У меня нет впечатления, что наука умирает. Происходит много интересного.

В Институте работает семинар Апресяна. Создан «Новый объяснительный словарь синонимов русского языка». Это фундаментальная работа, которая продолжалась много лет. Нина Давидовна Арутюнова ведет семинар «Логический анализ языка» – в нем принимает участие молодежь, люди двадцати- и тридцатилетнего возраста. Когда у нас происходят все эти заседания, молодежи полным-полно. Я с удовольствием и иногда даже с некоторой завистью думаю, что вот этих людей я уже не знаю. Среди сорокалетних много прекрасных лингвистов. Очень много хороших лингвистов среднего возраста. А что касается нашей школы, у нас тоже новые материалы, новые подходы – скажем: «Язык русского зарубежья». Причем, эта тема интересна не только по новому материалу, но и по тем проблемам, которые она затрагивает. Как взаимодействуют языки? Что в языке наиболее устойчиво? Что скорее всего поддастся чужому влиянию и разрушится? Какие факторы влияют на сохранение или, наоборот, отмирание языка? В общем, очень много важных вопросов. Развивается гендерлингвистика. Продолжают изучаться вопросы социального варьирования языка, политических дискуссий, митингов, улиц. Издан словарь общего жаргона. Изучаются активные процессы в языке конца XX – начала XXI века. Нельзя сказать, что наука о русском языке умирает.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

R.M.W. Dixon, A.Y. Aikhenvald (eds.). Adjective classes: A cross-linguistic typology. Oxford: Oxford University Press, 2004. 392 p. (Explorations in language and space; 1).

Книга открывает новую серию «Explorations in language and space», которая посвящена актуальным вопросам типологии, не получившим прежде исчерпывающего освещения, и представляет собой сборник из пятнадцати статей. Книга начинается и заканчивается теоретическими работами, посвященными заявленной проблеме, остальные тринадцать работ описывают категорию прилагательного в каком-либо конкретном языке.

Сборник открывает большая обзорная статья Р. Диксона, в которой рассматриваются способы организации категории прилагательного в языках мира. Одним из главных положений Диксона является универсальный подход к трем основным лексическим классам: в каждом естественном языке можно выделить существительные, глаголы и прилагательные (ср. аналогичный подход в [Baker 2003]). Выделение данных трех названных классов основывается: а) на прототипических семантических концептах и б) на прототипических грамматических функциях. Распределение лексем по трем классам в конкретном языке происходит на основании индивидуальных грамматических особенностей этого языка.

С точки зрения семантических свойств единиц каждого из трех классов Диксон придерживается выдвинутого им ранее подхода (см. [Dixon 1977; 1994]), основанного на выделении семантических типов словарных единиц. «Семантический тип» – промежуточное звено между семантическими классами (такими, как «[физический] объект», «действие», «свойство») и элементарными лексическими единицами. Примерами семантических типов могут служить, например: HUMANS (мужчина, женщина, ребенок...), ARTEFACTS (ружье, дом, машина...), MOTION (бежать, бросать...), AFFECT (бить, сжигать, строить...), DIMENSION

(большой, длинный, широкий...), AGE (новый, старый, молодой...).

Прототипические семантические типы, такие, как, например, приведенные выше, всегда реализуются в конкретном языке как отдельная часть речи. В то же время имеется группа периферийных типов, которые могут получать различную частеречную атрибуцию в разных языках. К последним относятся, например, типы PHYSICAL PROPERTY (твердый, тяжелый, чистый...) и HUMAN PROPENSITY (счастливый, добрый, умный...). Тип PHYSICAL PROPERTY, если не реализуется в языке как прилагательное, то попадает в глагольный класс, HUMAN PROPENSITY, если не становится прилагательным, то реализуется либо как существительное, либо как глагол.

К прототипическим грамматическим функциям относятся следующие. Имена (= существительные) могут быть ядерными аргументами в предикации. Базовая функция глаголов – предикат. Прилагательные могут в большей или меньшей степени выражать каждую из этих двух функций, часто имея при этом какую-то иную, специфичную только для них грамматическую нагрузку.

Прилагательные отличаются от глаголов по нескольким основным грамматическим критериям: i) по-разному выступают в роли предиката; ii) различаются с точки зрения переходности; iii) по-разному могут образовывать приименные определения; iv) по-разному организуют сравнительные конструкции; v) по-разному образуют наречия.

Существительные и прилагательные различаются следующими грамматическими возможностями: i) они играют различную роль во внутреннем синтаксисе именной группы; ii) различны на морфологическом уровне; iii) по-разному могут образовывать сравнительные

конструкции: iv) различны в обстоятельственной функции.

В соответствии с этим выделяется несколько типов языков: языки, в которых грамматические свойства прилагательных являются подмножеством грамматических свойств глаголов (чероки, фиджи); языки, в которых грамматические свойства прилагательных являются подмножеством грамматических свойств имен (баскский, папуасские), языки, где прилагательные (частично) похожи на оба других грамматических класса (берберские, некоторые австралийские), и, наконец, языки, где прилагательные отличаются как от имени, так и от глагола (английский, терибс). Кроме того, выделяется еще один тип языков – те, в которых сами прилагательные разделены на два подкласса, отличающихся своими грамматическими свойствами (наиболее яркий представитель – японский язык). Проводя подобную классификацию, Диксон (неявно) опирается на разработанную в [Bhat 1994] методологию определения прилагательных через другие части речи.

Автором также обсуждается наличие связей между организацией адъективного класса и другими аспектами грамматической структуры. Наряду с установленной в [Wetzer 1996] типологической корреляцией между наличием в языке «именных» прилагательных и наличием категории времени (по крайней мере – оппозиции прошедшее vs. не прошедшее), автор также предлагает собственные наблюдения над способом выражения адъективных концептов и вершинно-зависимостным маркированием. По мнению Диксона, «неглагольные» прилагательные характерны для языков с зависимостным маркированием на уровне предикации, в то время как «глагольные» прилагательные имеют место либо в языках с вершинным маркированием в предикации, либо там, где нет подразделения на вершинное и зависимостное маркирование.

Также обсуждается проблема «пересечения» концептов, входящих в разные лексические классы в различных языках. Так, если в английском подобные лексические пересечения в основном имеют место между классами имен и прилагательных/имен и глаголов, то в языке дирбал (также располагающем открытым классом прилагательных) пересекаются в основном классы прилагательных и глаголов.

Данная статья Р. Диксона, который определил основные направления в области типологического исследования лексических классов в языках мира еще в [Dixon 1982], служит теоретическим фоном для других работ, составивших данный сборник.

В следующей работе, А. Бэкхаус «Изменяемые и неизменяемые прилагательные в японском», обсуждаются грамматические свойства прилагательных в японском языке (см. также подробное освещение данной темы в [Алпатов 1979]). Выделяются два основных типа адъективных лексем в японском: изменяемые (inflected) и неизменяемые (uninflected). Прилагательные первого типа в значительной степени напоминают (непереходные) глаголы и характеризуются следующими свойствами: они могут возглавлять независимую предикацию; не могут присоединять участника в аккумулятив; выступают в функции присвязочного дополнения (как и отрицательные глагольные формы); могут, подобно глаголу, быть определением; не сочетаются со вспомогательным глаголом (как и стивные глаголы), регулярнее, чем глагол, образуют степени сравнения. Прилагательные второго типа гораздо больше похожи на имена: подобно существительным – и в отличие от прилагательных предыдущего типа – они не выражают временного значения и в предикации должны использоваться со связкой, при образовании определения к существительному должна быть использована либо генитивная частица *no*, либо частица *na*. Оба типа прилагательных объединяют общие деривационные свойства и способность к градуальному выражению признака. Проводя тонкое грамматическое различие между каждым из выделенных (под)типов прилагательных, автор показывает, что прилагательные в японском языке могут быть выделены в отдельный (негомогенный) класс, отличный от имен и глаголов.

Статья К. Дженетти и К. Гиндельбрандт «Два класса прилагательных в языке мананге» является подробным описанием категории прилагательного в тибето-бирманском языке мананге. Адъективные концепты в мананге представлены двумя основными типами: собственно прилагательные (simple adjectives) и глагольные прилагательные (verb-like adjectives). Прилагательные первого типа не принимают специального морфологического оформления ни в предикативной функции, ни атрибутивно, ни в сравнительных конструкциях. Атрибутивное и предикативное употребление собственно прилагательных отлично от глаголов и глагольных прилагательных. В то же время глагольные прилагательные отличаются от глаголов, например, тем, что могут сочетаться с именной предикативной связкой и не образуют ряда форм из глагольной парадигмы. Авторы заключают, что прилагательные в мананге состоят из двух классов: собственно адъективного и «гибридного» класса, демон-

стрирующего свойства как глаголов, так и прилагательных.

Четвертая глава книги (автор А.Ю. Айхенвальд) «Класс прилагательных в языке тарьяна» представляет собой описание прилагательного в северо-аравакском индейском языке тарьяна. Прилагательные (простых адъективных основ насчитывается порядка трех десятков) и существительные в тарьяна обладают рядом схожих грамматических свойств: и те и другие могут возглавлять именную группу, принимать классно-числовые показатели (согласовательные в случае прилагательных и лексически детерминированные у имен), присоединять (различные) показатели уменьшительности. Некоторые прилагательные также напоминают по своим свойствам стативные глаголы, что вообще типично для аравакских языков. По мнению А. Айхенвальд, именные прилагательные могли появиться в тарьяна под влиянием неаравакского языкового окружения, привносящего в грамматику языка элементы зависимостного маркирования.

Пятая глава «Прилагательные в языке мам» (автор Н.К. Ингланд) посвящена свойствам прилагательных в языке мам. Подобно другим языкам майя, мам проводит четкую границу между именами, переходными/непереходными глаголами и прилагательными. «Мощность» адъективного класса в языках майя составляет обычно около пятидесяти лексем. Прилагательные в мам в большей степени, чем в языках, рассмотренных выше, образуют отдельный класс, сближаясь с именами и глаголами лишь по нескольким параметрам (с первыми, например, их объединяет сочетаемость с некоторыми показателями отрицания и деривационными морфемами, с последними – способность возглавлять предикацию). Учитывая то, что мам – язык с последовательно зависимостным маркированием, можно задаться вопросом, подтверждает ли он выдвинутую в первой части сборника гипотезу Диксона.

Следующая глава (П. Леви. «Прилагательные в языке папантла тотонак») посвящена языку, который ранее рассматривался как лишенный адъективной категории: прилагательные в папантла тотонак (тотонакская семья, Мексика) считались подклассом существительных. Автор показывает, что прилагательные, тем не менее, могут быть выделены в самостоятельный лексический класс на основании ряда морфологических, синтаксических и семантических критериев.

Седьмая глава сборника (Р.М.В. Диксон. «Малый адъективный класс в языке жаравара») описывает прилагательные в жаравара, одном из языков Южной Амазонии. Жаравара располагает двумя «открытыми» лексически-

ми классами имен и глаголов; класс прилагательных насчитывает четырнадцать единиц. Прилагательные, которые, на первый взгляд, проявляют сходство с обладаемыми именами («possessed nouns»), тем не менее, отличаются от последних: расположением в именной группе относительно других элементов, возможностью выступать в роли присвязочного компонента и особенностями маркирования по роду. Автор допускает, что близость прилагательных и имен может быть связана с развившимся в языке зависимостным маркированием.

Восьмая глава посвящена русским прилагательным и принадлежит перу известного британского типолога и слависта Г. Корбета. В работе подробно описывается весь спектр функций русского прилагательного, которое способно выступать и в функции имени (полная форма), и в функции глагола (прежде всего – краткая форма), но обладает также рядом свойств, отличающих его от каждой из двух основных лексико-грамматических категорий.

В девятой главе книги (Хо-Мин Сон. «Класс прилагательных в корейском») анализируется грамматический статус прилагательных в корейском. Корейские прилагательные являются объектом долгой научной дискуссии: одни лингвисты считают их самостоятельной частью речи, в то время как другие – подклассом глаголов. Автор показывает, что прилагательные в корейском могут быть выделены в отдельную категорию. Так, несмотря на то, что прилагательные (но не существительные) способны самостоятельно возглавлять предикацию и получать те же грамматические показатели, что и (непереходные) глаголы, ряд синтаксических свойств, таких как, например, особенности предикативного и атрибутивного употребления, отличает их от глаголов.

По мнению Ф. МакЛафлин, автора главы «Есть ли прилагательные в языке волоф?», класс прилагательных в языке волоф семьи нигер-конго, выделяющийся на основании ряда некоторых достаточно второстепенных грамматических свойств, скорее, стоит считать подклассом глагольной категории, так как (незначительный) контраст между двумя классами, в отличие от корейского, исчезает при детальном рассмотрении.

Прилагательные одного из австронезийских языков, амба, которым посвящена следующая глава (К. Хислоп. «Прилагательные в северо-восточном амба»), также являются скорее подклассом глагольной категории, чем самостоятельным лексическим классом. Сходным образом, в главе «Прилагательные в языке семелаи» (автор Н. Круспе) описываются прилагательные в мон-кхмерском языке семелаи,

которые могут употребляться в тех же синтаксических контекстах, что и глаголы. Основные грамматические категории, выражаемые при помощи адъективных концептов, совпадают с таковыми у глаголов. Ряд отличий в дистрибуции глаголов и прилагательных (таких как, например, уникальная способность прилагательных образовывать компаративные конструкции или результативные малые клаузы) скорее проистекает из их семантики и должен быть описан так же, как и другие семантические различия между глаголами, проводящие внутренние границы в пределах глагольного класса. Прилагательные, таким образом, формируют в семантическом подклассе глаголов.

Тринадцатая глава (Р.Дж. Лаполла, Чен-Лон Хуан. «Прилагательные в языке цян»), посвящена прилагательным в тибето-бирманском языке цян (qiang). Данный язык является еще одним примером языка с прилагательными как подклассом глагола. Различия между данным подклассом и остальными глагольными единицами достаточно стандартны и относятся к употреблению прилагательного в функции определения, особенностям редупликации прилагательных и т.д.

Описательную часть сборника завершает раздел Н.Дж. Энфилда «Прилагательные в языке лао». Выводы, к которым приходит автор, анализируя категорию прилагательного в тайском языке лао, в целом совпадают с выводами авторов предыдущих четырех глав: утверждение, сделанное Диксоном в его вступительной статье и заключающееся в том, что категории имени, глагола и прилагательного являются языковыми универсалиями, не соответствует фактам языка лао. Прилагательные лао, также как и прилагательные в языках, описанных в предыдущих разделах сборника, скорее составляют глагольный подкласс, чем выделяются в отдельную категорию.

Автором последней, пятнадцатой, главы рецензируемой книги является Дж. Хайск. В ней подводятся итоги проведенного типологического исследования проблемы прилагательного и перечисляются основные грамматические критерии, позволяющие отделить адъективный класс от класса имен и глаголов либо, наоборот, выделить прилагательные в подкласс одной из двух базовых частей речи.

К основным из таких критериев можно отнести: способность самостоятельно, без помощи связки, возглавлять предикацию и выражать категории времени-вида-наклонения; способность образовывать особый тип синтаксических конструкций – компаративы и суперлативы; способность принимать особый тип определений – интенсификаторы, либо образовывать словоформы с интенсифицирующим

значением (при помощи специальных аффиксов или посредством редупликации); способность (немаркированно либо с минимальным маркированием) выступать в роли примененного определения; способность (самостоятельно) возглавлять именную группу.

Автор последней части также обсуждает ряд предсказаний, сделанных Р. Диксоном в первой главе книги относительно типологических закономерностей, связывающих способ организации адъективного класса в некотором конкретном языке с другими особенностями его грамматики. Так предсказание о том, что языки с более «именными» прилагательными склонны к зависимостному маркированию, а языки с более «глагольными» – к вершинному, в целом находит подтверждение¹. Также важным результатом можно считать тот факт, что в той или иной степени авторы почти всех работ, даже тех, где прилагательные рассматриваются как подкласс большего лексического класса, допускают теоретическую возможность выделения прилагательных в самостоятельный лексический класс. Примечательно, что все языки, где прилагательные могут являться подклассом большей категории, относятся к языкам с «глагольными» прилагательными, что, безусловно, свидетельствует об имеющемся «европоцентризме» в подходе к выделению частей речи.

Если суммировать мнение авторов сборника, то тезис Диксона об обязательности в языке трех лексических классов хотя и не признается всеми безоговорочно, то, по меньшей мере, рассматривается как имеющий под собой серьезные основания.

Кроме общей тематики, сборник объединен еще и схожим форматом работ: в каждой из них содержится обязательная информация об (основных) семантических типах, представляющих категорию прилагательного в соответствующем языке, описываются регулярные способы (от)адъективной деривации и приводится стандартный набор грамматических контекстов, (не)допускающих употребление прилагательного. Единый стандарт описания позволяет лингвистам, не знакомым с материалом данных языков, использовать сборник для получения собственных обобщений по поводу се-

¹ Отметим со своей стороны, что не всегда очевидны критерии, по которым язык может быть однозначно отнесен к вершинно-маркирующему/зависимостно-маркирующему типу, так как большое количество языков используют вершинно-зависимостное маркирование.

мантических и грамматических свойств единиц адъективной категории.

Данная книга – в целом весьма содержательная и полезная – адресована как профессиональным типологам, так и тем, кто предполагает использовать собранные в ней данные конкретных языков в теоретических работах, при обучении синтаксической типологии и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов 1979 – *В.М. Алпатов*. Что такое прилагательное в японском языке? // Японское языкознание. М., 1979.
- Алпатов 1990 – *В.М. Алпатов* (ред.). Части речи: теория и типология. М., 1990.
- Вежбицкая 1999а – *А. Вежбицкая*. Лексические прототипы как универсальное основание межъязыковой классификации «частей речи» // *А. Вежбицкая*. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
- Вежбицкая 1999б – *А. Вежбицкая*. Что значит имя существительное? (или: Чем существительные отличаются от прилагательных?) // *А. Вежбицкая*. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
- Baker 2003 – *M.C. Baker*. Lexical categories: verbs, nouns, and adjectives. Cambridge, 2003.
- Bhat 1994 – *D.N.S. Bhat*. The adjectival category: criteria for differentiation and identification. Amsterdam, 1996.
- Croft 1991 – *W. Croft*. Syntactic categories and grammatical relations: The cognitive organisation of information. Chicago, 1991.
- Dixon 1977 – *R.M.W. Dixon*. Where have all the adjectives gone? // *Studies in language*. 1. 1977.

- Dixon 1982 – *R.M.W. Dixon*. Where have all the adjectives gone? Berlin, 1982.
- Dixon 1994 – *R.M.W. Dixon*. Adjectives // *The encyclopedia of languages and linguistics* / R.E. Asher (ed.). V. 1. Oxford, 1994.
- Givón 1979 – *T. Givón*. On understanding grammar. New York, 1979.
- Givón 1984 – *T. Givón*. Syntax: A functional-typological introduction. V. 1. Amsterdam, 1984.
- Hengeveld 1992 – *K. Hengeveld*. Parts of speech M. Fortescue, P. Harder, L. Kristofferson (eds.). Layered structure and reference in a functional perspective. Amsterdam, 1992.
- Hopper, Thompson 1984 – *P.J. Hopper, S. Thompson*. The discourse basis for lexical categories in Universal grammar // *Language*. 60.4. 1984.
- Rosch 1975 – *E. Rosch*. Cognitive representations of semantic categories // *Journal of experimental psychology: General* 104. 1975.
- Sasse 1993 – *H.-J. Sasse*. Syntactic categories and subcategories // *Syntax. An international book of contemporary research*. Berlin; New York, 1993.
- Schachter 1985 – *P. Schachter*. Parts-of-speech systems // *T. Shopen* (ed.). Language typology and syntactic description. V. 1: Clause structure. Cambridge, 1985.
- Taylor 1989 – *J.R. Taylor*. Linguistic categorization: Prototypes in linguistic theory. Oxford, 1989.
- Thompson 1988 – *S. Thompson*. A discourse approach to the cross-linguistic category «adjective» // *J.A. Hawkins* (ed.). Explaining language universals. Oxford, 1988.
- Wetzer 1996 – *H. Wetzer*. The typology of adjectival predication. Berlin, 1996.

П.В. Гращенков

Л.М. Васильев. Теоретические проблемы общей лингвистики, славистики, русистики. Сборник избранных статей. Уфа: РИО БашГУ, 2006. 524 с.

Книга Л.М. Васильева включает в себя избранные статьи, тезисы и заметки, опубликованные в отечественных и зарубежных изданиях в период с 1961 по 2005 г. В них автор рассматривает устройство и функционирование языка как знаковой системы, природу и типы языковых значений, значимостей, функций, взаимоотношение языка и мышления, границы языкового и неязыкового знания, сущность когнитивных, семантических, грамматических категорий и мн. др. В соответствии с тематикой статьи объединяются в шесть разделов: общая лингвистика, славистика, русистика, ме-

тоды современной лингвистики, история языкознания и персоналии. Написанные в разное время, они, тем не менее, способствуют раскрытию целостной концепции.

С точки зрения Л.М. Васильева, язык состоит из трех формальных знаковых систем: фонетической, лексико-грамматической и семантической. Единицы плана выражения и плана содержания, каждый из которых имеет свою внутреннюю и внешнюю форму, существуют относительно самостоятельно и связаны друг с другом функционально-репрезентативными отношениями. Так, фонетические единицы ре-

презентируют лексико-грамматические (и те, и другие характеризуются определенной внешней и внутренней оформленностью), лексико-грамматические единицы репрезентируют семантические («внутреннюю форму» плана содержания), которые, в свою очередь, представляют неязыковое мыслительное содержание (внешнюю форму плана содержания). Принципиально новым здесь является придание семантическим единицам языка статуса знаковых наряду с формальными. Как отмечает автор, к мысли о необходимости расщепления глобального знака на его реальные составные компоненты приходят многие ученые, «но не все решаются сделать этот шаг. А сделать его нужно, ибо этого требуют интересы науки» (с. 67). Сомнение в правомочности объединения в пределах одного знака двух различных по своей природе – материальных и идеальных – единиц выражается в статье «Природа и типы языковых знаков» (1975), здесь же обобщаются и критически оцениваются положения основных семиотических концепций. Опираясь на идеи А.А. Потебни, Е. Куриловича, А.Г. Волкова и И.А. Хабарова, анализируя многочисленные данные об асимметрии семантических и формальных единиц, Л.М. Васильев приходит к мысли о том, что язык представляет собой систему разнородных знаковых подсистем, и раскрывает собственное понимание природы и устройства языка.

Итак, согласно мнению автора, в каждом стратуме (семантическом, лексико-грамматическом и фонетическом) выделяются нулевой уровень (уровень структурных компонентов основных знаковых единиц), уровень основных (простых) знаковых единиц и уровень синтагм (сложных знаковых единиц). Основной единицей семантического стратума является семема, лексико-грамматического – словоформа, фонетического – звукотип. Семеме структурируют семы (элементарные, далее неделимые компоненты) и семантические множители, отражающие ее деривационные связи. Структурные компоненты словоформы – морфы и грамматические множители, а звукотипа – интегральные и дифференциальные фонетические признаки. Сочетания простых знаковых единиц образуют различные типы конкретных фонетических, лексико-грамматических и семантических синтагм (сложных знаков). В каждом стратуме и уровне имеются также подуровни абстрактных знаковых единиц: фонем и морфонем, типоформ, лексем, абстрактных лексико-грамматических синтагм (формальных моделей словосочетаний и предложений) и абстрактных семантических синтагм (моделей построения конкретных семантических синтагм) и др. (см. с. 119; ср. с. 63–65). Таким

образом, знаками автор считает все автономные единицы языка, главной их знаковой функцией – репрезентативную: способность представлять другие знаковые единицы; а важнейшими их свойствами – информативность, социальную значимость, дискретность и структурность (с. 66, 119, 120). Предлагаемая модель, конечно, гипотетична. Однако, с нашей точки зрения, ее достоинствами являются непротиворечивость, обоснованность, универсальность и согласованность с данными по нейролингвистике и теории информации. Последовательно разграничивая формальные и содержательные знаки языка, Л.М. Васильев приводит достаточно убедительные аргументы: одно и то же содержание может выражаться различными формальными средствами, форма и значение могут изменяться в истории языка независимо друг от друга, во всех языках существуют асемантические единицы.

Интерпретация значений и семантических синтагм как самостоятельных знаковых единиц позволила Л.М. Васильеву выработать особый подход к определению их сущности, к их типологии и к описанию семантической структуры языка. С его точки зрения, с е м е м а – это языковое значение, сложный комплекс взаимосвязанных лексических, словообразовательных и грамматических содержательных компонентов (сем и семантических множителей). Исследователь считает неприемлемым релятивистское понимание значения – как отношения к денотату, сигнификату, к другим знакам, к говорящему, речевой ситуации и т.д., поскольку знаки языка не соотносятся с соответствующими предметами или явлениями действительности непосредственно, минуя их отражение в сознании человека (с. 185–186). По своей природе языковые значения являются психическими, отражательными сущностями, подобно понятиям и представлениям; они служат для репрезентации в языке неязыкового мыслительного содержания (с. 23, 79–80). Реляционные же свойства языковых единиц образуют совершенно иной тип языкового знания – з н а ч и м о с т и.

Необходимо отметить, что семантическая теория Л.М. Васильева формировалась в практике сопоставительного анализа содержательных единиц многих языков¹, в его работе над семантическим словарем [Васильев 2005]. В соответствии с этой теорией семемы имеют чаще всего сложную внутреннюю структуру: их ядром служит, как правило, понятийное содержание, а различные коннотации составля-

¹ См. разделы книги «Категории языка», «Славистика», «Русистика».

ют периферию (с. 132). По соотношению со структурными элементами словоформы выделяются лексические, словообразовательные и грамматические компоненты семем; по способу манифестации содержания – эксплицитные и имплицитные; по типу отношений между единицами, в основе которых они лежат, – парадигматические и синтагматические; по характеру отношений между ними внутри семемы – доминирующие и зависимые; по отношению к идентифицирующему значению того или иного семантического класса или функционально-семантического поля – ядерные и периферийные и т.д. (с. 111–112, 149–152). Как справедливо отмечает Л.М. Васильев, целесообразно говорить о семантической структуре не только многозначных, но и однозначных слов (с. 132). Значения же полисемантов представляют собой класс (поле) семем, соединенных иерархическими (привативными, эквивалентными) или комплементарными связями, следовательно, они предстают как «сети таких отношений, непосредственных и опосредованных, узлы которых соответствуют отдельным значениям», причем «общий» (инвариантный) компонент не является обязательным для всех значений многозначного слова (с. 136–137).

В традиционной лингвистике принято разграничивать лексические и грамматические значения, однако, по мнению Л.М. Васильева, различие между этими сущностями состоит не в степени их абстрактности и не в логико-содержательной их природе, а в способах выражения (с. 20, 203–204, 215; ср. [Виноградов 1947: 38]). Неопределенность границ между данными типами значений, с точки зрения автора, объясняется тем, что в самом языке они не существуют как самостоятельные единицы, а «являются результатом искусственного отвлечения тех или иных структурных компонентов (сем или семантических множителей) от реально существующих в языке конкретных семантических единиц» (с. 127–128). Что касается коннотативных компонентов значения, которые наслаиваются на понятийное содержание и которые «трудно или вообще невозможно выразить в конкретных понятиях», то главной их особенностью является образный, экспрессивный характер, а также преимущественная соотношенность с семантическими категориями и полями эмоциональности, оценочности, градуативности, компаративности и «обстоятельности». В соответствии с этим Л.М. Васильев выделяет коннотативы-эмотивы, коннотативы-эвалюативы, коннотативы-градуативы, коннотативы-компаративы и обстоятельственные коннотативы (с. 180–184). К семантическим коннотациям он не относит так называемые «стилистические значе-

ния» («книжность», «разговорность», «просторечность» и т.п.), связанные со сферой употребления, справедливо считая их значимостями, а не оттенками значений.

Автор называет три основных типа языковых значений: 1) номинативные (предметно-логические, дескриптивные, денотативно-сигнификативные); 2) интерпретирующие; 3) дейктические². Номинативные значения отражают свойства реальных действительности, выполняя идентифицирующую и характеризующую функции. Интерпретирующими являются прежде всего модально-оценочные значения и различные коннотативные компоненты, в том числе метафорические. Дейктические значения – это значения местоимений, артиклей, служебных частей речи, грамматических категорий и различных средств коммуникативного аспекта высказывания (с. 167–168). Таким образом, дейктическое пространство языка в представлении Л.М. Васильева существенно расширяется³: «Есть основания думать, что дейктическую функцию в той или иной мере выполняют все языковые значения (в наибольшей мере – абстрактные, в наименьшей – конкретные), ибо любые языковые значения прежде всего указывают на границы обозначаемого, очерчивая их путем выделения тех или иных свойств, и лишь потом отображают, моделируют внутреннюю структуру денотата, связывая ее с нашими представлениями и впечатлениями об отражаемом в сознании объекте» (с. 167). Очевидно, в этом и заключается суть репрезентации значением неязыкового содержания.

Внешняя структурная оформленность языковых значений, т.е. их парадигматические, синтагматические и деривационные связи с другими значениями, обусловлена в первую очередь их внутренней структурой (с. 113): «Надо со всей решительностью подчеркнуть, что не семантические поля обуславливают существование отдельных значений (семем), а, наоборот, семантические поля (семантические классы) формируются, конституируются и предопределяются структурными особенностями отдельных значений» (с. 137). В двух важных для семантики статьях «Теория семантических полей» (1971) и «Типы семантических полей по их структуре и способам репрезентации» (1988) Л.М. Васильев обобщает

² В ранних его работах представлены иные типы (с. 18, 153–155).

³ Общепризнанными дейктиками являются лишь местоимения, Н.Ю. Шведова относит к дейктическим также некоторые группы глаголов (см. [Шведова 1999]).

опыт зарубежных и отечественных исследований и представляет собственное понимание того, каким образом структурируется семантическая система и как она должна изучаться.

Мысль о тождественности языкового значения, значимостей и функций и о необходимости отграничения этих типов языкового знания от неязыковых знаний, которую автор настойчиво проводит через все свои работы, является, без сомнения, важной, т.к. содержание данных понятий (в силу их тесной взаимосвязи) в лингвистике часто смешивается. Поначалу Л.М. Васильев, как и многие другие ученые, рассматривал значение как семантическую функцию (см. с. 110, 186), однако позже он стал трактовать его как субстанциональную (идеальную) единицу языка, способную выполнять те или иные функции (с. 24–25). Если значения – это единицы языкового содержания, то функции – это роль, назначение единиц языка, в том числе семантических. Так, по типологии автора, наряду с важнейшей – репрезентативной – функцией, языковые единицы могут выполнять ономастическую, конструктивно-грамматическую, логико-синтаксическую, коммуникативно-синтаксическую, стилеобразующую, дейктическую, метаязыковую и др. функции. Значения служат прежде всего для выражения неязыкового мыслительного содержания, таким образом, по отношению к нему они выполняют семиотическую функцию. При этом Л.М. Васильев считает неприемлемым включение в понятие значения речевого, контекстуального, смысла, поскольку это ведет к неоправданному субъективизму в исследованиях. «Речевой смысл, – отмечает он, – является сферой взаимодействия языкового и неязыкового знания», системные значения – это, по сути, внутренняя форма неязыкового содержания (с. 75)⁴. В процессе актуализации происходит не просто индивидуализация, конкретизация языкового значения, модификация или семное варьирование, а «активное взаимодействие его интенционального содержания (номинативного, модального и коннотативного) с невыраженным в этом значении знанием об обозначаемом, с его импликационалом (семантическим потенциалом)», обусловленное ситуацией высказывания (с. 45, 111).

⁴ Речевой смысл слова *мужчина* богаче его системного значения, например, в высказываниях *Не бойся, ведь ты же мужчина* (актуализируется представление говорящего о мужчине как о смелом человеке) или *Вот это мужчина!* (актуализируются признаки, входящие в понятие об идеальном мужчине) (с. 44).

Значимостями автор называет отраженные в сознании говорящего в виде специфического знания свойства языковых единиц, обусловленные их статусом в системе языка и речемыслительной деятельности. Такие знания часто являются интуитивными, их сложно отграничивать от знаний о значениях и функциях, возможно, поэтому в лингвистике до сих пор нет единой типологии значимостей. В ряде статей Л.М. Васильев намечает собственную классификацию значимостей, которая впоследствии может быть доработана. Он выделяет парадигматические, синтагматические, этимологические, деривационные, стилевые, статистические и темпоральные значимости (с. 24, 36, 120, 186)⁵. Поскольку значимости, как и функции, характеризуют все языковые единицы, они могут быть формальными и семантическими. Теория значимостей находит удачное применение в решении автором вопросов лексической и грамматической синонимии: синонимы как тождественные семантические единицы языка могут различаться либо своими коннотациями, либо значимостями (с. 423, 427)⁶.

Итак, значения, значимости и функции, с точки зрения Л.М. Васильева, – это «три разных типа знания языка, благодаря которым любая его единица является для говорящего осмысленной» (с. 111). Противопоставление их неязыковым знаниям позволяет исследователю более четко определить предмет и задачи лингвистической семантики (в отличие от когнитивной): она должна изучать лишь языковое содержание и способы представления в языке человеческих знаний, опыта. Вопрос о том, какие знания относятся к языку и организуют его семантические и грамматические модели, а какие находятся вне системы языка, шире – о соотношении языка и мышления, се-

⁵ Статусные свойства сем, выделенные М.В. Никитиным в [Никитин 1983: 48], отчасти перекрещиваются с данными типами, отчасти дополняют типологию Л.М. Васильева (Л.М. Васильев понятие значимости трактует шире: статусные свойства присущи всем единицам языка).

⁶ Думается, что значимостями различаются и так называемые абсолютные синонимы: *лингвистика – языкознание – языковедение* (различаются генетической и темпоральной значимостью), *бегемот – гиппопотам* (различаются генетической и фонетической значимостью), *килограмм сахара – килограмм сахара* (различаются стилевой значимостью) и т.д. Таким образом, абсолютного тождества между ними все-таки нет.

мантических, грамматических, понятийных и когнитивных категорий. – рассматривается в статьях, включенных в разделы «Язык и сознание», «Категории языка», а также, с привлечением богатого фактического материала, – в разделах «Славистика» и «Русистика».

Разграничение языковых и неязыковых знаний, по твердому убеждению автора, носит принципиальный характер, т.к. оно показывает отличие языка от других знаковых систем, в которых тоже закрепляются и хранятся человеческие знания. Языковые знания являются частью всего познавательного опыта человека, это прежде всего знание языковых единиц, их взаимоотношений, правил их употребления, языкового содержания, формы, значимостей и функций (с. 208). Реальность существования категорий, структурирующих языковые и неязыковые знания, у ученых не вызывает сомнения, однако в лингвистике пока нет строгих их дефиниций, а тем более исчерпывающего описания. Автор рецензируемой книги определяет важнейшие свойства, границы, взаимоотношения этих категорий и намечает подходы к их изучению.

Так, с точки зрения Л.М. Васильева, единицами, организующими неязыковые знания человека, являются когнитивные категории, весьма сложные и многообразные по своему концептуальному, перцептивному и эмоциональному содержанию. Понятийные же, семантические и грамматические категории представляют собой разные аспекты языковой семантики, так или иначе соотносящиеся с неязыковым мыслительным содержанием. Понятийные категории составляют ядро когнитивных, вместе с тем они могут быть абсолютно тождественными семантическим категориям; как отмечает автор, «понятийные категории – это семантические категории, “очищенные” от всяких образных (эмпирических, перцептивных) и коннотативных (экспрессивных, мотивных, ассоциативных) наслоений» (с. 223). Но, в отличие от понятийных, семантические категории имеют языковую реализацию, т.е. они воплощены в конкретных лексических, грамматических и фонетических средствах, тесно связаны со сферой коннотаций, структурных значимостей и функций. «Семантические категории, – подчеркивает Л.М. Васильев, – пронизывают весь строй языка: они лежат в основе всех семантических полей и классов, входят во все лексические и грамматические значения, организуют содержание всех синтаксических конструкций. Типы их разнообразны: они различаются по степени абстрактности, объему и структуре своего содержания, внешними средствами своего выражения, характеру взаимоотношения друг с

другом» (с. 208). К абстрактным, логически неопределяемым через более общие категории, автор относит семантические категории бытия, признака, отношения, состояния, количества и т.п. Они соотносятся с такими общими понятиями, которые образуют базовую концептосферу языка, его «семантическую грамматику». Менее абстрактны категории множества, величины, степени (градуативности) и под. (их обычно называют субкатегориями). Семантические категории функционируют в связанном виде, выступают в качестве структурных компонентов значений; являясь их маркерами, образуют разнообразные комбинации, например, в состав лексического значения *догонять* входят семантические категории движения, скорости, цели, контакта и субъекта (с. 258). Таким образом, языковые значения чаще всего представляют собой результат синтеза категориальных сем, относящихся к разным семантическим категориям. «И это является, пожалуй, главной причиной пересечения и активного взаимодействия различных семантических полей, причиной наличия в них центра, представленного идентифицирующей семантической категорией поля, и периферии, представленной семантическими категориями или отдельными семами, входящими в состав других полей» (с. 284).

Важнейшее свойство семантических категорий, по мнению автора, – диффузность, обусловленная тем, что они указывают на объекты мысли, не имеющие четких границ (время, например, непрерывно и бесконечно), и одно и то же явление действительности человек может соотносить с разными семантическими категориями. Например, изменение чьего-либо положения в пространстве может мыслиться как движение (*идти, бежать*), как действие (*садиться, прикручивать*), как процесс (*кипеть, бродить*), как состояние (*быть в состоянии движения, падения*) и как свойство (*Гайка не прикручивается*) (с. 258). «В ментальных структурах, – отмечает исследователь, – семантические категории нередко совпадают с когнитивными категориями, служащими формальной базой (схемой, моделью) абстрактных концептов», тем не менее их следует разграничивать, «ибо семантические категории по отношению к когнитивным категориям выполняют знаковую (дейктическую) функцию, т.е. представляют их и соотносительные с ними концепты в языке» (с. 259).

В ряде статей Л.М. Васильев описывает конкретные семантические категории предикативности, модальности, экспрессивности, эмоциональности, градуативности, состояния, оценочности и др. Автор часто нетрадиционно трактует природу названных категорий. К при-

меру, большинство лингвистов определяет оценку через концепт ценности – как ценностное отношение (см. работы Н.Д. Арутюновой, Е.М. Вольф, Л.А. Сергеевой и др.). Однако, по справедливому замечанию Л.М. Васильева, многие имена ценностей не являются оценочными (*золото, дорогой товар, художественная резьба*), поэтому оценка – это скорее значимое отношение, «это мнение о важности, весомости, ценности, нужности, полезности, целесообразности, эстетичности, этичности и т.д.» (с. 247). Таким образом, главным в этой категории является мнение о соответствии / несоответствии «оцениваемого» (квалифицируемого) нормативному идеалу, образцу, в том числе и каким-либо ценностям, а это мнение говорящего составляет уже не первое, объективное членение мира, а второе – субъективное его членение⁷. Исходя из данного понимания, автор, конечно, иначе, чем другие исследователи, определяет состав единиц семантического поля оценки.

Грамматические категории, по мысли Л.М. Васильева, – это в своей основе семантические категории (глубинные сущности), подвергшиеся в той или иной степени формализации. Взаимосвязь и взаимодействие понятийных, семантических и грамматических ка-

⁷ Пожалуй, трудно согласиться с автором в одном: в том, что оценка мотивирована не знанием, а мнением: мнение о полезности / бесполезности, этичности / неэтичности и т.п. может быть основано на знании (объективном или субъективном) свойств оцениваемых предметов, явлений (см. с. 380).

тегорий «отражают сложное движение мысли от неязыкового мыслительного содержания к языковому как внутренней форме его представления и от языкового мыслительного содержания к внешним формам его выражения (внешней форме)» (с. 214).

В целом книга отличается нестандартностью подхода, который, с нашей точки зрения, является весьма плодотворным и требует серьезного осмысления. С учетом даты первичного издания материалов сборника становится очевидной их новизна и значимость для развития науки. Конечно, с позиций современного знания можно было бы оспорить некоторые утверждения автора. Но, думается, их не следует отделять от общего контекста, т.к. они наглядно иллюстрируют смену научных парадигм в лингвистике и эволюцию взглядов самого исследователя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Васильев 2005 – Л.М. Васильев. Системный семантический словарь русского языка. (Предикатная лексика). Уфа, 2005.
- Виноградов 1947 – В.В. Виноградов. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.: Л., 1947.
- Никитин 1983 – М.В. Никитин. Лексическое значение слова. М., 1983.
- Шведова 1999 – Н.Ю. Шведова. Теоретические результаты, полученные в работе над русским семантическим словарем // ВЯ. 1999. № 1.

Е.Е. Хазимуллина

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

X Международная конференция «Ономастика Поволжья»

В Уфе 12–14 сентября 2006 г. состоялась X Международная научная конференция «Ономастика Поволжья». По общему признанию, точно сформулированному академиком Д.С. Лихачевым, «памятником духовной культуры особого рода являются исторические географические названия – имена наших городов и деревень, улиц и площадей, застав и слобод. Топонимикон народа представляет собой коллективное произведение народного гения. Они служат ориентирами во времени и пространстве, создавая историко-культурный облик страны». Именно такой широкий контекст стал идейной основой очередной научной конференции по ономастике, которая еще раз убедительно продемонстрировала, что ономастическая проблематика сегодня переживает своеобразный бум, а изыскания лингвистов, историков, философов, антропологов и социологов не только не прерывают традицию, заложенную почти сорок лет назад в 1967 г. В.А. Никоновым, но и расширяют поле научных интересов.

Особо следует подчеркнуть, что столица Башкирии уже второй раз гостеприимно встречает ученых-ономастологов. Не случайно один из лозунгов конференции гласил: «Через 35 лет – снова в Уфе!». Часть присутствовавших могли увидеть себя совсем молодыми на исторической фотографии участников III уфимской конференции 1971 г.

Научный форум, собравшийся на базе Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, был весьма представительным: география участников не ограничивалась только традиционными Поволжским, Камским и Уральским регионами, но охватывала Сибирь, Дальний Восток, Северо-запад России, а также Казахстан и Восточную Европу. На торжественном открытии юбилейной конференции к собравшимся обратились ректор БГПУ Р.М. Асадуллин, предста-

витель Администрации Президента РБ М.Б. Ямалов, заместитель председателя УНЦ РАН А.В. Псянчин, директор Института истории языка и литературы УНЦ РАН Ф.Г. Хисамитдинова, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН Б.Р. Логашева, зачитавшая приветствие директора Института В.А. Тишкова, член Постоянного оргкомитета конференции В.И. Супрун.

На первом и втором пленарном заседаниях было заслушано 10 докладов. Сопредседатель оргкомитета конференции В.И. Супрун (Волгоград) осветил проблему мгновенной ономастической ситуации и представил функционирование ядерных и периферийных единиц ономастического континуума. М.В. Горбаневский и В.О. Максимов (Москва) рассуждали о противоречиях в трактовке национально-культурной принадлежности антропонимов и топонимов. Антропонимическим связям Поволжья и казахстанского Приуралья посвятил свое выступление А.И. Назаров (Алма-Ата). П. Чеснокова (Чехия) разработала критерии и выявила сложную систему геортонимов (названий праздников). Т.М. Гарипов (Уфа) представил закономерности функционирования арабо-персидских онимов в языках Поволжья. Тема Волги в ономастике мордвы звучала в докладе Н.Ф. Мокшина (Саранск). К проблеме реконструкций субстратных речных названий Среднего Поволжья обратился А.Н. Куллин (Йошкар-Ола). Антропонимическое пространство отдельного населенного пункта Башкирии стало предметом исследования В.Р. Тимирханова (Уфа). Методологические аспекты составления идеографического словаря топонимов Урало-Поволжья осветил А.Г. Шайхулов (Уфа). Башкирская мифонимия стала темой сообщения Ф.Г. Хисамитдиновой (Уфа).

Состоялись заседания семи секций, где обсуждались актуальные проблемы современной

ономастики. На заседании секции «**Теоретические аспекты ономастических исследований**» выступили: А.А. Абдулфанова (Калуга), Т.Н. Долотова (Ставрополь), Ф.Р. Латыпов, К.Р. Хайруллина (Уфа), Л.Г. Крупина (Уфа), которые рассматривали имена собственные в гендерном преломлении, в интерпретации носителей языка, с точки зрения этимологических параллелей, а также в аспекте функционирования в художественном тексте. Т.А. Сироткина (Пермь) исследовала этнонимно своего края. В.С. Чураков (Ижевск) – геонимы удмуртов. Проблема взаимодействия онимов на пограничных территориях освещалась С.А. Поповым (Воронеж). К семантике и этимологии мифонимов обратились Н.В. Пятаева (Стерлитамак), Т.М. Гарипов и Д.В. Морозов (Уфа).

На заседании секции «**Топонимика, микротопонимика и урбанонимика**» выступили с докладами Л.Г. Хижняк (Саратов) «Древние названия урочищ саратовского Поволжья»; Л.Ш. Арсланов (Елабуга) «О происхождении названий населенных пунктов Суранчак»; М.Я. Выходцева (Волгоград) «Название жилых комплексов на ономастической карте города»; Е.А. Яковлева, А.М. Емельянова (Уфа) «Городские эргонимы: функциональный аспект»; Г.М. Курбангалеева, С.И. Масыгутова (Уфа) «Топонимы на территории Зианчуринского района республики Башкортостан»; М.Г. Усманова (Уфа) «Топоосновы славянских (русских) названий» и др.

На заседании секции «**Антропонимика**» вниманию участников были представлены доклады А.Ф. Азнабасва (Уфа), А.Н. Антышева (Уфа), Г.С. Хазиевой (Казань) об имянаречении детей в эндогамных и экзогамных браках в Башкортостане и Татарстане. М.Ю. Беляева (Ставрополь), И.М. Ганжина (Тверь), С.В. Колесникова (Чебоксары) подняли вопросы структурных особенностей имен и фамилий. Д.Б. Луговой (Ставрополь), О.П. Воронцова (Йошкар-Ола) осветили региональные аспекты этнонимов, состав и динамику различных именников. Х.Х. Салимов, Л.Ф. Осипова (Елабуга) представили фонетическую характеристику антропонимов.

В секции «**Литературная ономастика**» были заслушаны 15 докладов. Часть из них рассматривала функционирование антропонимов в художественных текстах русских и татарских писателей (доклады С.Б. Аюповой (Уфа), Л.М. Выпыпаевой (Уфа), Л.Р. Галимовой (Уфа), С.М. Кнекбасевой (Уфа), Н.С. Малофеевой (Уфа), Д.Б. Масленникова (Уфа), Е.П. Никитиной (Уфа)), М.С. Выхрыстюк (Тобольск) представила результаты исследования структуры и функ-

ционирования женских личных имен в памятниках письменности XVII в. Топонимика татарской автобиографической прозы стала предметом изучения Э.Ф. Гильфановой (Уфа). Ставропольские исследователи Е.А. Луговая, Т.А. Мирзаева, В.Н. Шуткина показали роль имени собственного в разных видах текстов – виртуальном и жестко структурированном.

Секция «**Мифонимика, теонимика и фольклорная ономастика**» отличалась тематическим разнообразием. Здесь были обсуждены имена-обереги башкир (А.Н. Антышев, А.Ф. Азнабасва (Уфа), теонимия алтайцев, ногайцев, православная теонимия (С.П. Тюхтенева (Москва), А.А. Ярлыкапов (Москва), Е.П. Аринина (Самара)), онимы в художественном мире сказки, народного эпоса, русского анекдота были представлены в докладах Е.И. Алещенко (Волгоград), В.В. Бардаковой (Волгоград), Г.Х. Бухаровой (Уфа), И.В. Крюковой (Волгоград), А.И. Петровой (Михайловка).

Секция «**Периферийные разделы ономастики**» работала в двух направлениях: имя в рекламе, отащеллятивная ономастика и ономастика в вузе. Особенности структуры и употребления фитонимов, зоонимов, аргонимов, названий торжественных мероприятий, номинации военной техники были освещены в докладах и сообщениях Г.Р. Галиуллиной (Казань), В.А. Липинской (Москва), Е.А. Бурмистровой, О.В. Врублевской (Волгоград) и Б.М. Галиева (Уфа). Имя собственное в рекламном тексте стало объектом изучения О.В. Кирпичевой (Волгоград), Т.П. Романовой, И.В. Шумкиной (Самара), А.А. Тубольцевой (Тула). Вопросы преподавания, изучения и пропаганды ономастики в вузе и школе были поставлены в сообщениях К.З. Закирьянова (Уфа), С.Н. Рубиной (Волгоград), Т.И. Матвеевой (Уфа), И.И. Исангузиной, Л.С. Исаргаковой (Уфа).

Впервые в работе конференции, учитывая значимость региональных ономастических исследований по проблемам межъязыкового взаимодействия народов России, была выделена секция «**Ономастическая контактология**». Здесь были заслушаны и обсуждены доклады А. Леонтьевой (Чебоксары) «Возможные экстралингвистические ассоциации при заимствовании личных имен»; З.М. Раемгужиной (Уфа) «Контакты тюркских народов в антропонимике башкир»; С.К. Удесовой (Элиста) «Заимствования в антропонимиконе калмыков»; М.М. Нигматуллова (Елабуга) «О некоторых кыпчакских и огузских элементах в топонимике и антропонимике Республики Татарстан»; Н.В. Смирновой (Мур-

манск) «Влияние финно-угорских и славянских языков на топонимику, ономастику и терминологию языка Марийской Республики»; З.Ф. Ш а й х и с л а м о в о й (Уфа) «Русский топонимический слой северо-востока Башкортостана».

В рамках конференции проводился круглый стол «Урало-Поволжье в русском языке и культуре». На нем были обсуждены насущные проблемы современной ономастики сквозь призму лингвокультурологии и с учетом сложной полиэтнической составляющей региона. Прозвучал отчет В.И. С у п р у н а о состоянии ономастической науки и предложен обзор новых идей, высказываемых учеными России и Зарубежья.

О конференции «Социальные варианты языка – V»

19–20 апреля 2007 г. в Нижегородском государственном лингвистическом университете прошла международная научная лингвистическая конференция «Социальные варианты языка – V».

В оргкомитет конференции, который возглавил ректор НГЛУ профессор Г.П. Рябов, вошли проректор по научной работе НГЛУ профессор Е.С. Гриценко, директор Департамента культуры Администрации г. Нижнего Новгорода С.А. Горин, член Президиума Политсовета Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» О.В. Паскова, заведующие кафедрами ведущих вузов Нижнего Поволжья: Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижегородского государственного педагогического университета.

Одним из основных организаторов конференции стал руководитель Лаборатории социопсихолингвистических исследований нижегородский профессор М.А. Грачев. Он является автором серии словарей социальных вариантов русского языка, в том числе фундаментального «Словаря тысячелетнего русского арго», представляющего собой итог почти тридцатилетнего изучения речи различных социальных групп российского общества.

Освещение общей темы «Социальные варианты языка» в рамках конференции в целом осуществлялось на материале разных языков, однако основное внимание в докладах и сообщениях было уделено русскому языку, с учетом того, что 2007-й год в России объявлен годом русского языка.

Особое внимание на конференции было уделено вопросам культуры речи. Ученые отметили растущее влияние нелитературных форм на письменную и устную речь образован-

Благодаря Информационно-исследовательскому центру «История фамилии» под руководством М.В. Горбаневского и В.О. Максимова ход уфимской конференции впервые оперативно освещался в режиме on-line.

В издательстве Бангоспедуниверситета вышел сборник материалов X Международной конференции «Ономастика Поволжья». Следующая XI Международная научная конференция по ономастике Поволжья состоится в г. Йошкар-Ола.

Е.А. Яковлева, В.Р. Тимирханов (Уфа)

ных носителей языка. Часть докладов и сообщений была посвящена анализу языка средств массовой информации.

Значительный интерес участников и гостей конференции вызвали пленарные доклады.

М.А. Грачев (Нижний Новгород) в своем докладе («Актуальные вопросы отечественной лингвокриминалистики») остановился на ряде проблем, стоящих перед новым направлением прикладного языкознания, – лингвокриминалистикой. Докладчик отметил, что лингвистам следует разработать объективную методику определения степени оскорбительности лексики, используемой в устной и письменной речи. В докладе были приведены примеры использования лингвистических критериев для вынесения объективного вердикта в случаях рассмотрения дел в суде.

Основное содержание доклада Т.В. Романова (Нижний Новгород) «Структура интенциональных составляющих политического дискурса Нижегородского региона» заключалось в изложении методики лингвистического анализа политических текстов средств массовой информации в Нижегородском регионе. В качестве примера были приведены речевые портреты отдельных политических фигур, а также охарактеризованы лингвистические средства, используемые некоторыми политическими партиями для изложения своих политических и программных целей. Доклад вызвал значительный интерес не только среди участников конференции, но также у журналистов, представлявших средства массовой информации Нижнего Новгорода и области.

Доклад Т.Н. Синевой (Нижний Новгород) «Некоторые лингвистические аспекты анализа состояния аффекта» был посвящен рассмотрению основных направлений в исследованиях аффективной речи. Одной из основ-

ных целей доклада было показать наличие значимых корреляционных связей между психологическим состоянием человека и синтаксическими характеристиками его речи. Докладчик указал на методики, с помощью которых эти связи могут быть установлены достаточно уверенно и объективно.

Интересным и содержательным на пленарном заседании был и доклад В.А. Салая «О карнавальных основах современного субстандартного речетворчества». Докладчик проанализировал явления так называемого стёба, который, по его мнению, является современным воплощением низового народного устного творчества, реализуемого в предельно сжатых словесных жанрах – в прибаутке, в трансформированной пословице или слове-гибриде.

Во второй день работы конференции был организован «круглый стол», на котором состоялась дискуссия о путях исследования социальных вариантов языка. Перед собравшимися с развернутыми сообщениями выступили руко-

водители Лаборатории социопсихолингвистических исследований НГЛУ. В ходе дискуссии иногородние участники конференции также рассказали о своем опыте работы.

На заключительном заседании, состоявшемся после «круглого стола», были заслушаны выступления руководителей секций, которые рассказали о наиболее интересных докладах, изложили содержание вопросов, возникших в связи с выступлениями.

Согласно единодушному мнению всех участников конференции обсуждение проблем, связанных с анализом социальных вариантов языка, следует продолжать и далее. В связи с этим в адрес организаторов было высказано пожелание найти возможность проведения конференции по данной проблематике в 2009 г.

Г.В. Глинских, М.А. Грачев
(Нижний Новгород)

Международная научная конференция «Лингвистика и поэтика в начале третьего тысячелетия»*

24–28 мая 2007 года в Москве в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН состоялась международная научная конференция «Лингвистика и поэтика в начале третьего тысячелетия». Данная конференция – уже четвертая в ряду научных мероприятий, проводящихся традиционно раз в два года совместно с Институтом языкознания РАН, МПГУ и посвященных обсуждению ключевых вопросов, касающихся изучения поэтического языка и индивидуальных художественных систем. На этот раз в числе организаторов конференции был и Пизанский государственный университет, с которым ИРЯ РАН связывает давнее сотрудничество. В конференции приняли участие ведущие ученые из России и зарубежных стран, специализирующиеся в области изучения языка художественной литературы и лингвистической поэтики. Из них 16 человек – иностранные участники конференции из Швеции, Норвегии,

Дании, Нидерландов, Италии, США, Сербии, Литвы, Эстонии, Японии.

Открывая конференцию, Н.А. Фатеева (Москва) отметила, что в ее задачу собственно и входит обсуждение того, чем должна заниматься лингвистическая поэтика сегодня, в начале третьего тысячелетия. Она сообщила, что в 2006 г. в ИРЯ РАН начал работать Научный центр междисциплинарных исследований художественного текста, само название которого воплощает в себе идею того, что лингвистическая поэтика все более вовлекает в свою сферу активно развивающиеся в последнее время смежные области лингвистического и гуманитарного знания: семиотику, логический анализ языка, семантику возможных миров, когнитивистику, теорию речевых актов, философию языка. Междисциплинарный подход помогает рассмотреть под новым углом зрения многие актуальные вопросы собственно лингвистической поэтики, которые определили проблематику данной конференции.

В рамках конференции был обсужден целый комплекс вопросов, связанных со строением художественных текстов и их функционированием в современном культурно-историческом контексте, был определен новый подход к изучению авторских индивидуальных систем, проанализированы разные типы взаимодействия текстов, а также выявлены последние тенденции в эволюции поэтического языка. На

* Конференция проводилась при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 07-04-14009г) и Министерства образования и науки РФ в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык (2006–2010 годы)» (проект № Я-12).

конференции был также поставлен вопрос о метаязыке лингвистической поэтики в начале третьего тысячелетия. В связи с этим важно вспомнить, что в создании этого метаязыка давно участвуют и сами поэты. Ведь основной круг вопросов конференции определился в ходе дискуссий на постоянно действующем в ИРЯ РАН научном семинаре «Проблемы поэтического языка», в котором принимают активное участие непосредственные «творцы» современного литературного процесса – поэты и писатели. Подобный диалог вполне закономерен, и необходимость его была осознана еще на первых этапах формирования лингвистической поэтики. Поэтому заключительным пунктом программы были объявлены следующие мероприятия: презентации современных литературных журналов; знакомство с новыми произведениями авторов, которые непосредственно формируют современный литературный процесс; представление интермедиаальных проектов.

На открывающем конференцию заседании «Основные вопросы лингвистической поэтики» обсуждалась программа дальнейших исследований в области изучения языка художественной литературы. Особое внимание было уделено обсуждению понятия «поэтическая функция языка», поскольку сегодня оно нуждается в дополнительном переосмыслении в связи с расширением сферы языковой креативности. В рамках данного заседания выступили Н.А. Фатеева, О.Г. Ревзина, Т.М. Николаева, И. Лунде. И.А. Фатеева в докладе «Лингвистическая поэтика сегодня: проблематика и перспективы развития» отметила, что электронно-виртуальное существование текста порождает новые координаты функционирования стихотворных форм, когда становятся вариативными сам способ записи поэтической информации и ее реальные носители, что собственно и обнажает саму виртуальную природу поэзии и требует специального изучения. О.Г. Ревзина (Москва), посвятившая свое выступление когнитивной метафоре, подчеркнула, что обращение к заявленной проблематике обусловлено успешным развитием когнитивного направления в современной лингвистике и поэтике, которое предполагает связь языка с познавательными процессами, со всеми способами обработки, фиксации и хранения информации о мире. Т.М. Николаева (Москва) провела интермедиаальное сопоставление различного вида текстов, основанных на разных семиотических принципах, но посвященных одной и той же идее создания определенного образа. В обобщающем докладе И. Лунде (Берген) были указаны главные тенденции в постсоветском изучении советско-

го «новояза» на фоне общей истории изучения новояза в России и за рубежом. Особое внимание было уделено тому факту, что почти все исследователи включают в свое понимание предмета исследования, и, соответственно, в состав словника, не только «официальные» элементы новояза, которые можно найти во всех официальных жанрах, политических речах, лозунгах, постановлениях и т.п., но и элементы языковых реакций на официальную языковую практику – из сферы анекдотов, художественной литературы, разговорной речи, сленга.

На заседании «Грамматика поэзии и поэтическая грамматика» были заслушаны доклады, посвященные разнообразным проблемам изучения преобразований на грамматическом уровне поэтического языка. На нем выступили М.В. Ляпон (Москва), посвятившая свой доклад концептуальным константам причины в творчестве М. Цветаевой и И. Бродского, Н.М. Азарова (Москва) с докладом «“Причастие” причастием в философском и поэтическом тексте», А.В. Гик (Москва) с докладом «Синтаксис как зависимый компонент грамматики стиха». Доклад С. Валентаса (Шяуляй) «“Выветривание” морфем как поэтический прием» сопровождался презентацией, в ходе которой литовский поэт С. Гяда читал свои стихи, используя вышеназванный прием.

Следующее заседание «Семантические преобразования в художественном тексте и проблема дискурсивной аномальности» было посвящено широкому кругу явлений нарушения нормативной сочетаемости и языковой аномальности. В докладе Е.М. Виноградовой (Москва) «Логические аномалии в стихотворении М.Ю. Лермонтова “Сон”» предметом исследования стало стихотворение Лермонтова, которое по-прежнему вызывает слишком противоречивые трактовки филологов. В докладе И.Г. Бабенко (Калининград) «Грамматические аномалии в современном художественном тексте: функционально-семантический анализ» на примере глагольных, именных и местоименных девиаций в произведениях В. Нарбиковой, А. Битова, В. Маканина, М. Шишкина, Т. Толстой было показано, что выдвигение грамматической аномалии как экспликатора концептуального смысла достижимо только при условии включения аномальной формы в активный контекст. Затем последовал доклад Т.Б. Радбилья (Нижний Новгород) «Художественное слово в рамках теории языковой аномальности», в котором был рассмотрен вопрос о специфике художественного высказывания в рамках оппозиции «норма и аномалия». В докладе М.Л. Новиковой (Москва) «Остранение как основа образной языковой семанти-

ки и структуры художественного текста» была сделана попытка целостного описания теории остраниения В.Б. Шкловского.

В ходе заседания «Языковые и семиотические особенности практики русских поэтов первой половины XX века» первым был прослушан доклад Г.Н. Ивановой-Лукьяновой (Москва) «Об интонации стихотворения «А я...» В. Хлебникова». В нем было продемонстрировано, что интонация стихотворения Хлебникова прочитывается благодаря заложенным в тексте интонациям. В докладе Н.Н. Перцовой (Москва) «Дихотомия Я-неЯ у В. Хлебникова» была сделана попытка типологии различных типов лирического субъекта в поэзии Хлебникова. Исследовательница творчества Хлебникова отметила, что разные типы «Я» (интегральное, дифференциальное и др.) могут накладываться друг на друга даже в рамках одного стихотворения. К. Ичин (Белград) в сообщении «Синергетическое прочтение поэзии А. Введенского» представила новый оригинальный взгляд на поэзию этого автора, которая отличается алогичностью и стремлением смоделировать художественный мир, построенный на противоположных обычному основаниях. В докладе И.Е. Лощилова (Новосибирск) «"Иероглифика" Н. Заболоцкого: к реконструкции замысла поэмы о Лодейникове» была предложена попытка реконструкции замысла поэмы Николая Заболоцкого о герое по фамилии Лодейников. В докладе Е.В. Красильниковой (Москва) «Мировоззренческие основы поэзии Н.А. Заболоцкого» было отмечено, что в соответствии с поэтической философией Н.А. Заболоцкого у ряда слов, связанных с семантическим полем «Человек», возникает особая сочетаемость. В ходе своего доклада В.Н. Виноградова (Москва) продемонстрировала основные тенденции эволюции словотворчества у поэтов Серебряного века. В докладе С. Мураты (Токио) «Активное молчание слуха: драматургия ранних стихотворных пьес М. Цветаевой» была акцентирована мысль, что в ранних, так называемых «романтических» пьесах М. Цветаевой, таких, как «Червонный валет» и «Метель», уже отмечаются зачатки оригинальных драматургических приемов, которые затем получили развитие в «Ариадне» и «Федре», считающихся вершиной поэтической драматургии автора.

Также был рассмотрен широкий спектр проблем, связанный со строением прозаического текста и разными типами организации наррации. В докладе Т. Росэн (Берген) «К нарративной структуре романа Вл. Макинна «Андеграунд или Герой нашего времени» (типы, функции и художественный эффект ско-

бок)» была предложена одна из возможных типологий скобочных вставок, затрагивающая не только их формальные свойства, но и их значение для нарративной структуры текста. Особой текстовой организации рассказов В. Сирина был посвящен доклад С.Н. Туровской (Таллинн). В частности, было отмечено, что известный способ конденсации текста Сириин делает своим излюбленным литературным приемом. В докладе М.А. Дмитриевой (Калининград) «Алексей или Александр? (А. Лужин между двух иллюзий)» объектом исследования стала криптограмматичность названия и содержания романа В. Набокова «Защита Лужина». В докладе Ф. Бёрлинг (Лунд) «Влияние кинематографа на организацию наррации в современном прозаическом тексте» особое внимание было уделено использованию авторами настоящего исторического времени. В докладе А.В. Уржи (Москва) «Интерпретация метатекста и воссоздание образа повествователя в художественном переводе» были представлены результаты исследования преобразований метатекста в вариантах русского перевода англоязычных прозаических произведений жанра 'tale' на фоне общих закономерностей интерпретации модусного плана художественного текста и степени его вербализации в переводе.

На заседании «Вопросы авторской лексикографии» были заслушаны доклады, посвященные проблемам составления авторских словарей. В докладе «Современная картина авторской лексикографии» Л.Л. Шестакова (Москва) рассмотрела состояние и тенденции развития этой словарной отрасли в последнее десятилетие. С. Гардзонио (Пиза) рассказал об «Итальянском словаре русских поэтов и культурно-поэтической функции италянизмов в русской поэзии конца XIX – начала XX в.». Л.И. Колодяжная (Москва) в докладе «Пространство преобразований филологического словаря» представила историю вопроса, дав понятие пространства преобразований филологического словаря и выделив четыре типа преобразований (таблица, выборка, проекция, инверсия). В докладе А.С. Красниковой (Москва) основное внимание было уделено постановке проблемы и сложностям, возникающим при составлении авторских словарей для корпусов, в которые входят диахронически неустойчивые тексты. Доклад Р.И. Розиной (Москва) «Модели метонимии в поэзии Иосифа Бродского» содержал классификацию различных типов метонимических переносов в текстах поэта, построенную с опорой на типологию семантических преобразований М.Л. Гаспарова.

Два заседания были посвящены общей проблеме «Активные процессы в русской словесности рубежа XX–XXI веков на фоне общевропейских тенденций развития художественно-языковых форм». Прежде всего, были обсуждены проблемы, связанные с эволюцией поэтического языка и стихотворного текста последнего времени. В.Г. Вестстейн (Амстердам) в докладе «Отсутствие лирического “Я” в современной поэзии» попытался показать, что в современных поэтических текстах лирическое «Я» часто не выражено, поскольку нет однозначной идентификации субъекта высказывания. В докладе З.Ю. Петровой (Москва) рассматривалось семантическое поле «Эмоции, внутренние состояния», характеризующее лирического героя в поэзии И. Бродского. О.И. Северская (Москва) выступила с докладом «Поэтическая проза и прозаизированная поэзия (на материале произведений рубежа XX–XXI вв.)», в котором коротко были рассмотрены приемы поэтизации прозы (использование поэтического ритма, создание в тексте сети семантических и иных эквивалентностей, использование звуковых повторов и т.п.), а основное внимание уделялось прозаизации поэтического текста. В докладе Л.В. Зубовой (Санкт-Петербург) «Современные эпитеты в поэзии» говорилось о том, что на свойства современного эпитета повлияла установка избегать в стихах прилагательных, модная в 1960–70-х гг. и хорошо известная по высказываниям Бродского. Реакцией на нее стало утрированное скопление эпитетов в перечислительных рядах, активизировалась изобретательность в поисках неожиданных определений. Доклад Н.А. Кузьминой (Омск) «Книга стихов: опыт синергетического описания (Вера Павлова. “Письма в соседнюю комнату: Тысяча и одно объяснение в любви”. М., 2006)» был посвящен феномену книги стихов как особого способа упорядочения поэтической материи, дающего неожиданное приращение смыслов.

Заседание, посвященное структурной организации современных прозаических и драматических текстов, вели итальянские коллеги – Г.В. Денисова и Г. Импости. В своем докладе «Стерсотип и творчество: проза рубежа веков в контексте стилистической парадигмы русского языка» Г.В. Денисова (Пиза) постаралась суммировать изменения, произошедшие в языке современной русской прозы, и те активные процессы, которые определяют развитие современного русского литературного языка. В докладе Б. Сульпассо (Рим) «Гень Вавилона и ее поэтическая функция в театре В. Сорокина» было отмечено, что сорокинская про-

за (анализировались две пьесы Сорокина «Русская бабушка» и «Dostoevsky-trip») в такой мере тяготеет к театру и кино, что стилемы этих жанров не могут не проникать в нее. Доклад О. Обуховой (Пиза) «Особенности нарративной структуры Чик-лит» познакомил всех присутствующих с новым направлением в «женской прозе». «Чик-лит» переводится как «цыпочкина литература» и обладает следующими характеристиками, отличающими его от традиционного «розового» романа: ироническим отстранением от драматизма или трагедийности и юмористическим автообразом. Почти обязательное я-рассказывание, часто в дневниковом режиме, имплицитно описывает события, происходящих здесь и сейчас. В докладе О.В. Евтушенко (Москва) «Преобразование концептов как стратегия в современной прозе» были охарактеризованы три способа преобразования концепта «Любовь» – компрессия, обращение и смещение. Заключительным в данной серии был доклад Г. Импости (Болонья) «От искусственного интеллекта к “голографической” литературе».

Заседание «Стих и проза: испытание практикой» открыл доклад Ю.Б. Орлицкого (Москва) «Стих и проза: строгая дихотомия или концентрические круги?», в котором было показано, как современная поэтическая практика «проверяет на прочность» два основных подхода в разграничении стиха и прозы – условно говоря, дихотомический и концентрический. Т.В. Скулачева (Москва) в своем докладе «Лингвистические особенности стиха в отличие от прозы» привлекла внимание слушателей к вопросам организации стихотворной строки, так как именно деление стиха на строки она считает конструктивным признаком стиха. В докладе Г.В. Векшина (Москва) «Метафония и рифма (о предпосылках морфологизации созвучия в стихе)» было отмечено, что важнейшим фоном звуковой ассоциативности и звуковой повторяемости в тексте является сегментно-слоговая и ритмико-просодическая фактура речевой единицы, ее ритмический рельеф. Итоговым в данном тематическом блоке был доклад В.А. Плунгина (Москва) «Тонический стих у Ахматовой, Г. Иванова и Мандельштама: три типа метрической эволюции», где речь шла о сопоставлении тенденций в использовании тонической метрики (дольников и тактовиков) у трех поэтов, связанных в начале своего творчества с акмеизмом. Были предложены некоторые терминологические уточнения, позволяющие более точно классифицировать типы дольников, и были выделены три типа дольника,

условно называемые «классический», «логаэ-дический» и «расшатанный».

В рамках конференции работала секция молодых ученых под названием «Уровни текста и методы его лингвистического анализа», которой руководила И.А. Николкина (Москва).

Заседанием «Художественный текст в культурно-историческом пространстве» руководил Ю.С. Степанов (Москва). Открывая заседание, он подчеркнул важность проведения конференции, посвященной разным аспектам изучения художественного текста и поэтического языка. И.А. Николина в своем докладе «Нарративная структура современного автобиографического текста» рассмотрела основные тенденции в нарративной структуре современных автобиографических текстов. Доклад Л.Г. Пановой (Москва) «Вторая жизнь "Египетских ночей" А.С. Пушкина: к 170-летию публикации» был посвящен тому, как незавершенные пушкинские фрагменты на темы исторической и современной Клеопатры, с одной стороны, и поэта-импровизатора, с другой, повлияли на русскую литературную традицию. В докладе М.Ю. Михеева (Москва) «Кто такие дневниковод и дневниковед? Или как назвать человека, который ведет дневник?» обсуждался круг вопросов, связанный с таким жанром, как литературный дневник. В.В. Фещенко (Москва) посвятил свой доклад «Формализм +/- эстетика: из истории и теории лингвистической эстетики» широкому кругу вопросов, связанных с точками пересечения лингвистики и эстетики.

Заключительное научное заседание конференции «Текст как объект междисциплинарного исследования» вел В.З. Демьянков (Москва). Открыл заседание доклад М. Паулсена (Берген), посвященный описанию модели стандартного языка, разработанной автором. Стандартный язык описывается им не

только как результат исторического процесса, как это часто делается в литературе, а как «языковая» ситуация, возникшая и развивающаяся при определенных исторических условиях. В докладе Н.Г. Брагинной (Москва) «Мотив во фразеологическом тексте» обсуждался вопрос о текстовой природе слов-концептов (таких как *память*, *хаос*, *красота*). Доклад Н.А. Купиной (Екатеринбург) был посвящен лингвистическому исследованию точности художественной прозаической речи. И.А. Купина выделила два направления лингвистической интерпретации – культурноречевое и лингвистическое. В заключение было приведено доказательство того, что специальным объектом лингвистической критики становятся речевые средства, употребление которых наносит читателю морально-психологический ущерб. В докладе Н.В. Перцова (Москва) «Поэзия орфографии и орфография поэзии» на ряде примеров поэтических текстов Золотого века, в основном, из произведений Пушкина, была продемонстрирована функциональная нагруженность старой русской орфографии. П.Б. Паршин (Москва), анализируя поэтику рекламного текста, показал, что никакой вербальный текст, предполагающий визуальное восприятие, не может быть сведен только к некоторому вербальному контенту, проинтерпретированному средствами той или иной системы письменности. Завершающим был доклад Ю.К. Пироговой (Москва) «Расширение медиа: поэтика семиотических преобразований в рекламе», который сопровождался презентацией.

По материалам конференции подготовлен к публикации сборник докладов.

И.А. Фатеева, Т.А. Хазбулатова
(Москва)